

Шавельский Георгий

Воспоминания последнего Протопресвитера Русской Армии и Флота (Том 2)

о. ГЕОРГИЙ ШАВЕЛЬСКИЙ

Воспоминания

ПОСЛЕДНЕГО ПРОТОПРЕСВИТЕРА

РУССКОЙ АРМИИ И ФЛОТА

Том II

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Глава I - Поход против Распутина 5

Глава II - Церковное дело в Галиции в 1916-1917 гг. 31

Глава III - На верхах. Новые назначения.

Польский вопрос 47

Глава IV - Деятельность военного духовенства в Великой войне 89

Глава V - Случайные разговоры и встречи 109

Глава VI - Полтора года в Св. Синоде 133

Глава VII-Поездка на Кавказский фронт 177

Глава VIII - Царю говорят правду 199

Глава IX - Девятый вал. Конец Распутина 231

Глава X - Перед революцией 265

Глава XI - Царь и царица в заточении 291

Императрица на троне 294

Царица-узница 299

Царь-узник 311

Глава XII - Добровольческая Армия. Поездка к великому князю Николаю Николаевичу
313

В Добровольческой Армии 322

Церковное дело. Собор в Ставрополе. Высшее

Церковное Управление 329

Временное Высшее Церковное Управление 350

Недуги Добровольческой Армии 356

Деятельность Временного Высшего Церковного

Управления на Ю. В. России 372

Закат Добровольческой Армии 398

{7}

I

Поход против Распутина

В 1915-1916 г., во время пребывания Ставки в Могилеве, могилевским губернатором был Александр Иванович Пильц (15 февраля 1916 г. Пильц, по личному желанию Государя, был назначен товарищем министра внутренних дел (с управлением отделами земским, крестьянским и по воинской повинности), а в марте, после того, как не сошелся со Штюмером, получил новое назначение на пост Иркутского генерал-губернатора.). Не имея ни богатства, ни связей, он, однако, держал себя в Ставке совершенно независимо и, не смущаясь, резал голую правду не только перед генералом Алексеевым, графом Фредериксом, ген. Воейковым, но и перед самим Государем. У меня с ним отношения были добрые, но не близкие. Раньше мы не были знакомы; теперь я еще приглядывался к нему, он - ко мне.

В первых числах февраля 1916 г. как-то после высочайшего завтрака Пильц зашел ко мне.

- Нас никто не услышит? - обратился он ко мне, садясь на стул. Я плотно закрыл единственную дверь моей комнаты, ведущую в другую большую комнату - мою канцелярию, где теперь работали чиновники и писцы.

- Я пришел к вам по весьма важному делу, - начал Пильц. - Вы знаете Распутина. Знаете, что он значит теперь. Вы должны понимать, чем грозит распутинская история. Сейчас я был у ген. Алексеева. Я требовал от него, требовал, грозя общественным судом, чтобы он решительно переговорил с Государем о {8} Распутине, чтобы он открыл Государю глаза на этого мерзавца. Теперь я пришел к вам. Вы тоже должны говорить с Государем. Если вы этого не сделаете, я потом публично заявлю, что я напоминал вам о вашем долге, что я требовал от вас исполнить его, а вы не пожелали.

Я ответил Пильцу, что прекрасно понимаю всю остроту и важность распутинского вопроса, как и свой долг содействовать благополучному разрешению его, но для разговора с Государем у меня пока нет ни повода, ни фактов. Государь не терпит вмешательства посторонних лиц в не касающиеся их дела, а тем более, в дела его личные, семейные. Чтобы начать разговор, мне надо иметь определенные данные, что близость Распутина к царской семье и его вмешательство в дела государственные оказывают вредное влияние на духовное состояние армии. Иначе Государь может оборвать меня вопросом: "какое вам дело?" и не выслушать меня. Тогда мое выступление вместо пользы принесет только вред. Поэтому я считаю лучшим: с выступлением не спешить; не довольствуясь слухами, искать фактов несомненного вмешательства Распутина в государственные дела и вредного влияния распутинской истории на дух армии. Пильц согласился со мною.

От лиц, близко стоявших к царской семье и ко двору, я знал, что Распутин в это время был в апогее своей силы. После победы над великим князем Николаем Николаевичем он стал всемогущ.

Не только царица благоговела перед ним, но и царь поддадал под обаяние его "святости". Рассказывали, что, отъезжая из Царского села в Ставку, Государь всякий раз принимал благословение Распутина, причем целовал его руку. Распутин стал как бы обер-духовником царской семьи. После краткой, в течение нескольких минут, исповеди у своего духовника, на первой неделе Великого поста 1916 г., Государь более часу вел духовную беседу со "старцем" Григорием Ефимовичем. В субботу на этой неделе в {9} Федоровском соборе причащались царь и его семья, а вместе с ними и их "собинный" друг, Григорий Ефимович. Царская семья во время литургии стояла на правом клиросе, а "друг" в алтаре.

"Друг" причастился в алтаре, у престола, непосредственно после священнослужителей, а уже после него, в обычное время, у царских врат, как обыкновенные миряне, царская семья. Причастившись, Распутин сел в стоявшее в алтаре кресло и развалился в нем, а один из священников поднес ему просфору и теплоту "для запивки". Когда царская семья причащалась, Распутин продолжал сидеть в кресле, доедая просфору. Передаю этот факт со слов пресвитера собора Зимнего Дворца, прот. В. Я. Колачева, сослужившего в этот день царскому духовнику в Федоровском соборе и лично наблюдавшего описанную картину.

Влияние Распутина на государственные дела становилось всё сильнее. Назначение члена Государственной Думы Алексея Николаевича Хвостова на должность министра внутренних дел совершилось таким образом (Этот факт, как и следующий разговор Распутина по телефону, передаю со слов ген. В. П. Никольского, бывшего в то время начальником штаба Корпуса жандармов и очень осведомленного на счет деяний старца, как и походов "знаменитого" министра Хвостова). Хвостов был приглашен к Императрице Александре Федоровне.

- Его величество согласен назначить вас министром внутренних дел, но вы сначала съездите к отцу Григорию, поговорите с ним, - сказала Хвостову Императрица. И Хвостов поехал к Распутину, милостью которого скоро состоялось назначение. Распутин, которому,

таким образом, Хвостов был обязан своим возвышением, потом не стеснялся с ним.

- Кто у телефона? - спрашивает подошедший к телефону министра внутренних дел чиновник последнего Граве. - Позови Алешку! - отвечает незнакомый голос.

{10} - Какого Алешку?, - спрашивает удивленный Граве.

- Алешку - тваво министра, говорят тебе, - продолжает тот же голос. Нет здесь никакого Алешки, - вспыхнул Граве. - Ну, ты мотри-поттише, а не то не будет ни тебя, ни тваво Алешки. Поди скажи ему: Григорий Ефимович вас спрашивает... Граве только теперь узнал голос Распутина.

Через несколько дней после первого нашего разговора, Пильц снова зашел ко мне. Теперь он сообщил мне, что после значительных усилий ему удалось убедить и ген. Воейкова, и ген. Алексева взяться за петроградских дельцов, евреев "Митьку" Рубинштейна, Мануса и К-о, которые через Распутина устраивают разные разорительные для армии сделки и даже выведывают военные тайны. Ген. Алексеев поручил ведение дела состоявшему при штабе Северного фронта генералу Батюшину. Пильц надеялся, что Батюшину удастся документально установить виновность не только Рубинштейна и Мануса, но и Распутина.

Будучи уверен, что это дело, касавшееся главным образом Северного фронта, вызовет большие разговоры именно на этом фронте, я 1 марта направился через Псков в корпуса, расположенные в Двинском районе. Посещение этих корпусов представлялось особенно благовременным потому, что через несколько дней они должны были повести наступление, в виду чего моя поездка не могла вызвать ни у кого подозрений. По пути я остановился в Пскове, где дважды обстоятельно беседовал с ген. Куропаткиным.

Последний был чрезвычайно заинтересован делом Мануса и Рубинштейна, не сомневался в участии в нем Распутина, но не был уверен, что у ген. Батюшина хватит гражданского мужества энергично и широко повести порученное ему дело. Из штаба фронта я поехал на самый фронт; объехав позиции трех корпусов, я всюду прислушивался к разговорам о Распутине. Конечно, разговоров везде было много. Слух о {11} Рубинштейновском деле и о причастности к нему Распутина облетел фронт и взбудоражил умы: куда только я ни приезжал, везде меня спрашивали: верно ли, что Распутин так близок к царской семье?

Верно ли, что царь слушается его во всем и всегда? Верно ли, что через него можно устроить любое дело? и т. д. Некоторые спрашивали: кто такой Распутин? Ужель простой мужик? А иные задавали и более нескромные вопросы. Во всех таких вопросах и разговорах было больше любопытства, чем беспокойства, больше удивления, чем возмущения, хотя в некоторых местах проглядывало и второе. Таким образом, сразу выросший в армии огромный интерес к Распутину пока не представлял ничего грозного, но он угрожал в будущем.

В Петрограде, через который я возвращался в Ставку, я услышал гораздо больше: там арест Рубинштейна и, вообще, Рубинштейно-распутинское дело трактовались на все лады, причем главной мишенью оказывался, конечно, Распутин. Чего только о нем не говорили: рассказывали о его кутежах с разными иноплеменниками, об его кафешантанских оргиях и дебошах, об его посредничестве в разных, касавшихся армии, коммерческих делах, обвиняли его в выдаче военных тайн и пр. В общем никогда раньше Петроградское общество не проявляло такого внимания к личности Распутина, как теперь.

В этот мой заезд в Петроград ко мне, между прочим, явился за советом содержатель ресторана "Медведь" (на Конюшенной улице) Алексей Акимович Судаков.

- Посоветуйте, что делать! - обратился он ко мне. - Повадился ездить в мой ресторан этот негодяй - Распутин. Пьянствует без удержу. Пусть бы пил, - чорт с ним. А то, как напьется, начинает хвастать: "Вишь, рубаха... сама мама (т. е. царица) вышивала. А хошь, - сейчас девок (царских дочерей) к телефону позову" и т. д. Боюсь, как бы не вышло большого скандала: у меня некоторые лакеи, патриотически {12} настроенные, уже не хорошо поговаривают. А вдруг кто из них разможит ему бутылкой голову, - легко это может

статься... Его-то головы мне не жаль, но ресторан мой закроют.

В Ставку я вернулся 12 марта.

Вечером в этот же день, после высочайшего обеда, я долго беседовал с ген. Воейковым в его комнате. Зная его близость к Государю, а с другой стороны - слишком беззаботно-спокойное отношение к распутинскому вопросу, я, чтобы произвести на него более сильное впечатление, немного сгустил краски при передаче своих впечатлений от поездки по армии.

- Фронт страшно волнуется слухами о Распутине, - говорил я, - и особенно об его влиянии на государственные дела.

Всюду идут разговоры: "Царица возится с распутником, распутник - в дружбе с царем". Этим уже обеспокоена и солдатская среда. А в ней престиж Государя ничем не может быть так легко и скоро поколеблен, как терпимостью Государя к безобразиям Распутина. И вас, - сказал я, - на фронте жестоко обвиняют. Прямо говорят, что вы должны были бы и могли бы противодействовать Распутину, но вы не желаете этого, вы за одно с Распутиным.

Последние мои слова задели за живое Воейкова, и он начал горячо возражать:

- Что я могу сделать? Ничего нельзя сделать! Если бы я с пятого этажа бросился вниз и разбил себе голову, кому от этого была бы польза? Долго мы беседовали.

- Слушайте! - наконец, сказал я, - я хочу говорить с Государем и чистосердечно сказать ему, как реагирует армия на близость Распутина к царской семье и на хозяйничанье его в государственных делах, чем грозит это царю и Государству...

- Что же, попробуйте! Может быть, и выйдет что-либо, - ответил мне Воейков.

{13} Я решил беседовать с Государем о Распутине. В один из следующих дней, во время закуски перед завтраком, когда ген. Алексеев, по обыкновению, скромно стоял в уголку столовой, я говорю ему:

- Надо вам, Михаил Васильевич, говорить с Государем о Распутине, - уж очень далеко зашли разговоры о нем. Дело как будто начинает пахнуть грозой.

- Ну что же, я готов. Пойдемте вместе, - ответил он.

- Я думаю, что лучше порознь. Не подумал бы Государь, что мы сговорились, - возразил я. - Позвольте мне первому пойти и высказать, что Бог на душу положит, а вы потом поддержите меня.

- Отлично! Идите с Богом, а я потом добавлю, - согласился генерал Алексеев.

16 марта, за высочайшим завтраком, я сидел рядом с адмиралом Ниловым. Два или три человека отделяли меня от Государя, и последний поэтому не мог слышать разговора, который мы с адмиралом Ниловым вели вполголоса, почти шопотом. Мы говорили о Распутине. Завтрак уже кончился, когда я сказал Нилову:

- Я решил говорить с Государем.

- Говорите, непременно говорите! Помогите вам Бог! - горячо поддержал меня адмирал (Насколько болезненно переживал адмирал Нилов распутинскую историю, свидетельствует следующий факт: после моего разговора с Государем 17 марта, он воспытал нежную привязанностью ко мне, которую проявлял при всяком удобном случае. А однажды он сказал мне: "Только что получил письмо от жены. Она очень просит меня кланяться вам и сказать, что она ежедневно молится за вас Богу". Меня это особенно тронуло, ибо я ни разу не видел этой женщины.). В это время Государь встал из-за стола и, как всегда, направился в зал. Все пошли за ним. Только я стал на свое место, в углу около дверей, как вдруг Государь быстро подходит и обращается ко мне: "Вы, о. Георгий хотите что-то {14} сказать мне?" Вопрос был так неожидан для меня, что мои руки буквально опустились. Государь по моему лицу узнал, что я хочу беседовать с ним.

- Да, ваше величество, мне необходимо сделать вам доклад по одному чрезвычайно серьезному делу. Только не здесь, - ответил я.

- В моем кабинете? Тогда, может быть, сейчас, как только разойдутся, сказал Государь.

Но мне хотелось хоть еще на сутки оттянуть тягостный разговор. Кроме того, следующий день - 17 марта - был днем весьма чтимого мною Алексея, Человека Божия, и я

обратился к Государю:

- Разрешите, ваше величество, завтра.

- Хорошо! Завтра после завтрака, в моем кабинете, - ласково ответил Государь.

17 марта в Ставку приехали министры, и Государь после завтрака сказал мне:

- Сейчас у меня будут министры с докладами, а вы придите ко мне в 6 ч. вечера. Удобно это вам?

- Конечно! - ответил я.

В 5 ч. 55 м. вечера я вошел в зал дворца. Ровно в 6 ч. камердинер пригласил меня в кабинет Государя.

Государь встретил меня стоя и, поздоровавшись, пригласил сесть, указав на стул около письменного стола, а сам сел в стоявшее по другую сторону стола кресло. Мы сидели друг против друга, только стол разделял нас. Я начал свой "доклад" с того, что меня чрезвычайно удивило, когда накануне Государь угадал о моем желании говорить с ним.

- Да, я посмотрел на вас, и мне сразу показалось, что вы желаете что-то сказать мне, - заметил Государь.

Потом я вспомнил о своем первом разговоре, в мае 1911 года, с Императрицей, когда она так тепло приветствовала мое намерение всегда говорить Государю только правду, как бы горька она ни была. А затем начал о Распутине. Ничего не преувеличивая, но и не утаивая {15} ничего, я доложил о всех разговорах, слышанных мною на фронте, о настроении армии, в виду таких слухов и разговоров, и, наконец, о тех последствиях, к которым создавшееся положение может привести. Я говорил о том, что в армии возмущаются развратом и попойками с евреями и всякими темными личностями близкого к царской семье человека; что в армии определенно говорят о легко получаемых через Распутина огромных подрядах и поставках для армии; что с его именем связывают выдачу противнику некоторых военных тайн; что, таким образом, за Распутиным в армии установилась совершенно определенная репутация пьяницы, развратника, взяточника и изменника; что, наконец, вследствие близости такого человека к царской семье, поносится царское имя, падает в армии престиж Государя, - и то, и другое может быть чревато последствиями и т. д.

- Ваши военачальники, ваше величество, сказали бы вам больше, если бы вы спросили их. Спросите ген. Алексеева. Он человек безукоризненно честный и скажет вам только правду, - закончил я.

Государь слушал меня молча, спокойно и, казалось мне, бесстрастно. Когда я говорил о развратной жизни и пьянстве Распутина, Государь поддакнул: "Да, я это слышал". Когда же я кончил, извинившись, что неприятною беседою доставил огорчение, он так же спокойно, как и слушал меня, обратился ко мне:

- А вы не боялись идти ко мне с таким разговором?

- Мне тяжело было докладывать вам неприятное, - ответил я, - но бояться... я не боялся идти к вам... Что вы можете сделать мне? Повесить? Вы же не повесите меня за правду. Уволите меня с должности? Я несу ее, как крест; к благам, какие она дает мне, я равнодушен; нужды не боюсь, ибо вырос в бедности и сейчас готов хоть канавы копать.

В ответ на мою реплику Государь поблагодарил меня за исполнение долга, не {16} сказав ничего больше. На этом мы расстались. Беседа наша длилась около 30 минут.

Следующие два дня были сплошной пыткой для меня. Совесть говорила, что я не сделал ничего дурного, что, напротив, я, как умел, исполнил свой долг. Но сердце подсказывало, что я нарушил душевный покой Государя, причинил ему неприятность. Мне тяжело было встречаться с ним на завтраках и обедах. Не имея права уклоняться от них, я, по крайней мере, старался, чтобы наши взоры реже встречались. Мне казалось, что и Государь тоже чувствовал некоторую неловкость при встречах со мной.

18 марта Государь уезжал в Царское Село. К отходу поезда собрались старшие чины Штаба, в том числе и я. Прощаясь, Государь обратился ко мне:

- Вы уезжаете на фронт? К Страстной непременно возвращайтесь, - я приеду сюда в субботу на Вербной.

В числе провожавших Государя был и ген. Н. И. Иванов. До приезда Государя к поезду мы с ним очень долго прогуливались вдоль царского поезда. Он всё время жаловался мне: его обидели, его заслуги забыли, его оторвали от любимого дела и теперь держат, Бог весть зачем, при Ставке, не давая никакой работы. Более всего доставалось ген. Алексееву, но не забывался и Государь. Я утешал его, как умел: разбивал его подозрения, успокаивал его предстоящей ему работой. Старик, однако, не поддавался утешению, а, расставаясь, выразил желание на следующий день побывать у меня. Я пригласил его к вечернему чаю.

На другой день ген. Иванов под вечер сидел у меня, пил чай "в прикуску" (Иного способа чаепития он не признавал и жестоко однажды ругал моего Ивана (денщика), узнав, что тот позволяет себе иногда пить чай "в накладку".) и опять жаловался и жаловался. Я уже не выдержал:

{ 17 } - Николай Иудович! Да вы же сами просили об увольнении?

- Да, просил.

- Тогда в чем же дело?

- Я просил уволить меня, если это нужно для дела.

- Вот вас и уволили... - говорю я.

- Но от этого дело страдает, - возражает старик. Получилась несуразность: просил уволить, если это нужно для дела, и сам же знал, что от увольнения дело пострадает. А затем опять жалобы:

- У меня сердце вырвали... меня живого в гроб уложили... Это всё Алексеев... и т. д.

Я, наконец, вспылил:

- Вы несправедливы, Николай Иудович! - сказал я, - вы сами просились с фронта? Вас уволили. Но как? Вам дали сразу две огромных награды: сейчас вы - член Государственного Совета и состоящий при особе Государя. Чего вам еще надо? Послушайте меня: бросьте жаловаться, бросьте обвинять других! Если ваши жалобы дойдут туда, а они непременно дойдут, вам не простят их: там всё прощают, кроме неблагодарности и жалоб на них.

Мое наставление не особенно понравилось старику. Жалоб от него я уже больше не слышал. Не знаю, жаловался ли он другим. Наверное, очень многим жаловался. Всё же мне от души было жаль этого доброго и честного старика, мучившегося теперь, хоть и не без своей вины, от сознания какой-то заброшенности и ненужности.

В Вербную субботу вернулся в Ставку Государь. В тот же день и я возвратился с фронта.

Ктитору штабной церкви кто-то сказал, что на всенощной в Вербную субботу Государю дают вербу, украшенную живыми цветами, и красную пасхальную свечу. Стоило больших трудов привезти из Петрограда живые цветы. Достали и пасхальную свечу. В положенное время, после Евангелия, Государь подошел к стоявшему {18} посредине церкви аналою, чтобы приложиться к иконе праздника и получить от меня свечу с вербой. Я даю ему украшенную розами вербу и красную свечу. Государь отказывается взять и что-то шепчет. Я с трудом разбираю: "Зачем? Как на свадьбе... дайте простые"... Пришлось дать Государю первую попавшуюся вербу и простую свечу. За обедом я объяснил Государю недоразумение, стоившее ктитору огромных хлопот.

- Кто мог посоветовать это? - удивился Государь. - Я терпеть не могу этих украшений. Самое лучшее - простое.

На Страстной неделе Государь ежедневно утром и вечером посещал церковь. Раньше его всегда встречали колокольным звоном. Теперь же он потребовал, чтобы, в виду великопостных дней, не было звона при входе его в церковь.

Во все дни Страстной недели при высочайшем столе пища подавалась только постная. Иностранцы к столу не приглашались...

Хотя после моего разговора о Распутине прошло более двух недель, я никак не мог еще отделаться от неприятного чувства какой-то неловкости при встречах с Государем. А он, точно желая утешить и ободрить меня, окружил меня теперь таким вниманием, какого я не видал от него ни раньше, ни позже. Подходя к закусочному столу, Государь искал меня

глазами, приглашал закусить, рекомендовал более вкусные закуски, раза два-три сам накладывал на тарелку икры или жареных грибов и подавал мне и пр. Кажется, в Великую Среду за обедом я сидел по левую руку министра двора. Граф был разговорчив: болтая без умолку и, забыв, что против него сидит Государь, откровенничал со мною вовсю:

- Я всегда говорю Государю правду, хоть это ему иногда не нравится. Вот на днях я сказал ему: "Так не должно быть", а он мне отвечает: "Это вас не касается".

{19} Я же ему говорю: "Что касается Государя, то касается и министра его двора. Хорошо?"

Государь, обладавший прекрасным слухом, - а тут и глухой расслышал бы, - конечно, всё слышал и, смотря на меня, ласково улыбался.

В Великий Четверг, во время закуски перед обедом, гофмаршал указал мне место за столом рядом с адм. Ниловым. Но потом Государь что-то сказал ему, и он, снова подойдя ко мне, объявил, что мое место изменено: я должен сесть рядом с Государем, по левую его руку. Когда я сел за стол, Государь приветливо обратился ко мне:

- Как мне хотелось, чтобы вы посидели около меня, а то часто сидят такие, которых совсем не хотелось бы видеть. В течение всего обеда Государь говорил только со мной, не сказавши никому другому буквально ни одного слова.

Пасха. Торжественное богослужение, которое Государь выстоял до конца. Христосование и разговоры с Государем во дворце. Завтрак в обычное время. Государь просит меня зайти к нему после завтрака в кабинет и там передает мне большое фарфоровое, с изображением Спасителя, - пасхальное яйцо от Императрицы. Кроме меня, такие яйца получили: ген. Алексеев, ген. Иванов и адм. Нилов. Остальным были даны маленькие. Внимание ко мне Государя не ослабевает.

Я пишу обо всем этом, чтобы ярче обрисовать характер Государя. Повышенное его внимание ко мне за все описанные дни я объясняю таким образом. Мой доклад о Распутине был неприятен ему. Но он заметил, что я был искренен, докладывая со скорбью, страдая, и затем после доклада страдал. Это подкупило его. И вот он теперь старался своим вниманием и особенной приветливостью сгладить тяжелое впечатление, оставшееся у меня на душе, показав мне, что у него нет обиды на меня. Как забудешь такую его ласку?

{20} Ничем иным, как тем же доверием ко мне Государя, я объясняю следующее, не имевшее раньше прецедента, данное им мне поручение. На Святой неделе я должен был спешно выехать в Москву, чтобы уладить возникшие между епархиальным и военным духовенством трения, (Виновником этих недоразумений был б. московский миссионер архим. Григорий, - тот самый, который привозил великому князю Николаю Николаевичу от московского митрополита икону Святителя Николая. Когда у него вышли какие-то крупные недоразумения с епархиальным начальством, он обратился ко мне с просьбой назначить его священником какой-либо воинской части или учреждения в Москве. Я, приняв во внимание огромную его энергию и упустив из виду его бестактность, исполнил просьбу, поручив ему исполнение должности гарнизонного благочинного в г. Москве. Почувствовав себя независимым от своего бывшего начальства и ошибочно рассчитывая на мою поддержку, он начал грубо и бестактно сводить счеты со своими бывшими епархиальными противниками. Дело приняло такой оборот, что в это "поповское" дело вмешалась великая княгиня Елизавета Федоровна, осведомившая даже Государя. Государь посоветовал мне лично выехать в Москву и самому разобрать дело.)

в которые вмешалась вел. княгиня Елизавета Федоровна и которые через нее дошли и до Государя. Отпуская меня в поездку, Государь спросил меня: "Вы знаете ген. Мрозовского?" (До сентября 1915 г. командир гренадерского корпуса, а потом командующий войсками Московского округа.). Я ответил, что прекрасно знаком с ним, еще по японской войне, когда мы служили в одной дивизии: он командиром артиллерийской бригады, а я благочинным дивизии.

- Вы будете у него? - опять спросил Государь. Я, конечно, не мог не видаться с Мрозовским, если бы и не имел особого к нему поручения.

- Тогда исполните мое поручение, - продолжал Государь. - Переговорите с ним. Только осторожно, чтобы его не обидеть. Дело вот в чем. До меня то и дело доходят слухи и жалобы, что он жесток в обращении с {21} офицерами; что за малейшие оплошности он слишком строго расправляется с офицерами, прибывающими с фронта: закатывает им выговоры, сажает на гауптвахту и пр. Мне жаль офицеров: на фронте они переносят, Бог весть, какие лишения, а придут домой - и там не сладко. Теперь все мы нервны, взвинчены: нельзя еще играть на разбитых нервах... Вы поняли меня? Вот это осторожно и передайте ему. Вместе с этим передайте ему и мой привет.

Поручение было не из приятных. В какую бы деликатную форму я ни облек его, суть от этого не менялась. Дело пахло высочайшим выговором.

Приехав в Москву, я по телефону запросил генерала, когда я могу застать его, чтобы переговорить с ним по высочайшему повелению. Он сразу заволновался, почував, что предстоит неприятный разговор. В 1 ч. дня я сидел у Мрозовского за завтраком. А перед завтраком я в самой осторожной форме передал ему поручение Государя.

- Что же это? Значит, Государь делает мне выговор? - сказал генерал, выслушав меня. Как я ни старался доказать, что это не выговор, а просьба, убедить генерала мне, кажется, не удалось.

Да и нужно ли это было?

В субботу, 16 апреля, я посетил вел. кн. Елизавету Федоровну и долго беседовал с нею. Она не скрывала своего беспокойства из-за распутинской истории и очень одобряла, что я переговорил с Государем.

На Святой же неделе прибыла в Ставку Императрица с дочерьми. Конечно, ей в мельчайших подробностях был известен мой разговор с Государем, 17 марта, но при встрече со мной она и виду не подала, что ей что-либо известно, и отношения ко мне не изменила.

В конце апреля я выехал на Западный фронт, в район IV армии (Молодечно).

{22} 1 мая я освящал знамена для 65 пех. дивизии, входившей в состав 26 корпуса (ген. Александра Алексеевича Гернгросса), состоявшего из 64, 65 и 84 пех. дивизий. На торжестве присутствовали: командующий армией ген. Рагоза, ген. Гернгросс, начальники дивизий и все офицеры корпуса. После церковного торжества и раздачи командующим армией солдатам георгиевских крестов, в огромной палатке, красиво декорированной зеленью, состоялся, поражающий обилием и изяществом яств, завтрак, на который были приглашены все присутствовавшие на торжестве. Завтракало несколько сот человек. Я прислушивался к разговорам. В разных местах от времени до времени произносилось имя Распутина. Вдруг слышу громкий и резкий голос ген. Гернгросса:

- Я согласился бы шесть месяцев отсидеть в Петропавловской крепости, если бы мне позволили выдрать Распутина. Уж и выдрал бы я этого мерзавца.

В ответ на это раздался хохот завтракавших. И это произошло при Командующем армией, рядом с которым сидел Гернгросс, при офицерах трех дивизий, на глазах множества прислуживавших у стола солдат. Ген. Гернгросс не мог не понимать, что он творит. Всего несколько недель назад в IV армию прибыл на должность командира бригады 8 Сибирской дивизии бывший товарищ министра внутренних дел и командир Корпуса жандармов, свиты его величества ген. майор Вл. Феод. Джунковский, уволенный от высоких должностей за свой правдивый доклад о Распутине. И если теперь воспитанный в строгих традициях верности и покорности Государю, старый боевой генерал Гернгросс решается на такую выходку в отношении близкого к Государю и ревниво охраняемого Государем лица; если эта выходка вызывает дружный хохот офицеров трех дивизий и ни одного возражения, то не значило ли это, что и в голосе Гернгросса, и в смехе офицеров звучали не только ненависть и презрение к Распутину, но и грозное предостережение самому {23} Государю?

Раньше армии могла угрожать пропаганда извне, теперь же разлагающая струя направлялась на армию из самого царского дворца, при бессознательном содействии самих же царя и царицы, державшихся за Распутина, как за какой-то талисман, в котором будто бы заключалось всё их спасение. Гернгроссовский эпизод 1 мая был своего рода *temento mori*

для последующего времени. Но на него не обратили должного внимания, как не обращали тогда внимания и на многое другое, знаменовавшее, что мы быстрыми шагами идем к надвигающейся катастрофе.

В течение следующих дней я объезжал полки IV армии, стоявшие на фронте. Между прочим, в 8-й Сибирской дивизии я виделся с ген. Джунковским.

После того, как за свой честный доклад о Распутине он был уволен от должностей товарища министра внутренних дел и командира Корпуса жандармов (Увольнению Джунковского способствовала целая коалиция его врагов. Во главе их стоял Распутин с Вырубовой, которых подзадоривали б. министр внутренних дел А. Н. Хвостов и сенатор С. П. Белецкий. С другой стороны и совсем по другим причинам против Джунковского интриговал В. Н. Воейков, считавший Джунковского, в виду исключительного расположения к нему Государя, одним из главных своих конкурентов при дворе. Весьма осведомленные в деле Джунковского люди, как его начальник штаба, ген. В. П. Никольский, категорически утверждали, что Воейков много способствовал падению Джунковского.),

он просил Государя снять с него, как с опального, вензеля. Государь отказал ему в этом: более того, он дал ему право носить форму Корпуса жандармов, над облагорожением которого Джунковский потрудился больше всех других командиров Корпуса. Тут сказалась обычная манера Государя подслащать горькие пилюли. Джунковский тогда попросился в армию и теперь он скромно и самоотверженно исполнял должность командира бригады 8-ой {24} Сибирской дивизии (Вскоре он был назначен начальником 15-й Сибирской дивизии, а во время революции командиром 3-го Сибирского корпуса. Увидев, что нельзя управиться с солдатским комитетом, он подал в отставку по болезни. В корпусе он пользовался громадным авторитетом и среди офицеров, и среди солдат.). Не выезжая в Ставку, я проехал с фронта в Петроград и 13 мая присутствовал на заседании Св. Синода. По окончании заседания ко мне подошел митрополит Питирим.

- О. протопресвитер! Ее величество поручила мне переговорить с вами по весьма серьезному делу, - обратился он ко мне. - Когда бы нам сделать это?

- Странно! - ответил я. - Перед отъездом из Ставки я каждый день виделся с Императрицей, беседовал с ней, но она ни словом не обмолвилась о предстоящей мне беседе с вами.

- Да. Но ее величество поручила мне... Так где же и когда мы переговорим с вами?

- Где угодно, - ответил я, - у вас ли, у меня ли. Я уезжаю в Ставку во вторник 17 мая.

- Может быть, мы сейчас же, здесь побеседуем? - предложил митрополит Питирим.

Я, конечно, согласился. Мы отошли к окну, что против синодального стола и, стоя, начали беседу. В синодальном зале никого уже не было. Только у входных в синодальный зал дверей стояли Тверской архиеп. Серафим, протопр. А. А. Дернов и и. д. товарища обер-прокурора В. И. Яцкевич.

- Так вот, - начал митрополит, - ее величество очень обеспокоена, что в армии много разговоров о Григории Ефимовиче. Какое кому дело, что хороший человек стоит около царской семьи? А вот мешает же он кому-то! В армии говорят и то, и то...

И митрополит передал мне почти дословно то, что я 17 марта говорил Государю. Ясно было, что мой {25} разговор с Государем сообщен Императрице, а последнюю или Вырубовую передан митрополиту Питириму с поручением "повлиять" на меня.

- Я не знаю, хороший ли человек Распутин, - как будто о нем говорят другое, но армия действительно волнуется из-за него, считая его виновником многих гадостей. Как велика ненависть к нему в армии, можете усмотреть из следующего... И я, не называя ни места, ни имен, рассказал эпизод 1 мая, бывший на завтраке после освящения знамен в 65 пех. дивизии.

- Если командир корпуса, заслуженный, старый боевой генерал позволяет себе такую выходку в отношении лица, столь близкого к царской семье, значит: как далеко зашло дело!

- Вот Императрица и просит вас повлиять на армию, чтобы в ней не было таких разговоров. Вас армия знает, вас она любит, - вы можете сделать это, - перебил меня

митрополит.

- Владыка! - обратился я к митрополиту, - отчетливо ли вы представляете себе то, о чем меня просите? Вы знаете, что такое теперь наша армия? В ней сейчас 10 миллионов. Она на двухтысячеверстном фронте и в беспредельном тылу, ибо тыл - вся Россия. Каким путем убеждать ее? Живым словом? Вы же понимаете, что это невозможно. Чтобы мне переговорить со всеми частями, потребовалось бы несколько лет. Обратиться к армии с воззванием? Тогда заговорят о Распутине и те, которые доселе молчали. Да и с каким словом, с какими наставлениями я обратился бы к армии? Я не умею врать. А если бы и стал врать, разве тут враньем можно помочь делу?

- Как тяжело, как тяжело! - почти застонал митрополит.

- Владыка! Позвольте мне быть с вами откровенным, - прервал я его. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что вы совершенно не представляете, {26} какой это страшный вопрос - вопрос о Распутине. Это самый страшный из всех вопросов нашего времени. Его необходимо разрешить, надо разрешить как можно скорее и разрешению его должна помочь Церковь. Хотя вы, владыка, не первенствующий член Св. Синода, но вы - Петроградский митрополит; на вас поэтому обращены все взоры. Поверьте мне, что настанет пора, когда спросят, что сделала Церковь для разрешения этого вопроса, и прежде всего спросят вас. Тогда вам предъявят большой счет.

- Как тяжело, как тяжело! - начал опять вздыхать митрополит. - Знаете что? - обратился вдруг он ко мне. - С какой бы радостью я ушел в отставку. Вот только дали бы мне пенсию...

- Ну, думать о пенсии нам с вами теперь совсем не время, - возразил я. - Уйдем мы в отставку тогда, когда скажут нам: уходите! А пока мы должны делать и делать.

- Что же, что делать? - нервно спросил митрополит.

- Близость Распутина к царской семье грозит страшными последствиями. Надо избавить эту семью от опасной распутинской опеки. Надо их убедить, чтобы они освободились от Распутина. Если нельзя этого сделать, убедите Распутина уехать от них, чтобы, если они дороги для него, спасти их. Другого способа успокоить армию и народ и охранить падающий престиж Государя я не вижу, - закончил я.

На этом мы расстались.

Я совершенно объективно и, насколько мог, точно передал свою беседу с митрополитом. Предоставляю самому читателю сделать дальнейшие выводы. А о себе одно скажу: я отошел от митрополита и возвращался домой с каким-то гадливым чувством, которое у меня всё нарастало по мере того, как я вдумывался в слова, {27} вспоминал выражение лица, ахи и вздохи своего собеседника...

Какие же были последствия этой беседы? - спросит читатель. Существенных - никаких. Митрополит остался тем же, чем он и раньше был. Менять позицию в отношении Распутина ему было пока невыгодно, ибо он держался Распутинным; печального же будущего и для России, и для себя от этой истории он не прозревал. На меня же пока махнул рукой. Впрочем, в июне и в июле митрополит Питирим на заседаниях Св. Синода (в его квартире) дважды предлагал мне архиепископство.

Я уверен, что предложение это делалось с ведома Императрицы.

- Вы поймите только, - убеждал меня митрополит, - сделаетесь архиепископом, вы сразу займете второе по влиянию место в нашей иерархии: Петроградский митрополит, потом вы.

Я ответил, что вопросы карьерного порядка меня совсем не интересуют, а для исполнения своей должности я обладаю полнотою власти и не имею архиепископского сана.

В тот и другой раз митрополита поддерживал товарищ обер-прокурора Зайончковский. Я поблагодарил митрополита Питирима за его заботы о моей персоне, но от предложения категорически отказался. Когда же Зайончковский наедине высказал мне удивление по поводу моего отказа от архиепископского сана, я ответил ему:

- Во-первых, меняя свое звание я считаю себя не в праве без согласия всего военного духовенства. Во-вторых же... Ужели вы не понимаете, что митр. Питириму и распутинской

компании очень желательно сделать меня архиереем, чтобы "завтра" же сплавить меня "с почетом" в какую-либо епархию, а на мое место посадить своего человека? Сейчас же им некуда меня сплавить.

- Теперь я понимаю ваш отказ и совершенно соглашаюсь с вами, - сказал Зайончковский.

{28} Вскоре после описанного разговора с митр. Питиримом я был приглашен в Царское Село для совершения всенощной и литургии в Государевом Федоровском соборе. Мне сослужил царский духовник прот. А. П. Васильев. По обычаю, мы не возвращались после всенощной в Петроград, а оба заночевали в большом Царскосельском дворце, только в разных помещениях. Мне очень хотелось переговорить с о. Васильевым, так как некоторые лица очень энергично старались восстановить о. Васильева против меня, внушая ему, что я очень добиваюсь занять его место. Сам о. Васильев как-то писал мне об этом.

В ответном письме я старался разубедить его. Я еще до войны категорически отказался от предложения занять место придворного протопресвитера и царского духовника. Теперь же, с обострением распутинского вопроса, пост царского духовника был для меня еще более неприемлемым. И я был решительно далек от того, чтобы когда-нибудь мечтать о нем. Не буду говорить о том, что лезть на "живое" место не в моем принципе. Всё же, чтобы окончательно рассеять подозрения о. Васильева, я хотел лично переговорить с ним и поэтому после всенощной высказал ему о своем желании побеседовать с ним. Он пообещал после ужина зайти ко мне. И, действительно, часу в 10-м вечера он забежал ко мне, но не более, как на пять минут. Мы успели обменяться несколькими ничего существенного не выражавшими, фразами, а затем он начал прощаться, извиняясь, что ему надо навестить какую-то княгиню или графиню. Как будто для этого визита не могло найтись у него другого времени? При прощании он, как бы нечаянно, обронил фразу:

- Вы напрасно думаете, что Распутин падает. Очень ошибаетесь: он теперь, как никогда, силен...

Несомненно, это было предостережение мне. Так я и понял тогда. Теперь же думаю, что необходимость беседовать с княгиней была вызвана у о. Васильева {29} желанием отделаться от беседы со мной. Дружба со мною, как с открытым противником Распутина, теперь была не безопасна для царедворца. А о нашей продолжительной беседе во дворце завтра же стало бы известно, кому надо.

Распутин же продолжал восходить.

В августе или сентябре 1916 года ген. Алексеев однажды прямо сказал Государю:

- Удивляюсь, ваше величество, что вы можете находить в этом грязном мужике!

- Я нахожу в нем то, чего не могу найти ни в одном из наших священнослужителей.

На такой же вопрос, обращенный к царице, последняя ответила ему: "Вы его (т. е. Распутина) совершенно не понимаете", - и отвернулась от Алексеева.

В один из моих приездов в Петроград в 1916 г. ко мне на прием явился неизвестный мне очень невзрачный дьякон. На мой вопрос: "Чем могу быть вам полезен?" - дьякон протянул помятый конверт с отпечатком грязных пальцев: "Вот прочитайте!"

- От кого это письмо? - спросил я.

- От Григория Ефимовича, - ответил дьякон.

- От какого Григория Ефимовича?

- От Распутина.

- А ему что нужно от меня? - уже с раздражением спросил я.

- А вы прочитайте письмо, - ответил дьякон. Я вскрыл конверт. На почтовом листе большими каракулями было выведено:

"Дарагой батюшка

Извиняюсь беспокойство. Спаси его миром устрой его трудом Роспутин".

- Ничего не понимаю, - обратился я к дьякону, прочитав письмо.

- Григорий Ефимович просит вас предоставить мне место священника, пояснил дьякон.

{30} - А вы какого образования? - спросил я.

- С Восторговских (Пастырские курсы прот. И. Восторгова, наплодившие неучей священников.) курсов.

- Место священника я предоставить вам не могу, так как в военные священники я принимаю только студентов семинарии, - ответил я.

- Тогда дайте дьяконское место в столице.

- И сюда вы не подойдете.

- Ну в провинции, - уже с волнением сказал дьякон, очевидно пришедший ко мне с уверенностью, что письмо Распутина сделает всё.

- Это, пожалуй, возможно. Но вы должны предварительно подвергнуться испытанию. Завтра послужите в Сергиевском соборе, где вашу службу прослушает назначенный мною протоиерей, а после службы явитесь ко мне для экзамена, который я сам произведу, - сказал я.

Дьякон ушел, но ни на службу, ни на экзамен не явился.

Как реагировал Распутин и его присные, слухов об этом до меня не дошло.

{33}

II

Церковное дело в Галиции в 1916-1917 гг.

Летом 1915 года наши войска очистили почти всю Галицию. В наших руках остался лишь маленький уголок ее с гор. Тарнополем. Но в Ставке не сомневались, что летом следующего года Галиция снова будет нашей. В виду этого, ни генерал-губернатор Галиции с его штабом не был упразднен, ни архиепископ Евлогий не был освобожден от заведывания Галицийскими церковными делами.

Ранней весной 1916 года к новому занятию Галиции начали готовиться не только наши войска, но и военно-гражданские власти. Кажется, в мае (или апреле) в Ставку приехал генерал-губернатор Галиции граф Г. А. Бобринский для разрешения разных вопросов, связанных с гражданским устройством в Галиции, в случае ее нового занятия нашими войсками. На другой день, по приезде в Ставку, он зашел ко мне.

- Его величество прислал меня к вам, чтобы переговорить по галицийскому церковному вопросу, - сказал мне гр. Бобринский.

Как я уже говорил, в 1915 году мне не раз пришлось беседовать с гр. Бобринским по поводу производившихся в то время воссоединительных операций. Мой взгляд на дело, таким образом, был известен ему, как был известен и мне его взгляд. Теперь я еще раз повторил ему, что я и раньше считал применявшуюся в Галиции воссоединительную систему неудачной и опасной, а теперь, после получившихся от нее результатов, считаю повторение ее недопустимым, даже преступным. Гр. Бобринский {34} заявил мне, что его величество желает, чтобы теперь я взял в свои руки всё церковное дело как в Галиции, так и в Буковине.

Такое предложение совсем не устраивало меня: дел у меня и без того было много; мое расхождение во взглядах на Галицийское дело с архиепископом Евлогием и его вдохновителями и сторонниками уже увеличило число моих врагов; наживать новые заботы и новых врагов у меня совсем не было охоты. Но и отказаться от высочайшего предложения я не имел права. Так я и ответил гр. Бобринскому: желания браться за это чрезвычайно запутанное и сложное дело у меня нет; продолжать прежнюю политику, взявшись за дело, я не могу. Если же его величество настаивает на том, чтобы я для Галиции заменил архиепископа Евлогия, то я прошу разрешения предварительно представить его величеству докладную записку с изложением моего взгляда на Галицийский церковный вопрос и тех способов и методов, которые я могу применить к делу.

Граф Бобринский просил меня не отказываться, а о моем ответе обещал доложить Государю.

В тот же день вечером Государь обратился ко мне:

- Граф Бобринский передал мне, что вы хотите представить докладную записку о церковных делах в Галиции. Пожалуйста, представьте.

Чуть ли не на другой день записка была мною составлена. В ней я развивал следующие

мысли: продолжение практиковавшейся в 1915 году в Галиции воссоединительной системы не принесло бы пользы Православной Церкви и угрожало бы безопасности воссоединяемых униатов. Церковная политика в Галиции должна вестись применительно к обстоятельствам и условиям военного времени, чтобы, не упуская из виду конечной цели, т. е. единения галицийских униатов с нашей Православной Церковью, в то же время не раздражать, а успокаивать население и всячески ограждать {35} доверяющихся нам униатов от возможности, по примеру прошлого года, для них новых репрессий со стороны австрийцев.

Чтобы расположить галицийских униатов к Православной Церкви, надо сделать всё возможное для наилучшего удовлетворения их духовных нужд. Для этого в униатские приходы, оставшиеся без священников, либо убежавших в глубь Австрии, либо заключенных за руссофильство в тюрьмы, либо казненных австрийцами, необходимо командировать самых лучших, идейных, образованных и бескорыстных наших священников, обеспечив их казенным содержанием в размере получаемом полковыми священниками. Когда тот или другой униатский приход согласится принять нашего священника, последний должен крестить, венчать, хоронить, - словом, совершать все духовные требы для этого прихода и отправлять богослужения в приходской церкви, не принимая никакого вознаграждения от прихожан за свои труды, идя навстречу всем их духовным нуждам и в то же время ни слова не говоря о воссоединении, а тем более - не требуя от обращающегося к нему за совершением требы униата предварительного присоединения к Православной Церкви.

На последнем я настаивал по следующим побуждениям. Униатская масса народ - совсем не разбиралась в богословских тонкостях. Навязанные ей католицизмом, отделяющие униатов от православных догмы filioque ("Filioque" - учении Католической Церкви об исхождении Святого Духа не только от Отца (на чем настаивают православные богословы), но и от Сына, что зафиксировано в принятой католиками редакции Никео-Константинопольского Символа веры. Последняя только тем и отличается от православной, что в нее внесено слово "и Сына" (лат. "Filioque") применительно к источнику исхождения Святого Духа ("от Отца и Сына исходящего"). Но именно это маленькое добавление оставалось и продолжает оставаться важнейшим богословско-догматическим препятствием на пути к взаимопониманию и сближению братских христианских Церквей. - см. <http://catharticles.by.ru/rasnoe/filioque.htm> - ldn-knigi),

о главенстве папы и другие оставались для униатов-мирян пустыми, непонятными, ничего не говорившими ни их уму, ни их сердцу, звуками. В душе простецы-униаты верили, что они одно с нами; наших священников они не чуждались, благодатью нашей церкви не брезгали. Предложение отказываться от своего и присоединиться к нам многих из них смущало и удивляло.

- Мы думали, что по вере мы - одно с вами, что храним, как и вы, веру дедовскую. Теперь вы говорите, что мы не то, что вы. Тогда, что же такое вы?

{36} Так рассуждали иные униаты, когда им предлагали отречься от унии и присоединиться к православию. Фактически ничего не прибавляя, торжественное присоединение одних, таким образом, смущало, другим угрожало теми страшными возможностями, какие уже имели место в 1915 году, при отходе наших войск из Галиции. Ясно, что открытому миссионерству - "идем обращать вас к истинной вере" - при данной обстановке не могло быть места. Нужно было что-то другое, что не смущало бы совесть униатов и не угрожало бы им жестокой расправой со стороны австрийцев за измену вере. Значит, надо было придать делу такой вид, будто бы униаты пользуются нашими священниками по крайней нужде, не имея своих и не будучи в состоянии иным каким-либо образом удовлетворить свои духовные нужды. Наша конечная цель при такой прикровенности нисколько не пострадала бы. И теперь, считая, что они одно с нами, а затем - привыкши к нашим священникам, униаты в конце концов потеряли бы всякое представление о каком-либо различии между ними и нами, между православием и унией и, в случае присоединения Галиции к России, сразу влились бы в Православную Церковь. Цель была бы достигнута незаметно для глаза, правда - без пышных торжеств и триумфов для

воссоединителей, но зато без волнений и жертв, безболезненно и прочно.

Я отлично понимал, что с формальной, или, как у нас для большего впечатления любят выражаться, - с канонической точки зрения (При этом на каноны более всего любят ссылаться лица, которые сами чаще всего, почти на каждом шагу нарушают их прямо или косвенно, "одесятствуя мяту, анис и тмин и опуская важнейшее в законе: суд, милость и правду" (Мф. XXIII, 23), забывая, что не человек для канона, а канон для человека, что канон подлежит изменению, раз ,он начинает приносить вред церковному делу и жизням человеческим.) такой путь мог быть и {37} оспариваем и осуждаем, но, в данном случае в особенности, были применимы слова Спасителя: "Суббота для человека, а не человек для субботы". Какой канон мог предусмотреть ту обстановку и взвесить все условия, при которых нам теперь приходилось иметь дело с униатами? А затем: разве чин воссоединения - таинство?

Разве обращение униата к православному священнику за исполнением духовной требы не свидетельствует об его вере в православную церковь, в благодатные полномочия ее служителей? Разве это его обращение нельзя признать равносильным присоединению? С точки зрения книжников я окажусь неправым, но я и тогда считал и теперь считаю, что только такой способ действия в Галиции мог быть правильным и прежде всего целесообразным: закону Христовой любви он отвечал, основ церковного учения не нарушал, верно вел к цели и предотвращал возможность для униатов новых ненужных страданий за веру. В конце записки я ставил условие, без соблюдения которого я не могу ручаться за успех работы: чтобы ни Св. Синод, ни обер-прокурор Синода не вмешивались в мою работу в Галиции и не ставили мне никаких препятствий при осуществлении намеченного плана.

Прежде чем представить записку Государю, я ознакомил с нею архиепископа Константина, а затем генерала Алексеева, графа Бобринского, ген. Эльснера - начальника снабжения Юго-западного фронта, которому был подчинен галицийский генерал-губернатор и генерала Воейкова, как человека практического и близкого к Государю. Первый признал мою записку резонною, с церковной стороны; последние все одобрили ее с государственной точки зрения.

После этого я представил ее Государю. На другой день через ген. Алексеева я получил обратно свою записку с собственноручной надписью Государя: "Одобрю". Вслед за тем состоялось высочайшее повеление о возложении на меня заведывания всем церковным делом {38}

в Галиции и Буковине, причем мне предоставлялось право иметь особого помощника, на правах главного священника фронта.

Как уже говорилось раньше, в то время лишь небольшой уголок Галиции с городом Тарнополем был занят нашими войсками, но ждали наступления и в успехе не сомневались. Я должен был подготовиться, чтобы при расширении территории сразу же взяться за работу. Прежде всего я занялся приисканием себе помощника. Выбор мой остановился на ординарном профессоре Киевской Духовной академии, докторе церковной истории, прот. Ф. И. Титове.

Профессор Титов считался знатоком истории западнорусской церкви и, в частности, униатства; он обладал научным стажем, который для моего помощника был чрезвычайно важен, особенно при сношениях с буковинскими церковными властями, где управление было составлено из Черновицких архимандритов и протоиереев, щеголявших званиями докторов богословия, профессоров университета и пр.; наконец, мне о. Титова очень настойчиво рекомендовал бывший Главнокомандующий Юго-западного фронта Н. И. Иванов. Эти данные склонили меня в его пользу. Требовалось согласие самого о. Титова. Я вызвал его в Ставку и, прежде всего, ознакомил его с одобренною Государем моей докладной запиской, заявив ему, что неуклонное и точное выполнение изложенной в записке программы - условие *sine qua non* (обязательное, неперемное (лат.)) нашей совместной работы. Титов ответил, что он решительно во всем разделяет мой взгляд на галицийское дело и готов подписаться под каждым словом моей записки. Таким образом, в принципиальном вопросе между нами

сразу установилось полное единение.

Менее сговорчивым оказался о. Титов в вопросе о материальном обеспечении. Хотя предназначенное для моего нового помощника содержание было достаточно, чтобы удовлетворить очень требовательного человека, а тем более нашего брата-священника, всё же о. Титов {39} заявил, что он желает сохранить за собою и все содержание по занимаемым им в Киеве должностям: профессора академии, настоятеля Андреевской церкви, члена Консистории и редактора "Епархиальных ведомостей". Такое заявление меня удивило.

Мой принцип - в служебных делах личный материальный интерес отодвигать в сторону. В данном же случае этот интерес уже был обеспечен положенным военным содержанием. Кроме того, сохранение содержания по должностям, которые, во время отсутствия Титова, будут исполняться другими лицами, для обеспечения коих придется изыскивать откуда-то средства, должно было вызвать на месте затруднения. Всё же я обратился к Киевскому митр. Владимиру с просьбой удовлетворить выставленные Титовым условия. Митрополит ответил мне категорическим отказом. Чтобы не разойтись нам из-за сребренников, я решил удовлетворить это желание о. Титова иным способом, посредством особого доклада Государю, что я и сделал. Государь согласился с моим выбором и повелел мне от его имени просить Киевского митрополита Владимира о сохранении за Титовым, на время его пребывания на фронте, всех Киевских должностей и содержания по ним.

Митрополит Владимир не посмел отказать в просьбе, обращенной к нему от имени Государя, но при встрече со мной с возмущением говорил о причиненном ему затруднении изыскивать средства для вознаграждения заместителей о. Титова по разным, брошенным им, должностям. По адресу Титова при этом было сказано достаточно горьких и, - надо сознаться, - справедливых слов.

Получив согласие Государя и ответ митрополита, я назначил о. Титова своим помощником по униатским делам.

Затем, по моему представлению, было учреждено тридцать штатных священнических вакансий для Галиции, которые я мог замещать по мере надобности. {40} Совместно с о. Титовым мы принялись после этого подыскивать сотрудников для предстоящей работы, поставив за правило привлекать к делу только образованных и идейных священников.

Начатое летом 1916 года нашими войсками на Галицийском фронте наступление увенчалось успехом, хотя и меньшим, чем ждали. Более успешным оказалось продвижение на левом фланге: в наших руках оказалась почти вся Буковина.

С занятием Буковины выдвинулся вопрос об управлении Буковинской церковью.

Буковинским митрополитом в то время считался Владимир Репта. При первом занятии нашими войсками в 1914 году г. Черновиц (столица Буковины), митрополит Владимир остался на месте. Когда Черновицы снова перешли в руки австрийцев, последние, в наказание за общение митрополита Репты с русскими, наложили на него пеню в 75 тысяч крон, в то время сумму - очень внушительную. Чтобы не подвергнуться еще худшему, митрополит Владимир, при вторичном приближении наших войск к Черновицам в 1916 г., бежал в Вену. Бежали с ним и некоторые из его сослуживцев-членов Консистории. Оставшиеся члены Консистории сторонились от управления, опасаясь подвергнуться в будущем каре. Фактически Буковинская церковь осталась без управления. Не выпускал из своих рук вожжей лишь один секретарь Консистории, о котором, однако, ходили недобрые слухи, как об австрийском шпионе и хищнике. Положение вопроса об управлении Буковинской церковью еще осложнялось тем, что там издавна соперничали две партии - румын и русинов, каждая из которых старалась получить перевес в управлении. С отъездом митрополита этот спор еще более обострился, ибо теперь обе партии лишились примиряющего центра.

Между тем, положение Буковинской церкви требовало всегда, а теперь в особенности, наличия сильной и справедливой власти. {41} Буковинская митрополия едва ли не самая богатая из всех православных церквей в мире. Ей принадлежала в то время 1/3 часть всей Буковинской земли. Богатейшие имения Буковинской митрополии с чудными хозяйствами,

фермами и заводами были рассеяны по всей Буковине. Несметные лесные богатства принадлежали ей. Митрополия ежегодно получала колоссальный доход. На свои средства она содержала в Черновицах богословский факультет; в ее руках была почти вся благотворительность страны. Недавно отстроенный, стоивший свыше 5 милл., крон, дворец митрополита напоминал царскую резиденцию, а не обитель смиренного служителя Божия. И все это несметное богатство было брошено теперь на произвол судьбы, ибо нельзя же было считать серьезною опеку над ним консисторского секретаря. Не было в Черновицах церковной власти, которая порадела бы об этом богатстве. Начались хищения изнутри и извне: стали расхищать всё; начали, не стесняясь, пользоваться митрополичьим добром, в особенности лесами, и наши. В это время я был извещен новым Галицийским генерал-губернатором, ген. Ф. Ф. Треповым, что крайне необходим мой приезд в Черновицы для организации управления Буковинской церковью.

Штаб Галицийского генерал-губернатора в данную пору помещался в г. Тарнополе. Отсюда мы, т. е. я, ген. Трепов, начальник его Штаба ген. Сухомлин и протоиерей Титов и направились в г. Черновицы.

По пути мы условились так действовать: а) чтобы нас не могли потом упрекнуть ни во вмешательстве в дела автокефальной Буковинской церкви, ни в бездействии при нарушении другими ее интересов; б) чтобы лиц, имеющих войти в состав правления, оградить от возможности обвинений австрийцами, а в случае нового занятия ими Буковины, в измене, и в) чтобы, наблюдая и то, и другое, в то же время соблюсти и интересы русского дела.

На следующий день, по нашем прибытии в {42} Черновицы, ген. Треповым были приглашены в зал митрополичьего дома-дворца оставшиеся на месте члены Буковинской Консistorии, профессора богословского факультета и виднейшие представители городского духовенства, для обсуждения вопроса об организации церковного управления.

В назначенный час состоялось наше совещание с приглашенными. Конечно, все мы вчетвером присутствовали на нем. Совещание началось моей речью, в которой я изложил наши общие пожелания: согласно воле нашего Государя, мы не хотим вмешиваться в управление Буковинской церковью, но мы считаем своим долгом помочь ей организовать управление, хотим затем помочь этому управлению в охране прав и интересов их церкви. Дабы не подвергать кого-либо каким-нибудь опасностям в будущем, русская власть отказывается от всяких назначений по церковному управлению Буковины и предлагает самому духовенству выбрать членов Консistorии и других начальствующих лиц. Русская власть лишь оставляет за собою право, каким пользовались и австрийские власти в мирное время, утверждения или неутверждения избранных, а для устранения всяких споров между румынской и русинской партиями предлагает соблюсти при выборах принцип, чтобы румыны и русины в одинаковой пропорции вошли в управление. Точно также само буковинское духовенство должно разрешить вопросы, возникшие, в виду отсутствия в Буковине епископа, как вопрос о назначениях на вакантные священнические места, о рукоположении новых священников и пр. Последний вопрос был разрешен таким образом: Буковинская Консistorия избирала кандидатов на священнические места, которые затем, по моей просьбе, рукополагались русскими архиереями ближайших к Буковине русских епархий. Объявив собранию, что мой помощник проф. Ф. И. Титов будет посредником между Буковинской церковной властью и нашими гражданскими властями, и что он {43} всемерно будет охранять права и интересы Буковинской церкви, я закончил свою речь.

После обмена мнениями, пришли к решению: буковинское духовенство само изберет чинов Консistorии и избранных представит через протоиерея Титова на утверждение генерал-губернатору. На другой день я уехал из Черновиц. Дело продолжал о. Ф. И. Титов. Ему удалось помочь буковинцам сформировать Церковное управление и вообще наладить расстроенную войной церковную жизнь. Благодаря его же вмешательству, настойчиво поддержанному мною перед ген. Алексеевым, были защищены лесные и другие богатства Буковинской митрополии.

Судя по тому, что в конце 1916 года Буковинское духовенство поднесло о. Титову

очень трогательный благодарственный адрес, надо полагать, что наша бескорыстная политика была понята и оценена буковинцами. Должен признать, что дальше всё делалось о. Титовым, а я почти только тогда привлекался к участию, когда требовалась защита или поддержка Ставки, или же надо было согласовать деятельность фронтового духовенства с деятельностью о. Титова и его помощников. Много облегчала работу полная, ни разу не нарушавшаяся, солидарность во взглядах и действиях между мною и о. Титовым, с одной стороны, между нами и ген. Треповым, с другой. Последний в нашем деле показал себя просвещенным и доброжелательным администратором.

В Буковине всё же нам легче было действовать, чем в Галиции. Правда, в Буковине нас легко могли обвинить во вмешательстве в дела автокефальной церкви. С другой стороны, мы тут встретились с докторами богословия и профессорами-протоиереями, с самолюбиями которых считаться было не легко. Но оба эти подводных камня были обойдены сравнительно благополучно. Зато здесь на нашей стороне был один плюс, к сожалению, отсутствовавший в Галиции. Доселе, если не считать {44} одного, более курьезного, чем значительного случая, никаких недоразумений между русскими и буковинскими церковными властями не было, так как русские до этого времени предоставляли самим буковинцам разбираться в своих делах. (Не могу не рассказать о нем. В конце 1914 или в начале 1915 г. ко мне в Барановичах зашел Черновицкий губернатор Евреинов с просьбой помочь делу, очень его беспокоившему. Состояло оно в следующем. В данное время в Черновицах стоял наш, кажется, 281 пех. полк. Очень молодой и, вероятно, не особенно воспитанный (из мобилизованных, лично я его не знал) полковой священник, воспользовавшись отсутствием митрополита, поселился, на правах победителя, в величественных митрополичьих покоях, потом стал пользоваться великолепным митрополичьим выездом и, наконец, стал совершать богослужения в кафедральном соборе, обязывая заслуженных Черновицких протоиереев-докторов богословия сослужить ему, т. е. ставя их в подчиненное положение. Как побежденные, они повиновались, но всё же ропот пошел такой, что губернатор вынужден был просить меня ограничить начальственный пыл батюшки.)

В Галиции же, сношения между нами - православными и униатским населением были испорчены церковной политикой прошлого года, промахи которой сумели использовать для себя местные униатские и католические ксендзы. Одни из униатов были настроены в отношении нас положительно враждебно, а другие были запуганы прошлогодними репрессиями австрийцев и, по пословице, обжегшись на молоке, теперь дули на воду. Всё же, к концу 1916 г. до 50 наших священников служили в униатских Галицийских приходах, удовлетворяя все духовные нужды местных прихожан. Прот. Титов всё время объезжая эти приходы, беседовал с униатами и с нашими священниками и водворяя мир там, где он нарушался с нашей или с униатской стороны. В своих поездках в Галицию я также не упускал случая войти в общение не только с обслуживавшими приходы нашими священниками, но и с униатскими ксендзами и {45} монахами: последних я всегда приглашал на наши пастырские собрания. Одновременно с этим обслуживание духовных нужд галицийских униатов велось и всеми находившимися на Галицийской территории военными, полковыми и госпитальными священниками, которые были снабжены специальной на этот предмет инструкцией.

К сожалению, вынужден отметить: на почве отношений к этим священникам у о. Титова возникало много недоразумений, которые мне то и дело приходилось улаживать. В общем же, дело наше шло без шума, спокойно и достаточно гладко. К воссоединению никто не призывал униатов, но фактически воссоединение крепло везде, где служили наши священники. Обслуживаемые униаты всё прочнее сроднялись с мыслью, что они совершенно одно с нами. Дело шло верным путем, и не подлежит сомнению, что оно привело бы нас к полной победе, если бы не стряслось несчастье над нашей армией.

Происшедшее после революции полное разложение фронта сопровождалось кошмарным отступлением наших войск из Галиции. Тогда и мы должны были оставить свое уже налаженное дело. На этот раз мы покидали Галицию с полной уверенностью, что

галицийские униаты за последнюю нашу у них работу не помянут нас лихом.

Мое участие в церковной галицийской работе ограничилось выработкою плана, участием в нескольких братских собраниях православных и униатских священников в г. Тарнополе и поддержкой о. Титова из Ставки. Вся же остальная, запутанная и сложная работа была проведена осторожным и настойчивым проф. Ф. И. Титовым, которому и должна принадлежать честь за нее.

Не скажу, однако, чтобы галицийское и буковинское дела не причиняли мне огорчений. В служебных вопросах мы с о. Титовым не расходились. Но где дело касалось лично о. Титова - его материальных интересов и наград, там мы оказывались на разных плоскостях. Мне {46} пришлось употребить большое насилие над своей совестью, чтобы заставить митрополита Владимира выполнить чрезмерное и, по существу, несправедливое требование о. Титова о сохранении за ним всех его многочисленных киевских окладов. Чрез несколько месяцев, после его прибытия на театр военных действий, он совсем неприкровоенно стал напоминать мне о необходимости наградить его митрою. В порядке наград митра являлась для о. Титова весьма преждевременной. Но его напоминания были так решительны, что я, скрепя сердце, сделал представление Св. Синоду. Последний обычно удовлетворял все мои ходатайства, всегда рассматривавшиеся в моем присутствии. Но тут у меня не хватило духу, чтобы защищать награду, к которой меня вынудили. И Синод отклонил представление.

После этого мне пришлось иметь очень неприятное объяснение с о. Титовым, значительно ухудшившее наши отношения.

{49}

III

На верхах. Новые назначения. Польский вопрос

Всё более сгущавшаяся атмосфера нашей государственной жизни способствовала тому, что в 1916 году на государственном горизонте то и дело меркли звезды. Закатилась так внезапно оказавшаяся на государственном небосклоне звезда министра внутренних дел А. Н. Хвостова. Назначенный, как мы видели, с соизволения и благословения Григория Ефимовича, Хвостов сумел войти в полное доверие "старца" и стал его "собинным" другом. Другом он оказался, однако, вероломным. Скоро открылось, что им организован план убийства Распутина, при посредстве некоего Ржевского и известного иеромонаха Илиодора. Эту хвостовскую махинацию раскрыл другой "друг" Хвостова и его товарищ по должности министра внутренних дел Степан Петрович Белецкий. Можно представить, какую бурю негодования подняло в сердце императрицы это разоблачение. А. Н. Хвостов был тотчас уволен от должности министра внутренних дел. Никакого другого назначения ему не было дано. На его место назначили нового распутинца, члена Государственного Совета Б. В. Штюмера.

Кара, постигшая Хвостова, по тому времени была слишком сильной и даже необычной. Обыкновенно увольнения подслащивались какими-либо знаками монаршего внимания к увольняемому: пожалованием большого ордена, назначением в Государственный Совет или, как это было в отношении Сухомлинова и Саблера, собственноручными письмами Государя. В Царском Селе не хотели чтобы на них обижались. И теперь, после расправы с {50} коварным министром, Императрица, успокоившись, не прочь была чем-нибудь утешить наказанного.

Идучи к богослужению в Федоровский Государев собор, во время говенья перед исповедью, в пятницу первой недели Великого поста, Императрица говорит Государю:

- Как тяжело сознавать, готовясь к исповеди, что кто-то гневается на тебя. Если бы Хвостов пришел к нам и выразил желание примириться, я рада была бы простить его. (Передаю со слов ктитора собора полк. Ломана, который слышал этот разговор между царицей и царем).

С виновником увольнения Хвостова, С. П. Белецким, меня познакомил в 1911 году бывший тогда самарским архиереем еп. Константин. И по словам еп. Константина, и по первому моему впечатлению, тогда у Белецкого внутренняя порядочность и благородство

прекрасно гармонировали с большой деловитостью и серьезностью. В последующие годы он круто изменился в другую сторону.

"Правильная оценка С. П. Белецкого, - писал мне начальник Штаба Корпуса жандармов, ген. В. П. Никольский, очень близко и часто сталкивавшийся по службе с Белецким, - может быть дана лишь при детальном ознакомлении со всей его служебной деятельностью. Несомненно, что при продвижении по иерархической лестнице, он постепенно опускался в нравственном отношении. Я имел возможность наблюдать его в должности директора Департамента полиции, за которую он крепко цеплялся, но с которой он должен был уйти по настоянию В. Ф. Джунковского, не нашедшего возможным служить с ним, при его неискренности и фальши, и в должности товарища министра внутренних дел, совершенно не считавшегося со своим министром Алексеем Хвостовым, которого он даже не всегда ставил в известность об отдаваемых им именем министра распоряжениях. Безусловно, ловкий, вкрадчивый, с обаятельным обхождением, в некоторых случаях напоминающий Молчалина, он обладал острым, умевшим быстро схватывать самое сложное дело {51} умом, громадной работоспособностью и усидчивостью, - этим он обратил на себя внимание П. А. Столыпина и, благодаря этому, попал из самарских вице-губернаторов в вице-директора Департамента полиции.

Но здесь у него начинают сказываться два качества, постепенно затмившие остальные хорошие черты его духовного склада: колоссальное честолюбие - он решил добиться рано или поздно, тем или иным путем, поста министра внутренних дел; а затем у него развилась похотливость - отсюда его попойки, кутежи с балетными "звездочками" и проч., проявлявшиеся, еще в бытность его вице-директором Департамента полиции. Тогда же он проявил склонность вести дело государственной охраны самыми темными путями (провокацией, Азэфовщиной и пр.). Это и заставило В. Ф. Джунковского развязаться с таким нечистоплотным, хотя и очень дельным директором Департамента полиции. Но, отдавая должное его служебной деловитости, В. Ф. Джунковский выхлопотал ему место в Сенате, хотя и отлично сознавал, что по своим душевным качествам он не достоин носить сенаторское звание.

Надо отметить, что А. А. Макаров, в бытность министром внутренних дел, был без ума от С. П. Белецкого.

Белецкий не простил Джунковскому своего удаления с выгодной для него должности директора Департамента полиции, где он мог безотчетно распоряжаться крупными денежными средствами, и решил принять участие в "уничтожении" В. Ф. Джунковского. Он вошел в союз с "темными силами", проник в салон Вырубовой, которую скоро очаровал своею веселостью, умением рассказать веселый анекдотик и развлечь общество. У Вырубовой он сошелся с Григорием Распутиным.

По-видимому, он именно указал на А. Н. Хвостова, как на наиболее подходящего министра внутренних дел, рассчитывая после него занять министерское кресло.

{52} А. Н. Хвостов, будучи удален в бытность Джунковского товарищем министра внутренних дел, с поста Нижегородского губернатора, за безобразное поведение, питал к последнему слепую ненависть.

Принимая должность министра внутренних дел, А. Н. Хвостов, обязанный таким образом Белецкому, взял его в товарищи к себе. Белецкий после этого стал как бы опекуном Хвостова, ибо при дворе знали большую неуравновешенность нового министра внутренних дел.

Теперь С. П. Белецкий развернулся вовсю. Он особенно бесшабашно стал распоряжаться казенными деньгами (суммами Департамента полиции), устраивая иногда на них в своем служебном кабинете (Большая Морская, 5) ночные попойки с балетными танцовщицами, в которых участвовал и А. Н. Хвостов. Распутин там не появлялся.

Зато на служебных приемах Белецкого стали появляться всевозможные дамы с однообразными синими конвертиками, внутри которых каракулями было написано: "милая дарагой прими и устрой Гр.". Иногда вверху этого обращения ставился крест. Такие

посетительницы принимались сенатором особенно внимательно и просьбы их немедленно удовлетворялись"...

Происшедшая в Белецком метаморфоза удивляла не меня одного. Разжиревший, с одутловатым посиневшим лицом, заплывшими глазами и сиплым голосом, он в 1915 г. производил впечатление нравственно опустившегося, спившегося человека. Но для Царского Села близость известного лица к Распутину была ширмой, чтобы скрыть какие угодно недостатки и гадости. Проще говоря, у близкого к "старцу" человека их не замечали.

Кто был близок к "старцу", тот был чист перед ними. Поэтому, все безобразия, чинившиеся Белецким, и, несомненно, по слухам доходившие до царских ушей, ни на йоту не поколебали там его репутации. В конце февраля сенатор Белецкий назначается на должность Иркутского {53} генерал-губернатора. Напечатанное им, уже после назначения в Иркутск, в "Новом времени" какое-то скандальное разоблачение испортило дело. 15-го марта Белецкий был уволен от генерал-губернаторской должности, не успев и увидеть Иркутска, а, вместо него, на должность Иркутского генерал-губернатора был назначен, всего чуть ли не один месяц пробывший товарищем министра внутренних дел А. И. Пильц, которому сотрудничество с распутинцем Штюрмером совсем не улыбалось.

Безобразное пьянство, казнокрадство и прочие безобразия легко сходили Белецкому; правдивое же, но вызвавшее шум в обществе выступление в печати не сошло. Это характерно для того времени.

Перейду теперь к другим сменам на высших государственных постах.

Избранный вел. князем Николаем Николаевичем и приветствовавшийся им военный министр А. А. Поливанов. 15-го марта был заменен ген. Дмитрием Савельевичем Шуваевым, пред тем состоявшим в должности главного интенданта.

Скромный, честный, аккуратный и бережливый, старик Шуваев был прекрасным военным экономом и совершенно не годился для поста военного министра. Он был слишком прост и сер для этого. По своему внешнему виду, манере говорить и вообще по всему своему складу он, по тогдашней шутке, более годился в каптенармусы, чем в военные министры.

Поливанова убрали, как "левого"; Шуваева назначили, как "правого". За последним, кроме того, значились два плюса: безукоризненная служба в должности главного интенданта и благоволение к нему, несмотря на его правизну, Государственной Думы. Государь тоже очень благосклонно относился к Шуваеву.

Назначение ген. Шуваева прошло совершенно {54} неожиданно. Помню: высочайший завтрак; в числе приглашенных и ген. Шуваев. На карточке гофмаршала ему указано место за столом рядом со мной. Вдруг во время закуски Государь подзывает гофмаршала и что-то говорит ему, а гофмаршал затем подходит к ген. Шуваеву. За столом ген. Шуваев садится рядом с Государем, по правую его руку, а моим соседом, на месте Шуваева, оказывается адм. Нилов.

- Почему вдруг произошла перегруппировка? - спрашиваю я адмирала.

- Шуваев - военный министр, - отвечает он мне.

- Не может быть! - удивляюсь я.

- Чему же вы удивляетесь? - говорит недовольным тоном адмирал.

- Какой же это министр? - не удерживаюсь я.

- Отличный будет министр, - решительно заявляет Нилов.

- Дай Бог! - сказал я.

Назначение ген. Шуваева у всех в Ставке, не исключая и ген. Алексева, вызвало искреннее изумление. Встретив меня в этот день около дворца, ген. Алексеев с первого слова обратился ко мне:

- Слышали о назначении нового военного министра? Ну, как вы думаете?..

- Я очень люблю Дмитрия Савельевича и теперь жалею его. Не для этой он роли, - ответил я.

- Ну, какой же это министр? - тяжело вздохнул Алексеев. В Ставке одни жалели ген. Шуваева, другие жалели дело, которое ему вверялось. Врагов в Ставке у него не было.

Напротив, все любили и уважали его за его честность и неизменную доброжелательность. Но в то же время, все сознавали, что непосильное бремя взваливалось на плечи этого доброго, простоватого {55} старика. И только свита Государя, особенно адм. Нилов и проф. Федоров, уверяли, что лучшего военного министра и не найти. Последним, впрочем, не оставалось ничего другого делать, так как Шуваев, как военный министр, был их ставленником. Проф. Федоров как-то обмолвился мне:

- Здорово пришлось нам потрудиться, пока мы убедили Государя сменить Поливанова.

Сам ген. Шуваев принял назначение покорно, со страхом и смирением. Сил своих он не преувеличивал, недугом самолюбия не страдал. Я уверен, что, если бы он не смотрел по-солдатски на свой долг, он отказался бы от предложения. Теперь же он считал себя обязанным исполнить царскую волю.

Медовый месяц Шуваева был короток. В нем очень скоро окончательно разочаровались и Государь, и Свита, а затем и в Думе его высмеяли. Очень скоро в Свите не иначе, как с насмешкой, стали отзываться о новом военном министре, сделав его мишенью для своих шуток и острот. Не блиставший умом, простодушный и по-солдатски прямолинейный Дмитрий Савельевич давал достаточно материала для желавших поглумиться над ним. В первый же месяц стало видно, что дни нового министра сочтены.

Вскоре после назначения ген. Шуваева военным министром, между мною и им произошло небольшое недоразумение.

В бытность мою священником Суворовской церкви, к числу самых усердных богомольцев, посещавших эту церковь, принадлежала семья статского советника Лихтенталя.

Она состояла из мужа, чиновника министерства путей сообщения, жены и четырех детей: двух мальчиков и двух девочек. Отец являлся в церковь сравнительно редко, но мать с двумя мальчиками и младшей дочерью не пропускала ни одной службы. При этом дети питали {56} какое-то особое теплое чувство ко мне. После каждой службы они дожидались, пока я выйду из церкви, и затем провожали меня до дверей моей квартиры. Я тоже полюбил этих деток. Назначение меня протопресвитером развредило нас: мы уже виделись редко.

Летом 1916 года, в один из моих приездов в Петроград, ко мне явился юноша, в котором я с трудом узнал своего прежнего любимца - старшего Лихтенталя. В это время он был студентом Петроградского Политехнического института. Лихтенталь прямо начал с того, что он пришел ко мне, как к "своему батюшке", и что только я один могу помочь его горю. А горе его заключалось в следующем. Он желает поступить в военное училище, а его младший брат, окончивший в этом году курс среднего учебного заведения, - в Военно-медицинскую Академию. И тому, и другому отказано в приеме, ибо отец их - крещеный еврей. Они просили военного министра, - тот тоже отказал. Теперь вся их семья умоляет меня просить милости Государя. При этом Лихтенталь передал мне письмо его отца.

Сообщение моего любимца об его еврейском происхождении явилось для меня совершенной неожиданностью. Я знал эту семью в течение десяти лет, всегда любовался их искренней набожностью, скромностью и вообще прекрасной настроенностью; несколько раз у них на квартире служил молебны; знал, что глава семьи - статский советник. И вдруг эта семья оказывается не имеющею всех прав российского гражданства. Мне стало невыразимо жаль их. Жалость моя еще более усилилась, когда я прочитал письмо отца-Лихтенталя.

Из этого письма я узнал, что, еще будучи студентом университета, он поступил в семью известного писателя Михайловского (Как будто не ошибаюсь; если не у Михайловского, то у другого какого-то известного нашего писателя) губернатором, скоро сроднился с этой семьей и, кажется, под ее влиянием принял христианство, порвав решительно {57} всякую связь с еврейством. Потом он женился на интеллигентной, глубоко верующей, коренной русской девушке, с которой в мире и любви дожил до настоящего времени. Служба его проходила в министерстве путей сообщения, где он дослужился до чина статского советника. Насколько я знал его, он представлялся мне дельным и очень скромным работником. Работал он очень много, довольствовался сравнительно малым

заработком. Жили Лихтентали скромно, почти бедно.

Неудача, постигшая его сыновей, совсем обескуражила старика.

- "За что карают моих детей? - писал он мне. - Если я виновен в том, что родился евреем, пусть наказывают меня. Но за что страдают мои дети? Я честно служил Родине, я и детей своих воспитал честными, русскими. И теперь кладут на них пятно, лишая прав русского гражданства. Помогите снять с них этот позор! Облегчите мою душу!"

Такое письмо не могло не взволновать меня. И я пообещал юноше ходатайствовать перед Государем.

В Ставке в это время в числе флигель-адъютантов был князь Игорь Константинович, с большой любовью относившийся ко мне. Прибыв в Ставку, я рассказал ему историю Лихтенталей, передал ему письмо старика с прошением на высочайшее имя и просил его, выбрав подходящее время, доложить обо всем Государю.

На другой день после завтрака Государь спрашивает меня:

- Вы хорошо знаете братьев Лихтенталей? Действительно они - хорошие юноши? Я рассказал Государю об их отношении к Церкви, ко мне, обо всей их семье.

- Я прикажу, чтобы их просьба была исполнена. Можете уведомить их об этом, - сказал Государь, выслушав мой доклад. Я не верил счастью...

{58} Через несколько дней после этого приехал в Ставку военный министр.

Мы встретились с ним на высочайшем завтраке. Поздоровавшись со мной, он сразу набросился :

- Что вы сделали? Вы подвели Государя! Это возмутительно!

- В чем дело? - спокойно спросил я.

- Да с вашими Лихтенталями, - гневно ответил он. - Вы знаете: несколько дней тому назад вел. княгиня Ксения Александровна обращалась к Государю с такой же точно просьбой, как и ваша, и он ей отказал. Государь отказал родной сестре, а вашу просьбу исполняет. Разве возможно это? Этого не будет!

- Чего вы, Дмитрий Савельевич, волнуетесь? - с прежним спокойствием возразил я. - Я Государя не неволил исполнять просьбу Лихтенталей, а лишь просил его за лично мне известных, безусловно добрых людей. Государь мог уважить или не уважить мою просьбу, как и теперь волен изменить данное мне обещание. Наконец, если и Государю моя просьба неприятна, я готов взять ее обратно.

- Я передоложу это дело, и разрешение будет отменено, - сказал Шуваев.

- Сделайте одолжение, - ответил я.

Вечером перед обедом я подошел к Шуваеву.

- Ну, что - передокладывали? Что Государь? - спросил я.

- Государь остался при прежнем решении, - уже спокойно ответил милый старик. Конечно, этот инцидент ни на йоту не нарушил наших добрых отношений.

Кажется, в ноябре ген. Шуваев был заменен генералом Михаилом Алексеевичем Беляевым, "мертвой {59} головой" (Я его знал по Русско-японской войне, когда я был главным священником I-й Манчжурской армии, а он начальником канцелярии командующего этой армией. Тогда все считали его трудолюбивым, исполнительным, аккуратным, но лишенным Божьего дара, острого и широкого кругозора работником, часто мелочным и докучливым начальником. Таким он остался и до последнего времени. В военные министры он, конечно, не годился.),

как называли последнего в армии. Мне думается, что главную роль в отставке Шуваева сыграла свита. Он не сумел заставить свиту ни уважать его, ни даже считаться с ним. Место прежнего восхищения честным и неподкупным ген. Шуваевым тут скоро было занято полным разочарованием, сопровождавшимся постоянной критикой всех действий, каждого шага неудавшегося министра. В конце концов, вышло так, что свалили Шуваева те же, что и вознесли его.

Кто помог Беляеву взобраться на министерский пост, - затрудняюсь сказать. Для царской свиты он как будто был чужим и малоизвестным человеком. Утверждали, что он

был близок к компании Вырубовой и что назначению его способствовала Императрица. Отношение ставки к новоизбранному военному министру было отрицательным. Тут новый выбор считали хуже предшествовавшего.

Летом 1916 года польский вопрос снова привлек к себе особенное внимание. Как известно, еще в августе 1914 г. вел. князь Николай Николаевич обратился к польскому народу с многообещающим воззванием. После этого Польша принесла новые жертвы, не изменив России. Но обещания остались обещаниями. Иначе действовали немцы. Заняв Польшу летом 1915 года, они вскоре затем предоставили ей автономные права.

Русскому влиянию в Польше стала грозить серьезная опасность. Тогда засуетились и наши. В первых числах июня 1916 года в Ставку прибыл министр иностранных дел С. Д. Сазонов {60} со специальной целью добиться окончательного решения польского вопроса. Насколько я помню, проектировалась свободная Польша под протекторатом России, с общими армией, иностранной политикой, судом, финансами, почтой и железными дорогами. Сазонов заходил и ко мне, знакомил меня с проектом нового устройства Польши и просил, если представится случай, поддержать перед Государем этот проект. Как и раньше, Государь был на стороне дарования льгот Польше; Императрица стояла за сохранение status quo. Однако, Сазонову удалось временно одержать победу, хотя, как увидим дальше, бесплодную и дорого обошедшуюся ему.

Как сейчас представляю следующую картину.

29-ое июня, праздник Св. Ап. Петра и Павла. Высочайший завтрак сервирован в палатке в саду. В ожидании выхода Государя тут уже собрались все приглашенные и среди них польский граф, - кажется шталмейстер Велепольский. Минуты за две до выхода Государя приходит министр С. Д. Сазонов, с портфелем в руке, раскрасневшийся, взволнованный. Он явился к завтраку прямо с доклада у Государя. "Поздравьте меня: польский вопрос разрешен!" - обращается ко мне Сазонов, протягивая руку. Только я ответил: "Слава Богу", как вошел Государь и направился прямо к гр. Велепольскому. Я расслышал слова Государя, обращенные к графу: "Вопрос разрешен, и я очень рад. Можете поздравить от меня ваших соотечественников". Сазонов сиял от радости. Оставалось, таким образом, заготовить манифест и объявить народу. Но вместо манифеста получилось нечто иное, для всех неожиданное...

Сазонов из Ставки, чуть ли не в тот же день, уехал в Петроград, а оттуда в Финляндию, чтобы отдохнуть после выигранного "сражения". А 7-го или 8-го июля примчалась в Ставку Императрица и... перевернула все.

С. Д. Сазонов был уволен от должности министра {61} иностранных дел. Заступничество за него Бьюкенена и Палеолога (Английский и французский послы.) не помогло делу. Министром иностранных дел был назначен Б. В. Штюрмер (Министром Вн. дел на место Штюрмера был назначен министр юстиции А. А. Хвостов, а министром юстиции А. А. Макаров. В конце сентября Хвостов был заменен Протопоповым.). Никаких манифестов по польскому вопросу не последовало. Поляки остались с одним поздравлением.

В Ставке знали, что Сазонов слетел из-за польского вопроса; знали и то, что польский вопрос провалился, вследствие вмешательства Императрицы. Изменение принятого Государем и объявленного им решения мало кого удивило. Удивило всех другое - это назначение министром иностранных дел Штюрмера, никогда раньше не служившего на дипломатическом поприще и не имевшего никакого отношения к дипломатическому корпусу. Когда в штабной столовой Ставки за обедом заговорили о состоявшемся новом назначении Штюрмера, ген. Алексеев заметил:

- Я теперь не удивлюсь, если завтра Штюрмера назначат на мое место начальником штаба.

Сказано было это с раздражением и так громко, что все могли слышать. Мы вступили в такую полосу государственной жизни, когда при выборе министров близость к Распутину ставилась выше таланта, образования, знаний, опыта и всяких заслуг. Штюрмер был другом Распутина... И этим компенсировал всё... Теперь Штюрмер был всемогущ. С января он

состоял председателем Совета Министров.

Умный и прозорливый старик Горемыкин для курса данного времени оказался непригодным.

В июле месяце в Петроград приехал Греческий королевич Николай. Германофильство Греческого короля {62} Константина, зятя Императора Вильгельма, во время войны возбудило большие опасения не только в русском обществе, но и в самой Греции. Королевич Николай прибыл теперь в Петроград с целью не только реабилитировать своего брата в глазах Государя, но и обеспечить ему поддержку России, в случае волнений в Греции. Положение королевича Николая в России оказалось незавидным. Ему на каждом шагу подчеркивали вероломство его брата. Даже близкие его сторонились. Я проезжал станцию Жлобин, когда там встретились два поезда: королевича Николая, шедший из Киева, и вел. князя Бориса Владимировича, шедший в Киев. Мне там рассказывали, что поезда бок о бок простояли что-то около полутора часов, но вел. князь, на сестре которого был женат королевич Николай, демонстративно отказался навестить его.

В половине июля, в одно из воскресений, я служил литургию в Павловском дворце, а потом завтракал у князя Иоанна Константиновича, которому королевич Николай приходился двоюродным братом. За столом говорили о греческом госте с большой холодностью, если не сказать - с пренебрежением. Говорили, что и у царя королевич Николай встретил не особенно теплый прием. Общество тогда горячо приветствовало курс, взятый в отношении представителя, хоть и родственного нашему двору, но враждебного России короля.

В начале июля я был приглашен в Киев на освящение нового военного (для убитых на войне) кладбища. Идея устройства такого кладбища принадлежала генералу Н. И. Иванову. Им же были найдены и нужные средства. Естественно, что собираясь, с разрешения Государя, уезжать в Киев, я, после царского завтрака во дворце, спросил Николая Иудовича:

- А вы поедете на освящение?

- Да, я хотел бы поехать, но Государь не говорит об этом ни слова, ответил обиженным тоном старик.

{63} - Государь может не догадаться о вашем желании. Вы бы сами напомнили ему, - возразил я.

- Нет, нет! Если Государь сам не прикажет мне, я напоминать ему не стану. Государь знает, что устройство кладбища - мое дело, - запротестовал Николай Иудович.

Тогда я решил разрешить вопрос. Подошедши к Государю, я прямо обратился к нему:

- Ваше величество! Завтра я уезжаю в Киев на освящение нового военного кладбища. Может быть, вы признаете возможным разрешить и Николаю Иудовичу отбыть туда же. Он ведь инициатор и устроитель этого кладбища.

- Ну, конечно! - ответил Государь и, подошедши к Николаю Иудовичу, сказал ему:

- Вам следовало бы вместе с о. Георгием проехать в Киев на освящение кладбища. Вы ничего не имеете против этого?

- Слушаю, ваше величество, - ответил Николай Иудович.

На другой день мы - Николай Иудович и я - в его вагоне отбыли в Киев. Вместе с нами ехал состоявший при Николае Иудовиче, полк. Б. С. Стеллецкий.

Часов в 10 вечера Николай Иудович улегся спать. А я с полк. Стеллецким беседовали за полночь.

Говорили о многом, но у меня ярко запечатлелась одна часть нашей беседы.

- Позвольте мне быть совершенно откровенным с вами, - обратился ко мне полк. Стеллецкий.

- Пожалуйста, - ответил я.

- Я вас очень обвиняю в том, что вы не пользуетесь настоящим своим положением и не делаете всего, что могли бы сделать, - начал Стеллецкий. Вы {64} могли бы быть всемогущим. Разве вы не видите, как Государь относится к вам. Когда он выходит к завтраку, он ищет глазами прежде всего вас, он к вам всегда исключительно внимателен, он не отказал бы вам ни в какой просьбе.

- Царское внимание и помощь мне в делах моей службы я глубоко ценю и никогда их не забуду. Но эксплуатировать царское внимание и мешаться в дела чужие я не могу, - ответил я.

На другой день мы присутствовали на освящении, которое совершал еп. Василий, ректор Академии. Я сослужил ему и приветствовал речью прибывшую на торжество Императрицу Марию Федоровну.

В конце августа слетел с своего поста обер-прокурор Св. Синода А. И. Волжин.

Честный, прямой и благородный, он, как мы видели, не пошел по пути компромиссов и этим сразу восстановил против себя "Царское". Что он отказался от знакомства со "старцем" и уклонился от визита Вырубовой, уже одного этого там не могли простить ему. Но он, кроме того, вел борьбу не на жизнь, а на смерть с митрополитом Питиримом. При поддержке своих верных друзей, как и надо было ожидать, митрополит Питирим победил.

Упорные слухи об уходе Волжина начали распространяться, по крайней мере, за месяц до отставки его. Как только запахло трупом, начали слетаться "орлы". Надо сказать, что в виду "средостения" между царем и обер-прокурором, еще более усилившегося после того, как рука об руку со "старцем" пошел Петроградский митрополит, обер-прокурорское кресло стало особенно жестким и даже опасным. Честных и сильных людей привлекать оно не могло.

Зато к нему потянулись ничтожества, сильные своей беспринципностью и услужливостью, понявшие, что и они теперь могут попасть в {65} разряд министров. Все эти искатели приключений теперь бросились к митрополиту Питириму, уверенные, что выбор нового обер-прокурора будет всецело зависеть от связанного тесной дружбой со "старцем" и пользующегося беспримерным доверием "Царского Села", Петроградского митрополита. Теперь в гостиной митрополита пресмыкались: чуждый не только духовному, но и военному делу, делавший карьеру на каких-то сомнительной учености занятиях, генерал от артиллерии Н. К. Шведов (В августе ген. Шведов заезжал ко мне и очень долго доказывал, что он большой знаток церковных дел и чуть ли не больше всего читает церковные книги. На всякий случай, он и меня хотел убедить, что из него вышел бы очень хороший обер-прокурор. Ген. Н. И. Иванов рассказывал мне, что ген. Шведов настойчиво предлагал ему познакомиться с Распутиным. Сам он для "старца" был свой человек. Ген. Шведов сумел понравиться царице. Последняя 17 сентября 1915 г. писала своему мужу:

"вместо Самарина есть другой человек, которого я могу рекомендовать, преданный, старый Н. К. Шведов, - но, конечно, я не знаю, найдешь ли ты, что военный может занимать место обер-прокурора Синода. Он хорошо изучил историю Церкви, у него известная коллекция молитвенников - будучи во главе Академии по востоковедению, он также изучил церковь - он очень религиозен и бесконечно предан (называет нашего друга "Отец Григорий"), и говорил хорошо о нем, когда он виделся и имел случай разговаривать со своими учениками в армии, куда он ездил повидаться с Ивановым. Он глубоко лойялен - ты знаешь его гораздо лучше, чем я, и можешь судить, вздор ли это или нет, - мы только вспомнили о нем потому, что он очень хочет быть мне полезным, чтобы люди меня знали и чтобы быть противовесом "некрасивой партии" - такой человек на высоком месте полезен, но, повторяю, ты знаешь его характер лучше, чем я" (Письмо Императрицы Александры Федоровны к Императору Николаю II, Т. I, стр. 250).

Императрица очень неудачно рекомендовала ген. Шведова в обер-прокуроры Синода. Распутинец Шведов был слащавой и бесцветной личностью, совсем негодной для такого поста.), один совсем небольшого ранга, но большой канцелярии чиновник, с титулом и очень знатным родством {66} (Жевахов), и директор Петербургских высших женских курсов, "славившихся", как рассказывали тогда, большой распущенностью, Николай Павлович Раев. Все три претендента на обер-прокурорское кресло были верными распутинцами.

Ближе всех к митрополиту Питириму был Раев, ибо в свое время теперешний митрополит пользовался покровительством его отца, Петербургского митрополита Палладия (Раева), выдвинувшего Питирима, когда он был архимандритом, на пост ректора

Петербургской Духовной семинарии.

Н. П. Раев раньше не служил в духовном ведомстве. Вся его служба прошла на педагогическом поприще. Близость его к Церкви выражалась лишь в том, что отец его (? 6 дек. 1898 г.) когда-то был Петербургским митрополитом. О занятии обер-прокурорской должности год тому назад Н. П. Раев, уже близившийся к преклонному возрасту (ему тогда было за 60 лет), не мог и мечтать. Подготовки к несению ее, как и достаточных для столь высокого поста качеств и дарований, он не имел. Но... из трех "орлов" он всё же был лучший. Для видимости же ухватились за его родство с митр. Палладием, обеспечивавшее будто бы ему большое знакомство с церковною жизнью, и серьезное понимание ее нужд. Императрицу это окончательно подкупило. И Раев стал обер-прокурором.

Во время пребывания Императрицы в Ставке в сентябре 1916 года я в беседе с нею после одного из высочайших завтраков, коснулся церковных дел. Зная, что Императрица искренне и серьезно интересуется всем, касающимся церкви и религиозно-нравственного воспитания народа, я заговорил о настроениях в нашей церковной жизни, о необходимости неотложных и решительных исправлений и улучшений в системе церковного управления, церковной дисциплины, церковного {67} законодательства, приходского, школьного дела, о необходимости принятия скорых и настойчивых мер к проведению в жизнь таких улучшений. Императрица внимательно выслушала меня, согласившись с моими наблюдениями и доводами и... поручила мне с моими думами обратиться к новому обер-прокурору.

- Он человек чрезвычайно умный, отличный администратор: он бесподобно поставил женские курсы (И первое, и второе было совершенно ошибочно: Раев не отличался ни умом, ни административными способностями; курсы его были скорее плохими, чем хорошими.), кроме того, он прекрасно знает церковную жизнь, - ведь отец его был митрополитом, - добавила мне Императрица.

Мне оставалось откланяться и исполнить затем царское поручение.

23 сентября я присутствовал на заседании Св. Синода и тут впервые увидел Раева. В парике ярко черного цвета, с выкрашенными в такой же цвет французской бородкой и усами, с чуть ли не раскрашенными щеками, в лакированных ботинках, - он производил впечатление молодившегося старика довольно неприличного тона. В Синоде он держался очень просто, но "чрезвычайного" ума у него заметно не было. Скорее и в уме у него сказывалась простота. По отношению к митрополиту Питириму новый обер-прокурор держался слишком почтительно, заискивающе. Словом, рекомендация Императрицы вдребезги разбилась о действительность. Правда, по первому синодальному заседанию я не мог определить, насколько хорошо знаком Раев с синодальными делами, но ссылка Императрицы на то, что Раев - сын митрополита, не имела для меня никакой цены уже по тому одному, что сам митрополит Палладий был очень плохим митрополитом.

{68} На этом заседании мы условились с Раевым, что 24-го сентября в 5 час. вечера я заеду к нему на квартиру (на Миллионной), чтобы, по поручению Императрицы, побеседовать с ним о церковных делах.

В назначенный час я прибыл к Раеву.

Раев принял меня просто и чрезвычайно приветливо, точно мы с ним давно были знакомы. Обменявшись несколькими общими фразами, я приступил к делу: изложил ему свой разговор с Императрицей, закончившийся пожеланием последней, чтобы я своими наблюдениями и выводами поделился с новым "дельным и опытным в церковной жизни" обер-прокурором. Раев слушал меня не то небрежно, не то рассеянно, молча; очень часто зевал, причем всякий раз ладонью закрывал рот. Меня это начинало нервировать. "Чем объяснить такое поведение "чрезвычайно умного" обер-прокурора?" - задавал я сам себе вопрос. Неинтересен для него предмет беседы? Тогда что же могло интересовать его, как церковного деятеля? Может быть, я не умею заинтересовать его? Но я говорил, хотя и сжато, но горячо, с увлечением и огнем, и уже, - казалось мне, - моя горячность должна была бы расшевелить его. Оставалось предположить одно из двух: либо он в этот день чувствовал

особую усталость, либо вообще серьезные дела не могут интересовать его.

Вошедшая в гостиную хозяйка прервала нашу беседу. Она представляла полный контраст своему мужу: молодая (лет 30), стройная и красивая, как казалось, широко образованная и умная - она производила впечатление интересной русской женщины. В данное время она состояла директриссой высших женских курсов, заняв место мужа, после назначения его обер-прокурором. Раев быстро вскочил, точно обрадовавшись случаю прекратить разговор, и представил меня жене. Она пригласила нас пить чай.

Мы перешли в соседнюю, очень {69} уютную комнату, в углу которой на красивом столике весьма изящно был сервирован чай. Начался общий разговор. Хозяйка восторгалась своими курсами, а еще более митрополитом Питиримом. Имя последнего то и дело слышалось в разговоре, причем наделялось отборными эпитетами: "умный, талантливый, симпатичный, удивительный", и пр. и пр. К сожалению, ни с одним из этих эпитетов я не мог согласиться, но возражать хозяйке считал неудобным и неблагоразумным, а главное - бесполезным. Обер-прокурор всё время молчал, причем, то и дело заглядывал в мою чашку, не допита ли она. И как только чашка кончалась, схватывал ее и передавал хозяйке, которая вновь ее наполняла.

Я несколько раз пытался перевести разговор с митрополита Питирима, где я не мог быть искренним, и с женских курсов, которые меня совсем не интересовали, на серьезные, современные церковные вопросы. Но тут хозяйка заявляла, что в церковных делах она разбирается слабо и мешаться в них не станет, а поставленный у кормила церковного правления хозяин по-прежнему упорно молчал и изредка зевал.

Уехал я от Раева с совершенно определенным убеждением, что этот господин по какой-то злой насмешке судьбы попал в церковные кормчие. В какой-либо другой, только не в высшей церковной сфере, следовало ему искать применения своих небогатых сил. У меня не оставалось никакого сомнения, что я со своими думами и тревогами обратился совсем не по адресу, и что нельзя ждать Церкви какого-либо толку от нового обер-прокурора, хотя и был он, не в пример другим, митрополичьим сыном.

На следующий день - 25 сентября - Св. Синод, с митрополитом Питиримом и обер-прокурором во главе, выезжал в Царское Село, чтобы поднести Императрице икону и адрес по случаю двухлетней годовщины служения ее сестрой милосердия. Предложение поднести {70} Императрице адрес и икону было сделано митрополитом Питиримом. Исполняя теперь, в виду отсутствия митрополита Владимира, обязанности первоприсутствующего в Синоде, он изо всех сил старался угодить царице. Возражать против такого предложения кому-либо из членов Синода было и трудно, и небезопасно.

В назначенный час члены Синода собрались на Царскосельском вокзале в особом салоне. Прибыл и обер-прокурор. Не найдя в салоне митрополита Питирима, он быстро удалился и топтался у дверей вокзала, пока не прибыл митрополит. Уже сопровождая митрополита, он снова появился в салоне. Лакействование г. Раева перед митрополитом Питиримом слишком бросалось в глаза.

Императрица приняла нас в Царскосельском Александровском дворце. Прием был бесцветный. Поднесли икону, адрес... Царица, как будто недоумевавшая, за что же ее чествуют, произнесла несколько шаблонных фраз, а затем простилась с каждым. Этим и кончилось дело. На обратном пути я не мог отвязаться от мысли: зачем мы ездили? Чувствовалась фальшь, подыгрывание, втирание очков - ненужные, а, может быть, и вредные для дела.

Незадолго перед тем Императрице представлялся в этом же зале Самарский епископ Михаил (Богданов). Предупрежденный кем-то, что, по окончании аудиенции, представляющийся должен удаляться не оборачиваясь, задом, преосв. Михаил, простившись с царицей, попятился назад и не попал в дверь, а натолкнулся на колонну, на которой стояла драгоценная ваза. Ваза упала и разбилась. На суеверную Императрицу этот случай произвел удручающее впечатление. Почти одновременно с назначением Раева обер-прокурором на должность товарища обер-прокурора Св. Синода был назначен князь Н. Д. Жевахов, до того

- времени служивший чиновником канцелярии Государственного Совета. Из всех прав, которыми этот {71} маленький князек желал воспользоваться для создания быстрой карьеры, несомненным, кажется, было одно: он приходился родственником по боковой линии Св. Иоасафу Белгородскому. Все прочие его права и достоинства подлежали большому сомнению: князек он был захудалый; университетский диплом не совсем гармонировал с его общим развитием; деловитостью он совсем не отличался.

Внешний вид князя: несимпатичное лицо, сиплый голос, голова редькой тоже были не в его пользу. Однако, кн. Жевахов совсем иначе мыслил о своей особе и, как мы видели, при падении Волжина метил попасть из третьестепенных чиновников канцелярии Государственного Совета в обер-прокуроры Св. Синода. А для "верности" родственник Святителя Иоасафа завязал дружеские отношения с Распутиным и добился внимания Императрицы (Представитель Высшего монархического совета в Болгарии, председатель Монархического объединения в Софии и председатель Бюро объединенных русских организаций и союзов в Болгарии, б. иркутский генерал-губернатор А. И. Пильц, писал 1-го мая 1924 г. председателю Высшего монархического совета:

"Из доклада во время заседания целого ряда членов Совета (Монархического объединения в Софии) выяснилось следующее:

1) что Р. Г. Моллов перед и во время назначения кн. Жевахова был директором Департамента полиции и, по его заявлению, в его руках был ряд секретных документов, исчерпывающим образом доказывающих ту гнусную роль, которую играл г. Жевахов в деле развала нашей церкви, и те приемы, к которым он прибегал для получения назначения.

2) В. П. Никольский, в то время занимавший должность начальника штаба Корпуса жандармов, заявил, что по получавшимся тогда донесениям личность г. Жевахова и его происки вызывают к нему самое отрицательное отношение.

Я лично хорошо помню, будучи губернатором в Могилеве, какое отрицательное впечатление произвел кн. Жевахов, и то насмешливое, пренебрежительное отношение, какое ему выказано во время приезда его (с Иконой) в Ставку большинством лиц, чтивших настоящую веру и истинное благочестие, а не низкий карьеризм, прикрываемый личиной фарисейства". (Копия этого письма хранится у меня).

В 1918-1919 гг. Жевахов с митрополитом Питиримом жили в Пятигорске, а в самом начале января 1920 г. они переехали в Екатеринодар и поселились у митрополита Антония (Храповицкого), тогда управлявшего Кубанскою епархиею.

Скоро митрополит Питирим заболел и 20 января 1920 г. скончался, а Жевахов за несколько дней до смерти митрополита Питирима куда-то уехал. Когда я на другой день, после отъезда Жевахова зашел к митрополиту Антонию, он встретил меня следующими словами: "Вот сукин сын Жевахов. Уехал, не заплативши моему Федьке (келейнику) за то, что тот ему прислуживал, сапоги чистил; даже не заплатил за вакцину, которую Федька для него за свои деньги покупал. А Питирима Жевахов обокрал: украл у него золотые часы (двое или трое золотых часов) и 18 тысяч рублей Николаевских денег, которые были зашиты в теплой питиримовской рясе. Распорол рясу и вынул оттуда деньги".

Управляющий канцелярией Заграничного русского Синода, Е. И. Махараблидзе писал мне: "Митрополит Антоний помнит, как Жевахов обокрал митрополита Питирима в Екатеринодаре. Помнит его и келейник Ф. Мельник, ныне иеромонах Феодосий". (Письмо Е. И. Махараблидзе хранится у меня).

И такие грязные субъекты попадали чуть ли не в кормчие Российского церковного корабля! Ведь товарищ обер-прокурора Св. Синода был большой и влиятельной персоной в церковном управлении.

О, tempora, o mores !).

В конце 1915 года кн. Жевахов сделал, было, попытку обратить на себя внимание и Государя, но это ему как будто слабо удалось. Тут я должен немного уклониться в сторону.

{72} Как я уже писал, при Ставке находилась икона Явления Божией Матери Преп. Сергию, написанная на доске от гроба преп. Сергия. Мистически настроенной царице этого

было мало. Она вообще всюду искала знамений и чудес, а в это время - в особенности. Разные же сновидцы и предсказатели, которых, к сожалению, всегда слишком много было на нашей русской земле, то и дело сообщали ей чрез ее приближенных или ей {73} непосредственно - о своих вещих снах и видениях, которые иногда сводились к тому, что следует лишь в Ставку или на фронт привезти такую-то Чудотворную икону, и тотчас Господь пошлет армии победу. Императрица принимала такие вещания к сердцу и просила Государя распорядиться о доставлении той или иной Чудотворной иконы в Ставку.

Государь же сообщал мне о желании ее величества. Мое положение в таких случаях бывало очень щекотливым. Отнюдь не отрицая благодатной силы, осеняющей Св. Иконы, я всё же не мог не сознавать, что рекомендуемый способ достижения победы нельзя признать верным и даже безопасным.

У меня стоял в памяти пример пленения филистимлянами Ковчега Завета, который евреи, для обеспечения себе победы, вывезли на поле сражения, и последовавшего при этом разгрома еврейских войск. Чтобы помощь Божия пришла к нам, мы должны были заслужить ее, а для этого, конечно, недостаточно было привезти в Ставку ту или другую икону. Злоупотребления и даже неосторожность в этой области, не принося пользы военному делу, могли подрывать и убивать веру. Но меня могли не понять и за выражение несочувствия желанию царицы легко обвинить в неверии. Всё же я несколько раз в осторожной форме высказал Государю свое мнение. Он как будто соглашался со мной и не настаивал на исполнении желания Императрицы. Таким образом за всё время пребывания Государя в Ставке всего дважды привозили Чудотворные иконы. В первый раз была привезена Песчанская Икона Божией Матери из Харьковской епархии, во второй - Владимирская Икона Божией Матери из Московского Успенского Собора. На этих событиях я должен остановиться.

Не помню точно, когда именно, - кажется, в октябре 1915 г. я получил телеграмму от кн. Жевахова из Харьковской губернии, извещавшую меня, что он, по повелению Императрицы, привезет в Ставку {74} такого-то числа Песчанскую Чудотворную Икону Божией Матери.

Поводом к отправлению Иконы в Ставку, как рассказывает, опираясь на "Воспоминания" (Мюнхен 1923 г.) Жевахова, листовка, изданная в 1927 г., послужило следующее: "В 1915 г., во время войны, св. Иоасаф в явлении одному верующему военному врачу по поводу ранее показанных им ужасов, ожидающих Россию, сказал: "Поздно! теперь только одна Мать Божия может спасти Россию. Владимирский образ Царицы Небесной, которым благословила меня на иночество мать моя, и который ныне пребывает над моею ракою в Белгороде, также и Песчанский образ, что в селе Песках, подле г. Изюма, обретенный мною в бытность мою епископом Белгородским, нужно немедленно доставить на фронт, и пока они там будут находиться, до тех пор милость Божия не оставит Россию. Матери Божией угодно пройти по линиям фронта и покрыть его своим омофором от нападений вражеских. В иконах сих источник благодати. И тогда смилуется Господь по молитвам Матери Своей".

Это сновидение было доложено Жеваховым Императрице. В какой форме дала приказание Императрица привезти икону в Ставку, - это осталось не выясненным. Забыла ли она, или не успела сообщить Государю о данном ею Жевахову поручении, факт тот, что Государя она не известила. По получении телеграммы, я немедленно доложил Государю, что по повелению ее величества прибывает Икона. Мой доклад для царя оказался полной новостью, которую он принял с нескрываемым удивлением, сказав мне: "Странно! Ее Величество ни словом не предупредила меня об этом".

Это, действительно, было странным, ибо они переписывались почти ежедневно.

Государь всё же поручил мне встретить Св. Икону и поставить ее в Штабном храме. Никаких военных {75} нарядов при встрече иконы Государь не велел устраивать, - не до них тогда было, - ибо Ставка переживала тяжелую пору.

В назначенный час я выехал на вокзал к поезду, с которым должна была прибыть Св.

Икона. Святыню в особом салон-вагоне сопровождали кн. Жевахов и священники. Приложившись к Св. Иконе, я перенес ее в крытый автомобиль, в котором все мы направились в штабную церковь. Там на паперти святыню встретило духовенство в облачениях с певчими, при колокольном звоне. Внеся Св. Икону в церковь, я облачился, и все мы вместе отслужили пред нею молебен (Бывший во время войны начальником моей канцелярии, Е. И. Махараблидзе думает, что я на вокзал не выезжал, а встретил Икону у храма и после этого служил молебен. Думаю, что память мне не изменяет: и сейчас очень ясно я представляю Икону, поставленную у южной стены вагона, а у восточной части стоявший большой сундук с мундирами и регалиями Жевахова; ясно представляю и духовенство в облачениях, встретившее меня с Иконой на паперти штабного храма.).

Когда мы ехали с вокзала, кн. Жевахов спросил меня: почему войска не участвуют во встрече? Я объяснил ему, что войск в Ставке очень мало и, кроме того, и они, и Штаб сейчас очень заняты военной работой, - поэтому, Государь распорядился не делать парада, а просто перевезти Св. Икону в штабную церковь (Чтобы проверить себя, я запросил Е. И. Махараблидзе. Он ответил мне: "Встречи с крестным ходом не было, т. к. не хотели выбивать жизнь Ставки из колеи, да и поздно получилось извещение, не успели бы сделать такой большой наряд. Государь дал согласие привезти Икону на автомобиле". (Письмо Махараблидзе).

Жевахов желал, чтобы Икона была отправлена на фронт и пронесена по боевой линии. И Государь, и начальник штаба, ген. М. В. Алексеев, в виду положения фронта, признали это невозможным. В своих "Воспоминаниях" Жевахов вину за неторжественную встречу и за недопущение Иконы на фронт взвалил на меня. Я будто бы осмелился даже произнести кощунственные слова: "Да разве мыслимо носить эту икону по фронту! В ней пуда два весу... А откуда же людей взять? Мы перегружены здесь работой, с ног валимся. Это Петербург ничего не делает, ему и снятся сны, а нам некогда толковать их, некогда заниматься пустяками". Не помню, чтобы я сказал такие слова. Но что либо подобное мог сказать, т. к. петербургские сны причинили Ставке немало забот и хлопот. Превознося до небес распутинца митрополита Питирима, Жевахов считал меня, из-за недопущения Иконы на фронт, главным виновником всех, постигших Россию, несчастий, проявившим неверие и неуважение к святыне. А в изданной в 1927 г. листовке с изображением Песчанской иконы Божией Матери я назван церковным злодеем, которого достанет в свое время рука Божия, ибо "Мне отмщение и Аз воздам".

На эти очевиднейшие глупости и гнусности я считал лишним отвечать.).

В церкви кн. Жевахов остался недоволен, когда я сказал {76} ему, что Св. Икону мы поставим около правого клироса: ему хотелось, чтобы она всё время стояла посредине церкви. Затем кн. Жевахов высказал пожелание, чтобы ежедневно перед прибывшей Иконой служился молебен Божией Матери. Я ответил, что у нас и так ежедневно служится молебен Пресв. Богородице перед иконой из Троицко-Сергиевской Лавры.

- Это особое дело, а перед прибывшей надо другой молебен служить, возразил мне князь. Я ему ответил, что считаю это лишним, так как, хотя теперь у нас в храме будет две чтимых иконы Божией Матери, но Божия то Мать остается одна. Ей мы ежедневно и будем молиться. И это князю не понравилось. Когда мы выходили из храма, он, остановившись на паперти, с самым серьезным видом обратился ко мне:

- А как вы думаете: не обидится на нас Божия Мать, что мы Ее икону всё же не очень торжественно встретили. Я, - знаете, - боюсь, как бы от этого худо не вышло...

- Будьте спокойны, князь, - ответил я ему, - Божия Мать бесконечно мудрее и меня, и вас. Я {77} уверен, что Она не обращает внимания на такие пустяки.

Кн. Жевахов, кроме Св. Иконы, привез с собою большой сундук с парадным камер-юнкерским мундиром и прочими нарядами, решивши, как важный посланец, представиться его величеству. По приезде в Ставку он спросил меня, как бы ему получить высочайшую аудиенцию. О желании кн. Жевахова я сообщил генералу Воейкову. Последний, однако, решил, что можно обойтись и без специальной аудиенции.

- А если кн. Жевахов желает, чтобы Государь обратил на него внимание, то пусть на всеношной станет у дверей, через которые Государь проходит в церковь, - с ядовитой улыбкой заметил Воейков. Генерал Воейков намекнул тут на жалкий вид Жевахова, который не мог не обратить на себя внимание Государя. Если память не изменяет мне, то всё же Государь, по моей просьбе, потом принял кн. Жевахова.

Интересен финал поездки Жевахова с иконами в Ставку. Вот, что рассказывает очевидец, служивший церковником в Феодоровском Государевом соборе, а во время войны в церкви Ставки, ныне почтенный протоиерей А. Ф. Крыжко:

"Прибывший с Жеваховым Песчанский священник приехал в штабную церковь отдельно и привез с собою в новом футляре-складне довольно запущенную Владимирскую икону Божией Матери, родительское благословение Святителя Иоасафа. Размеров она была приблизительно 7 на 6 вершков. Эту икону я немедленно же установил на царском месте, т. е. на левом клиросе на переднем плане и зажег перед ней лампаду. С этого места она и была взята обратно.

Через довольно продолжительное время появился опять в Могилеве Жевахов, и было назначено отправление Песчанской иконы на вокзал.

{78} После совершенного соборне молебствия, при довольно большом числе молящихся, икона была вынесена в пассажирский автомобиль и отправлена на вокзал...

За семь лет своего пребывания в Царском Селе, я имел близкие отношения к Походной церкви собственного его величества Сводного пехотного полка, а затем к Феодоровскому Государеву собору, где мне пришлось видеть много негодных людишек, которые не стеснялись спекулировать и на святынях, и на вере других людей.

Очень часто, бывало, являлись к ктитору указанных храмов полковнику Дмитрию Николаевичу Ломану и представляли за "величайшие святыни" старые иконы и такие же предметы из церковной утвари. И всё это нужно было не только принять и поставить в названных храмах, на видном месте, но и непременно доложить об этом их величествам, т. к. это были: или "величайшие святыни" или редчайшие по своему художественному замыслу и драгоценнейшие вещи, которые они жертвуют храму. По уверению сих господ, иконы имели обычно в своем формуляре или необыкновенные чудеса, которые уже совершились, но почему-то не записаны в историю, или эти чудеса имеют тут совершиться, если с верой будут прибегать к их заступничеству, о чем такому-то благочестивому старцу или старице был сон. Церковные предметы вели свою родословную чуть ли не от Св. Ольги, бабушки Владимира-Красного Солнышка. О всех этих достоинствах представляемого они имеют всеподданнейше их императорским величествам лично доложить... Было таких сотни, и некоторым удавалось "доложить" на орден, чин, должность или повышение в ней, смотря по тому, как об этом информированы их величества Анной Александровной Вырубовой. Всё же, коим не удавалось "доложить", обыкновенно апеллировали к нам - причту и даже солдатам-уборщикам. Отказ в докладе обыкновенно {79} формулировался ими, как измена Государю окружавших его лиц, за что постигнут царя и Родину величайшие бедствия.

Подобное впечатление произвел на меня и Жевахов. Когда я увидел, что настоятель храма, в котором пребывает Песчанский образ, по прибытии на ст. Могилев, от иконы отстранен, я сейчас же определил, что он (Жевахов) приехал своей гнусной персоной делать протекцию образу исключительно с тем, чтобы всеподданнейше доложить о каком-нибудь сне благочестивого старца или старицы и получить награду.

На второй день по прибытии в Ставку образа к концу вечерни явился Жевахов в церковь в придворном мундире. По окончании службы, когда народ вышел, и храм был уже заперт, проходя от свечного ящика, я заметил на царском месте пред иконой - родительским благословением Св. Иоасафа - г. Жевахова, который тихим повествовательным тоном что-то объяснял церковникам Семейкину и Макарову. Имея обыкновение не оставлять церкви, пока не выйдут все посторонние, я остался ждать в алтаре конца интимной беседы доброго князя с простыми солдатами, которая продолжалась минут 15. Догадываясь, что он им говорил об истории указанной иконы, я, после ухода его, спросил у них, о чем он говорил. Они

ответили, что он всё время внушал им, что икона эта - великая святыня, которых в России не много, и дал по книжке написанного им жития Св. Иоасафа. Я им, смеясь, заметил: "За его протекцию иконе и подарок постарайтесь же и вы сделать ему протекцию, чтобы он получил награду".

После отправления на вокзал Песчанского образа, явились в церковь 5 человек уборщиков и принялись убирать. Ожидая конца уборки, я приводил в порядок свечной ящик. Минут через 30-35 после закрытия храма вдруг раздался частый и сильный стук в железные западные двери. Предполагая, что кто-либо идет в {80} церковь из высочайших особ или высокопоставленных лиц, а сопровождающее их лицо стучит так громко и настойчиво, чтобы скорее открыть, я приказал рабочим моментально свернуться, а сам поспешил к выходу. Когда открыли дверь, то я увидел пред собой с трясущейся нижней губой и перекошенным от злобы лицом Жевахова, который с шипением и слюной набросился на меня, почему мы не отправили на станцию икону - родительское благословение Св. Иоасафа. Я ему на это ответил: "Простите, ваше сиятельство, я иконы только принимаю и храню, а не отправляю. Если вы приехали взять эту икону, пожалуйста, возьмите, т. к. я вас знаю и доложу своему начальству, что она взята вами". Ответив мне: "Да", он быстро прошел на левый клирос к нужной ему иконе. Я следовал вместе с ним и, подойдя к образу, убрал лампаду. После этого Жевахов ударил по левой и правой створке, как бы невидимого врага в правую и левую щеку, закрыл таким образом футляр, схватил его подмышку и, злобно бормоча что-то, пошел к выходу. Сопровождая его, я вышел на паперть храма, где стоял ожидавший Жевахова открытый автомобиль. Тут стояли церковник Семейкин и несколько человек солдат-уборщиков, которые были свидетелями вместе со мной возмутительнейшего обращения Жевахова с этой иконой.

Подойдя к автомобилю, он бросил ее на сиденье, а затем вошел в него, запахнулся в свою Николаевскую шинель и уселся на икону. Когда Семейкин подбежал к нему и крикнул: "На икону сели, ваше сиятельство", то "сиятельство", не обращая внимания на это предупреждение, крикнуло шоферу: "На вокзал", и так уехало. Семейкин, повернувшись ко мне, сказал: "Какой же он сукин сын!" На это я ему ответил: "Вероятно, не получил награды". (Из письма А. Ф. Крыжко).

Владимирская икона Божией Матери была привезена в Ставку, в субботу перед праздником Св. Троицы, {81} 28-го мая 1916 года, по желанию Императрицы Александры Федоровны и вел. княгини Елисаветы Федоровны. Ее сопровождали протопресвитер Московского Успенского Собора Н. А. Любимов, протоиерей Н. Пшенишников и протодиакон К. В. Розов. В Могилеве на вокзале она была встречена архиепископом Константином, и крестным ходом, при участии викарного епископа Варлаама, меня и всего городского духовенства, была перенесена в штабную церковь. Около дворца был отслужен молебен, в присутствии вышедшего на встречу Св. Иконе Государя с Наследником и чинов его штаба, которые затем провожали Икону до храма. На другой день я совершил торжественную литургию в сослужении протопр. Любимова и протодиакона Розова. В Духов день совершил литургию протопр. Любимов с протодиаконом Розовым. Торжество встречи великой святыни на многих произвело большое впечатление. Милого же мальчика - Наследника больше всего заинтересовали прибывшие с иконой протопресвитер Любимов и протодиакон Розов.

И при встрече иконы, и при богослужениях в следующие дни он буквально не сводил глаз с этих великанов, поразивших его и своим ростом, и своей тучностью. 29-го мая перед завтраком француз Жильяр прочитал мне следующую заметку, сделанную 28-го мая Наследником в своем дневнике: "сегодня видел батюшку 13 пудов, диакона 12 пудов - пара 25 пудов".

В один из следующих дней протопр. Любимов и протодиакон Розов отправились со Св. Иконой на фронт, в район IV армии. По возвращении в Ставку, Св. Икона оставалась в штабной церкви до апреля 1917 года, когда, в виду всё сгущавшихся событий на фронте и в Ставке, она, по приказанию ген. Алексева, была возвращена на свое место в Московский

Успенский Собор.

3-го октября 1916 года в 5 час. вечера ожидался {82} приезд Императрицы в Ставку. Временно занявшим место министра двора ген. К. К. Максимовичем было объявлено, что царицу встретят Государь с начальником Штаба и самыми близкими лицами Свиты; остальным предложено было не беспокоиться выездом к встрече.

Утром в этот же день мне сообщили из Штаба, что с дневным поездом из Петрограда прибывают в Ставку митрополит Питирим и обер-прокурор Св. Синода Раев. К встрече "высоких" гостей со мною выехали архиепископ Константин и епископ Варлаам, викарий Могилевский. Как и подобало, гости прибыли в особом вагоне.

Незнакомые с придворным этикетом, и митрополит Питирим, и Раев, попав в Ставку, сразу почувствовали себя, как в гостях у давным-давно знакомого приятеля.

- Мы тоже пойдем встречать ее величество, - заявил обер-прокурор, когда заговорили об ожидающемся приезде Императрицы.

- 5-го октября, в день тезоименитства его высочества (Наследника) я послужу в вашей штабной церкви, - сказал митрополит. А когда я стал спешить с отъездом, чтобы не опоздать мне к высочайшему завтраку, и митрополит, и обер-прокурор заявили, что и они поедут со мной прямо во дворец. Ясно, что они рассчитывали на высочайший завтрак. Невольно пришлось мне разочаровать их. Обер-прокурору я сообщил о сделанном ген. Максимовичем распоряжении относительно встречи Императрицы.

- Ну, это распоряжение нас не касается, - решительно заявил Раев.

- Вам виднее, - ответил я.

Митрополиту же я сказал, что, несомненно, не {83} встретится препятствий к его служению 5-го октября в штабной церкви, но всё же я должен предварительно испросить соизволения Государя. Относительно завтрака я не решился огорчать их, хотя и был уверен, что их не позовут на завтрак, раз они не были приглашены заблаговременно.

С вокзала мы выехали вместе. В кафедральном Иосифовском соборе, на Днепровской улице, проезжавшего митрополита встретили колокольным звоном. На паперти соборной в облачениях стояло городское духовенство и огромная толпа, собравшаяся встретить митрополита и получить его благословение. На предложение архиепископа Константина зайти в собор митрополит ответил решительным отказом. Он спешил во дворец... к завтраку... И автомобиль с митрополитом без задержки прокатил мимо удивленной толпы.

Зачем же прибыл митрополит в Ставку?

После того, как поднесена была Св. Синодом икона Императрице, митрополит Питирим предложил поднести икону же и Государю, по случаю исполнившейся годовщины его служения в должности Верховного Главнокомандующего. Св. Синод отлично понимал, что митрополитом в данном случае руководили отнюдь не святительские чувства, а лесть и расчет своей угодливостью выслужиться перед царем; но, конечно, отклонить предложение Синод не решился. После этого, как я узнал потом, митрополит Питирим принял все меры, чтобы поднести икону, до прибытия из Киева митрополита Владимира, т. е., чтобы поднести ему, а не митрополиту Владимиру. При содействии Царского Села, это ему удалось. Царское Село ненавидело митрополита Владимира и пользовалось всяким случаем, чтобы в ущерб ему выдвинуть своего петроградского любимца.

Когда мы, перед самым завтраком, прибыли во дворец, там не знали, что делать с непрошенными {84} гостями. Оказалось, что и митрополиту, и Раеву был назначен высочайший прием в два часа дня, после завтрака. Решили поместить их на время завтрака внизу, в комнате проф. Федорова. Оставив тут гостей, я поднялся наверх.

- Митрополиту и обер-прокурору назначен высочайший прием в 2 часа дня. Чего они так рано приехали сюда? - набросился на меня ген. ад. Максимович.

- Не могу знать. Архиеп. Константин звал их к себе, а они почему-то поторопились сюда, - ответил Я. Узнав, что оба наших гостя собираются встречать Императрицу, Максимович еще более вспылал:

- Его величество приказал, чтобы никого не было при встрече. Это и их касается.

Встреча будет семейная.

После завтрака я доложил Государю, что прибывший митрополит Питирим желает совершить 5-го октября богослужение в штабной церкви.

- Только непременно пригласите и архиепископа Константина, - сказал мне Государь.

По окончании завтрака попросили в залу и наших гостей. Я, как присутствующий в Св. Синоде, должен был участвовать в поднесении Государю Иконы и адреса. Ген. Максимович неприветливо встретил Раева.

- Вы хотите встречать ее величество. Государь приказал, чтобы встреча была семейная. Нельзя вам встречать.

Раев молча выслушал наставление. Перед выходом Государя мы втроем распределили роли. Ровно в два часа вышел к нам Государь. Митрополит стоял с адресом в руках, я со Св. Иконой, а обер-прокурор с футляром от Иконы. Митрополит прочитал адрес и передал его Государю; потом благословил его Св. Иконой. Обер-прокурор передал футляр флигель-адъютанту.

- Вы и ее величеству подносили икону и адрес? - спросил Государь митрополита.

{85} - Да, - ответил тот.

- По какому случаю?

- По случаю двухлетнего служения сестрою милосердия, - сказал митрополит.

- Вы хотите, - передал мне о. протопресвитер, - служить 5-го октября? Пожалуйста, - сказал Государь митрополиту и, поблагодарив за поднесение, простился с нами.

4-го октября на всенощной в штабной церкви присутствовали митрополит и архиепископ Константин. По окончании службы, митрополит Питирим говорит мне:

- Хорошо у вас, хорошо! Только уж очень коротко. Надо вам удлинить службу.

Архиепископ Константин, много раз раньше бывавший на нашей службе и всегда восторгавшийся ею, теперь принял сторону митрополита.

- Да, да надо удлинить, - коротко, коротко.

- Мы служим по придворному чину, к которому привык Государь. Ничего прибавить нельзя, - ответил я. И на моем ответе владыка успокоился.

5-го октября литургию в штабной церкви совершал митрополит Питирим с архиепископом Константином, в присутствии царской семьи и чинов Штаба. Никому из штабных служба митрополита не понравилась. Неестественность, деланность чувствовались у него во всем: и в его движениях, и в его голосе, и в выражении лица. Но центром общего внимания оказался не митрополит, а стоявший посреди церкви обер-прокурор. Фигура его была столь необычна, что, кажется, не было в церкви человека, который не остановил бы на нем удивленного взгляда.

Дело в том, что перед отъездом г. Раева в Ставку, - он выезжал туда в первый раз - кто-то сказал ему, что в Ставку надо ехать непременно в военном {86} одеянии. Экстренно потребовались и военный мундир, и военные доспехи для никогда не облакавшегося в них бывшего директора женских курсов. Добыть и то, и другое взялся бывший на услугах и у митрополита Питирима, и у Раева помощник библиотекаря Петроградской Духовной Академии, Степан, или, как его звали, "Степа" Родосский. Он спешно закупил для обер-прокурора военный мундир защитного цвета, высокие сапоги, фуражку, шашку. Всё - первое попавшееся.

Благодаря его хлопотам, г. Раев смог предстать перед царем в боевом наряде. Трудно вообразить что-либо более комическое той фигуры, какую представлял влезший в первый раз в жизни в чужой военный мундир обер-прокурор Св. Синода. Представьте себе старика в черном, вороньего крыла, длинноволосом парике, с ярко раскрашенными в черный цвет усами и французской бородкой, одетым в неуклюже сидевший на нем мундир с чужого плеча, в каких-то обвисших штанах, в широких и грубых высоких сапогах, со шпорами, с беспомощно болтавшейся сбоку шашкой, - и вы, может быть, поймете, почему все входившие в церковь чины с удивлением спрашивали: кто это такой?

После обедни был парадный высочайший завтрак, к которому были приглашены и

митрополит с архиепископом. Приглашенных было так много, что в соседней со столовой маленькой комнате был сервирован дополнительный стол. Владык и меня поместили в столовой, а обер-прокурору указали место за этим столом. Ранг его должности, казалось бы, давал ему право на лучшее место. Не сыграл ли тут роли уж слишком жалкий его вид?

После завтрака Государь сказал митрополиту всего несколько слов. Все обратили внимание на холодный прием, оказанный митрополиту. Поездка митрополита и обер-прокурора удалась в другом отношении.

По их ходатайству, полуграмотный еп. Варнава, распутинец, {87} всего пять лет прослуживший в епископском сане и менее 3-х лет на самостоятельной кафедре, год тому назад судившийся Синодом за самовольное прославление Иоанна Тобольского, в июне этого года награжденный орденом Св. Владимира 2-ой ст., теперь, 5-го октября, был возведен в сан архиепископа. Кажется, даже почти гениальный Московский Филарет возвышался медленнее, чем этот неуч и авантюрист Варнава. Но... Варнава был другом Распутина.

В 6 час. вечера и митрополит, и Раев покинули Могилев. Вечером в этот день сидевший рядом с Государем вел. князь Георгий Михайлович, вспоминая перипетии дня, говорит ему:

- Ну, и рожу же ты выбрал в обер-прокуроры!

- Да, здоровая образина! - ответил, смеясь, Государь.

{91}

IV

Деятельность военного духовенства в Великой войне

В предшествовавшие войны русское военное духовенство работало без плана и системы и даже без нужного контроля. Каждый священник работал сам по себе, по своему собственному разумению. Даже в Русско-японскую войну (1904-1906 г.) можно было наблюдать такие картины: один священник, храбрый и жаждавший подвига, - забирался в передовой окоп и ждал момента, когда ему можно будет пойти с крестом впереди; другой пристраивался к отдаленному, недостижимому для пуль и снарядов, перевязочному пункту; третий удалялся в обоз 11-го разряда, обычно отстоявший в 15-30-ти верстах от части. Последний совсем устранял себя от активной роли во время сражения, но и первые два не приносили той пользы, которую они должны были принести.

Деятельность свою священники на театре военных действий сводили к совершению молебнов, панихид и иногда литургий, отпеванию умерших, напутствованию больных и умирающих.

Протопресвитер военного и морского духовенства не показывался на театре военных действий. И да простит мне мой бывший начальник и предшественник, протопресвитер Александр Алексеевич Желобовский, - он не имел никакого представления о возможной для священника работе на поле брани. Когда в половине февраля 1904 года, отправляясь на Русско-японскую войну, я явился к нему за указаниями, то получил {91} краткий ответ: "Запаситесь чесунчовым нижним бельем, а то, говорят, вошь может заесть".

А когда летом 1905 г., уже будучи главным священником 1-й Манчжурской армии, я обратился к нему за разрешением нескольких новых конкретных и серьезных вопросов, он ответил мне собственноручным письмом: "Досточтимый о. Георгий Иванович. Император Николай Павлович однажды сказал: "Доколе у меня есть Филарет Мудрый (митрополит Московский) и Филарет Милостивый (митрополит Киевский), я за церковь спокоен. Так и я скажу: доколе у меня главные священники о. Георгий Шавельский и о. Александр Журавский, (Главный священник 2-ой Манчжурской армии. Г. Ш.), я за армию спокоен. Ваш доброжелатель протопресвитер Александр Желобовский". Само собою понятно, что такой ответ не разрешил ни одного из поставленных мною вопросов. Других же ни приветов, ни ответов мною от протопресвитера в течение всей войны не было получено.

Единственным руководством для священника на войне служило высочайше утвержденное положение об управлении войск в военное время. Но оно не предусматривало всех обязанностей священника, а тем более возможной для него работы на бранном поле. Иногда же своею краткостью оно сбивало с толку не только рядовых священников, но и

начальствующих лиц. Присланный из Иркутской епархии священник Попов явился в госпиталь, согласно положению, с епитрахилью,

дароносицей, крестом и кадиллом, без антиминса и полного священнического облачения. Когда благочестивый главный врач госпиталя попросил его отслужить литургию, он ответил, что у него нет принадлежностей для этого, да он и не обязан совершать литургии: согласно положению, его дело - напутствовать и хоронить. Когда в 1904 году благочинный 9-ой Сибирской дивизии потребовал от подчиненных ему госпитальных священников, чтобы они обзавелись антиминсами и совершали {93} литургии, его начальник главный священник Манчжурской армии, прот. С. А. Голубев возразил ему: "Госпитальному священнику антиминса не полагается". А между тем, где же на войне служить литургии, как не в госпиталях?

На Великую войну наши священники, как уже говорилось, выехали со строго разработанной и Съездом одобренной инструкцией.

Инструкция эта не была кабинетным произведением, - она вылилась из опыта и пристальных наблюдений за всеми возможностями, какие представляются для работы священника на поле брани. Мой личный опыт и мои наблюдения во время Русско-японской войны, - где я проработал два года, в должности сначала полкового священника и благочинного, а потом главного священника, и вместе с полком участвовал в 10 боях был контужен и ранен, - были дополнены опытом и наблюдениями множества других моих сослуживцев - участников той же войны.

Значение инструкции было колоссально. Во-первых, она вводила в точный курс работы и круг обязанностей каждого, прибывавшего на театр военных действий, священника. Это в особенности важно было для вновь мобилизованных, совершенно незнакомых с условиями и требованиями военной службы. А их было огромное большинство: в мирное время в ведомстве протопресвитера состояло 730 священников, за время же войны их перебивало в армии свыше 5.000 человек. Инструкция точно разъясняла каждому - полковому, госпитальному, судовому и др. священнику, где он должен находиться, что он должен делать во время боя и в спокойное время, где и как он должен совершать богослужение, о чем и как проповедывать и т. д. и т. д.

Между прочим, полковому и бригадно-артиллерийскому священникам было указано, что их место во {94} время боя - передовой перевязочный пункт, где обычно скопляются раненые, а ни в коем случае не тыл. Но и к этому пункту священник не должен быть привязан: он должен был пойти и вперед - в окопы и даже за окопы, если того потребует дело.

Помимо общеизвестных обязанностей священника: совершения богослужений, напутствований, погребений, наставлений и ободрений, инструкция возлагала на священника много таких обязанностей, о которых и не помышляли его предшественники. Строевому священнику вменялось в обязанность: помогать врачам в перевязке раненых, заведывать уборкою с боевого поля убитых и раненых, заботиться о поддержании в порядке воинских могил и кладбищ, извещать возможно обстоятельнее родственников убитых, организовывать в своих частях общества помощи семьям убитых и увечных воинов, развивать походные библиотеки и т. д. и т. д.

Госпитальному священнику вменялось в обязанность: возможно чаще совершать богослужения для больных, ежедневно обходить палаты, беседовать, утешать, писать письма от больных на родину, об умерших извещать их родственников, погребать покойников с возможною торжественностью, пещись о кладбищах, обязательно устраивать библиотеки и т. д.

Инструкция открывала каждому священнику широкое поле весьма полезной, нередко трудной, но не неисполнимой работы.

По мере выявления новых нужд, выработанная Съездом инструкция пополнялась распоряжениями и указаниями протопресвитера, объявлявшимися в особых приказах. Таким образом, были даны священникам указания: об исполнении богослужений и треб для

галицийских униатов, оставшихся без священников; о попечительном отношении к инославным и иноверным воинским чинам, о принятии мер к недопущению {95} распространения в войсках брошюр и листов, оскорбительных для иных исповеданий и вер; о собирании священниками и представления протопресвитеру сведений о выдающихся подвигах воинов, врачей, священнослужителей. Во время войны Инструкция была дополнена специальными указаниями для гарнизонных благочинных, для благочинных запасных госпиталей, для священников санитарных поездов и этапных пунктов и т. д.

Организацию управления военным и морским духовенством в мирное время нельзя было признать совершенной. Во главе ведомства стоял протопресвитер, облеченный полнотой власти. При нем состояло Духовное правление - то же, что Консистория при епархиальном архиерее. С 1912 года протопресвитеру дан был помощник, в значительной степени облегчивший ему канцелярскую работу. Но ни помощник, ни Духовное правление не могли быть посредниками между протопресвитером и подчиненным ему, разбросанным по всей России, духовенством. Такими посредниками являлись дивизионные и местных церквей благочинные. Их было не менее ста и рассеяны они были по разным российским уголкам. Возможностей для частного и личного общения их с протопресвитером не представлялось. Объединять их деятельность, направлять их работу и контролировать их было не легко. Протопресвитеру нужно было обладать чрезвычайной энергией и необыкновенной подвижностью, чтобы самому лично и на месте проверять работу всех своих подчиненных.

Переработанное после Русско-японской войны и высочайше утвержденное Положение открывало возможность лучшей организации управления военным духовенством в военное время. Оно учреждало:

1) главных священников фронта, каждый из которых, находясь в полном подчинении протопресвитеру, должен был объединять деятельность духовенства данного фронта; {96} 2) священников при штабах армий, которым, по недоразумению, не отводилось никакой другой работы, кроме совершения богослужений при штабе армии.

Но и такая конструкция управления оказалась несовершенной. Начало дополнению Положения дал сам Государь, при сформировании штаба Верховного Главнокомандующего, повелевший на время войны находиться при этом штабе протопресвитеру. Дальнейшие коррективы были сделаны протопресвитером, за которым практикою закрепилось право самолично, без утверждения высшими инстанциями, учреждать новые должности по своему ведомству, раз они не требовали расходов от казны. Таким образом были учреждены должности: 1) гарнизонных благочинных в пунктах, где имелось несколько священников;

2) благочинных запасных госпиталей, каковые должности были возложены на священников при штабах армий. В 1916 г., с высочайшего утверждения, были учреждены особые должности армейских проповедников, по одному на каждую армию, на которых была возложена обязанность непрерывно объезжать, проповедуя, воинские части своей армии. На должности проповедников были избраны самые выдающиеся духовные ораторы. Состоявший при штабе Северного фронта английский полковник (ныне генерал) Нокс считал гениальной идеею учреждения должностей армейских проповедников. Наконец, главным священникам фронтов было предоставлено право пользоваться священниками при штабах армий, как своими помощниками по наблюдению за деятельностью духовенства.

Таким образом, духовный управительный аппарат на театре военных действий представлял стройную и совершенную организацию: протопресвитер, его ближайшие помощники; главные священники, их помощники; штабные священники; наконец, дивизионные и госпитальные благочинные и гарнизонные священники.

{97} В конце 1916 года высочайшим повелением были учреждены должности главных священников Балтийского и Черноморского флотов.

Для лучшего объединения и направления деятельности духовенства армии и флота от времени до времени составлялись совещания протопресвитера с главными священниками, последних со штабными священниками и благочинными и Съезды по фронтам, под

председательством протопресвитера или главных священников.

Я, в течение почти каждого месяца дней десять, проводил среди боевых частей, объезжая полки и бригады, посещая, иногда под огнем, окопы, заглядывая во все госпиталия, везде совершая богослужения, проповедуя.

Поездки эти имели большое значение. Я являлся не только как протопресвитер, но и как представитель Государя, от имени которого я всегда приветствовал войска, раздавая при этом врученные мне Императрицею крестики и иконки. Мои приветствия и посещения, в особенности опасных мест, подымали дух, укрепляли воинов.

Не менее важно было мое личное общение с духовенством. Много бесед, во время таких поездок, мною было проведено со священниками при самой разнообразной обстановке: в вагоне, в домах, под открытым небом на лужайке, в лесу, скрывавшем нас от взоров неприятеля и т. д. При таких беседах я много узнал и многому научился, равно как имел возможность и других поучить и направить.

При посещениях госпиталей, перевязочных пунктов, окопов мне легко было убедиться, часто ли посещаются эти места сопровождающим меня полковым или госпитальным священником, правильно ли он понимает и {98} усердно ли исполняет свои обязанности, как к нему относятся нижние чины и офицеры. Усердный священник прекрасно знал расположение на позиции полковых рот, храбрых и трусливых солдат, встречался в окопах, как частый и приятный гость. Усердный госпитальный священник хорошо знал каждую палату и состояние каждого больного. Как тот, так и другой, хорошо знали все требования, предъявленные им инструкцией и моими циркулярами.

Должен по совести сказать, что почти всегда мне приходилось слышать и от начальствующих лиц и от рядовых офицеров самые лестные отзывы о работе военных священников. Но без исключений, конечно, не могло обойтись. Ведь ряды фронтового духовенства непрерывно заполнялись мобилизованными, т. е. командированными из епархий. В самом начале войны епархиальными начальствами были командированы священники для второочередных полков и госпиталей. Потом, по мере убыли священников и формирования новых частей, протопресвитер просил Синод предписать епархиальным преосвященным избрать то или иное число священников, чтобы они могли без замедления по его вызову явиться на фронт. Так как в японскую войну епархиальные начальства с поразительной небрежностью относились к выбору командированных, отправляя чаще не испытанных, а неугодных, чтобы от них избавиться, то, наученный опытом той войны, протопресвитер ставил определенные требования: чтобы избирались священники, незапятнанные, усердные, с полным семинарским образованием, по доброму желанию, а не по неволе и принуждению, и не престарелые. К сожалению, и в Великую войну, несмотря на все принятые протопресвитером предосторожности, епархиальные власти не всегда серьезно относились к выбору.

В 1915 году Полоцкое епархиальное начальство, по требованию Синода, избрало пятерых: четверо из них было в возрасте {99} от 62 до 71 года, а пятый находился под судом. Конечно, ни один из них не был допущен протопресвитером на театр военных действий. При таком положении дела могли проникать в армию и недостойные.

На одного из таких я наткнулся в 1915 году.

Шел отчаянный бой под Варшавой. Объезжая боевую линию, я подъехал к расположенному у большой дороги госпиталю. Работа там кипела. Всё время прибывали повозки с ранеными. На крыльце сидел упитанный, простоватого вида батюшка, весело беседовавший с сестрой. Он меня не узнал, ибо на мое приветствие ответил небрежным: "Здравствуйте", не сдвинувшись с места. Я прошел в госпиталь. Там был настоящий ад: стоны, крики, предсмертные хрипы. У дверей лежал фельдфебель с распухшей, посиневшей ногой, не соглашавшийся на ампутацию. Я его убедил. Потом попросили меня причастить нескольких умирающих.

- А что же ваш священник делает? - спросил я.

Врачи в один голос, с нескрываемым озлоблением ответили:

- Ничего он не хочет делать.

Я вышел из госпиталя. Священник, оказавшийся иеромонахом какого-то монастыря, продолжал весело беседовать с сестрой.

- Я - протопресвитер, - обратился я к нему. Иеромонах вскочил.

- Вы затем сюда приехали, чтобы развлекаться с сестрами? Сегодня же убирайтесь отсюда! Армии такие не нужны.

Никакие просьбы не изменили моего решения.

- Сегодня же, - обратился я к главному врачу, {100} - отправьте его в Варшаву. А к вам сегодня же прибедет другой.

Об этом случае было объявлено в приказе всему духовенству. Две-три таких расправы заставили насторожиться и тех, которые не склонны были напрягать свои силы.

Был и еще случай, что я не был узан своим подчиненным. Это произошло летом 1916 года. Я с прот. Ф. И. Титовым в салон-вагоне возвращался из Буковины. На ст. Волочиск, где поезд наш должен был стоять чуть ли не 40 минут, я вышел прогуляться по платформе. Последняя была заполнена народом, преимущественно, военными. Многие из них узнавали меня и раскланивались. Вдруг подошел ко мне довольно молодой священник.

- Здравствуйте, батюшка! Вы военный? - обратился он ко мне. Ясно было, что он не узнал меня, и я ответил:

- Да, военный.

- Полковой? Какого полка? Меня заинтересовал такой разговор, и я назвал один из стоявших на галицийском фронте полков.

- А что? Трудно служить в полку на фронте?

- Старикам трудновато, а молодым - чего же трудного? А вы тоже военный? - спросил я.

- В госпитале здешнем служу. Недавно я прибыл из епархии.

- Как же вам дается служба? Небось в госпитале тяжело служить?

- Тоже нашли тяжело. На мое счастье тут, кроме моего, еще шесть госпиталей без священников. Я всех их обслуживаю. А в одном нечего было бы делать.

{101} - Чего же вы не попроситесь в полк? Вам, молодому, там бы служить.

- Да, знаете, я держусь такого правила: на службу не напрашивайся, от службы не отказывайся. Назначат, - с радостью поеду.

- А протопресвитера вы ни разу не видели?

- Один раз видел: он проезжал в поезде с Государем. Молодой еще.

- Говорят, он очень строгий?..

- Да слышал и я. Это ничего: строгость на службе нужна.

- А главного священника своего видели?

- Нет, не видел, - он не любит поездок, больше к себе вызывает.

В это время толпа стала обращать на нас большое внимание. И я, чтобы не раскрылось мое инкогнито, поспешил проститься со своим милым собеседником, пожелав ему поскорее получить назначение в полк. Не успел я отойти от него, как он уже был окружен толпою, жаждавшей узнать слышанные им от протопресвитера новости. Я ушел в свой вагон. Минут через пять постучался ко мне о. Титов:

- Что вы сделали со священником? Пришел сюда - весь дрожит. Я, говорит, не узнал протопресвитера и неподходяще беседовал с ним... Просит прощения.

- Я уж не выйду к нему, чтобы еще более не смущать его. Передайте ему, что его откровенная беседа произвела на меня самое лучшее впечатление, и что я его сердечно благодарю за службу. А в полк он скоро получит назначение, - ответил я.

Вернувшись в Ставку, я первым делом дал новое назначение своему симпатичному собеседнику.

{102} О деятельности военного духовенства на театре военных действий я имел счастье слышать блестящие отзывы от обоих Верховных Главнокомандующих. В конце 1916 года Государь как-то сказал мне:

- От всех, приезжающих ко мне с фронта военных начальников я слышу самые лучшие отзывы о работе военных священников в рядах армии.

Еще решительнее, в присутствии чинов своего штаба, отозвался в 1915 году великий князь Николай Николаевич:

- Мы в ноги должны поклониться военному духовенству за его великолепную работу в армии.

Я дважды слышал от него эти слова.

Такие отзывы были вполне заслужены духовенством. В Великую войну военное духовенство впервые работало дружно, согласно, по самой широкой программе. Священники делили с воинами все тяжести и опасности войны, возбуждали их дух, своим участием согревали уставшие души, будили совесть, предохраняли наших воинов от столь возможного на войне ожесточения и озверения.

Повествование о подвигах военных и морских священников' составило бы большую книгу. Упомяну о некоторых из них.

Протоиерей 7-го Финляндского стр. полка Сер. Мих. Соколовский, прозванный французами (вторую половину войны он провел на французском фронте) за свою храбрость "легендарным священником", дважды раненый, во второй раз с потерей кисти правой руки, совершил такой подвиг: 7-му Финляндскому полку на австрийском фронте нужно было разрушить неприятельское проволочное заграждение. Было сделано несколько попыток, с большими потерями, но успеха не {103} было. Охотников не находилось на новые попытки. Тогда вызвался о. Сергей.

- Ваше ли это дело, батюшка? - ответил ему командир полка.

- Оставим, г. полковник, этот вопрос, - возразил о. Сергей. Полк должен уничтожить заграждения... Почему же я не могу сделать это? Это же не убийство.

Командир полка дал разрешение. О. Сергей отправился в одну из рот.

- Кто со мной рвать заграждения? - обратился он к солдатам. Вызвалось несколько десятков человек. Он облек их в белые саваны, - дело было зимой, - и, двинувшись под покровом ночи, разрушил заграждения. Георгиевская Дума присудила ему за это орден Георгия 4-й степени.

9-ый драгунский Казанский полк должен был двинуться в атаку на австрийцев. Раздалась команда командира полка, но полк не тронулся с места. Жуткая минута! Вдруг вылетел на своей лошаденке скромный и застенчивый полковой священник о. Василий Шпичек и с криком: "За мной, ребята!" понесся вперед. За ним бросилось несколько офицеров, а за ними весь полк. Атака была чрезвычайно стремительной; противник бежал. Полк одержал победу. И о. Василий был награжден Георгием 4-й степени.

16 октября 1914 года героически погиб священник линейного заградителя "Прут", иеромонах Бугульминского монастыря, 70-летний старец Антоний (Смирнов). Когда "Прут" во время боя начал погружаться в воду, о. Антоний стоял на палубе и осенял Св. Крестом свою паству, в волнах боровшуюся со смертью. Ему предлагали сесть в шлюпку, но он, чтобы не отнять место у ближнего, отказался. После этого он спустился внутрь корабля и, надев ризу, вышел на палубу со Св. Крестом и Евангелием в руках и еще раз благословил своих {103} духовных чад, осеняя их Св. Крестом. А затем вновь опустился внутрь корабля. Скоро судно скрылось под водой.

Священник 154 пех. Дербентского полка, Павел Иванович Смирнов, своим мужеством и спокойствием в трудную минуту так поднял дух полка, что, увлеченный своим пастырем, полк не только преодолел опасность, но и одержал победу. Имя о. Павла после этого стало героическим для всей Кавказской армии. И он был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.

В бою 19 октября 1916 года священник 318 Черноярского пехотного полка Александр Тарноуцкий, иеромонах (имени его, не помню), исполнявший обязанности священника в одном гвардейском стрелковом полку, и несколько других полковых священников были убиты, когда они с крестом в руках шли впереди своих полков.

Другие погибли во время перевязки или уборки раненых с поля сражения.

Из оставшихся в живых героев-пастырей 14 были награждены офицерскими георгиевскими крестами 4-й степени. За всё время существования Георгиевского креста, от Императрицы Екатерины II до Великой войны, этой награды было удостоено всего 4 священника. А во время этой войны - 14. Каждый из этих 14-ти совершил какой-либо исключительный подвиг.

Кроме того, более 100 священников были награждены наперсными крестами на георгиевской ленте. Для получения этой награды также требовался подвиг.

Одни из этих награжденных получили такую награду за особо мужественное исполнение своих обязанностей под огнем неприятеля, другие - за вынос раненых из линии огня и т. п. Священник 119 пех. Коломенского полка Андрей Пашин спас свой полк от неминуемой гибели.

Не разобравшись в обстановке и направлении, {104} командир этого полка, при передвижении, повел свой полк в самое опасное место, где его ожидали расстрел или пленение. О. Андрей понял ошибку командира и убедил его направить полк в противоположную сторону. Совсем другого рода был подвиг иеромонаха Н., священника одного из второочередных полков. (Не могу вспомнить ни его имени, ни полка, в котором он служил). В один из воскресных дней 1915 г. на Галицийском фронте, вблизи боевой линии, в брошенной униатской церкви он совершал литургию. Церковь была переполнена воинскими чинами. В храме совершалась бескровная жертва, а вблизи шел бой, лилась человеческая кровь. Обычная на войне картина...

Бесперывно громыхали орудия; снаряды то перелетали через храм, то, не долетая, ложились впереди его. А молящиеся, привыкшие к вздохам пушек и пению снарядов как будто не замечали опасности. Литургия приближалась к концу - пели "Тебе поем"... Священник читал молитвы. Вдруг снаряд попадает в церковь, пробивает крышу и потолок алтаря и, упал около престола с правой стороны. Иеромонах спокойно прервал чтение тайных молитв. "Будь ты проклята, окаянная!" - громко произнес он и при этом перекрестил бомбу, начав после этого также спокойно читать прерванные молитвы. Снаряд не разорвался, а молящиеся, видя спокойствие священника, остались на местах и продолжали молиться. По окончании литургии снаряд был вынесен из храма. Узнав об этом происшествии, Государь наградил мужественного иеромонаха наперсным крестом на Георгиевской ленте.

Священник 58-го Прагского полка Парфений Холодный был удостоен этой награды в начале войны за иного рода подвиг. 58-й пех. Прагский полк действовал тогда в Галиции. О. Парфений с полковым врачом и одним из младших офицеров в двуколке переезжали по мосту реку. Тут они наткнулись на австрийскую засаду, сидевшую под мостом. Выскочив с ружьями на перевес, австрийские {106} солдаты окружили двуколку. О. Парфений не растерялся. Осенив крестом своих врагов, он обратился к ним с увещанием, что не стоит братьям проливать кровь и, помимо того, впереди и позади большие русские отряды, засаде не уйти от гибели и поэтому лучше, не проливая крови, сложить оружие. Речь о. Парфения была понята, так как среди напавших большинство были чехи и угроруссы. Пошептавшись между собой, они начали сдавать оружие, которое было сложено в двуколку. И пленники, конвоируемые офицером и доктором, с о. Парфением были приведены в находившийся недалеко штаб полка.

Насколько помню, о. Парфений был первым священником, украшенным в великую войну наперсным крестом на Георгиевской ленте.

Показательны и цифры.

В Русско-японскую войну был убит один священник (35 див.) и то случайно своей же пулей. Погибших на кораблях в Цусимском и других боях иеромонахов не считаю. Там они разделили общую участь. В эту войну убитых и умерших от ран священников было более 30.

В Русско-японскую войну раненых и контуженных священников не набралось и десяти, в Великую войну их было более 400. Более ста военных священников попали в плен.

Пленение священника свидетельствует, что он находился на своем посту, а не пробавлялся в тылу, где не угрожает опасность.

Подвизаясь на поле брани, военное духовенство, с первых же дней, начало готовить почву для имеющей когда-либо наступить мирной жизни и работы ведомства. Уже в 1914 году все военные и морские священники, а количество их увеличивалось с каждым днем, начали отчислять из своего содержания по 3 руб. в месяц на благотворительно-просветительные нужды ведомства. Очень скоро накопилась большая сумма, на {107} которую представилась возможность в 1915 году приобрести в Ессентуках три хороших дома с мебелью и всеми принадлежностями домашнего хозяйства и 142 десятины земли о Старицком уезде Тверской губ., в 3-х верстах от военно-свечного завода. Дома в Ессентуках предназначались для нуждавшихся в отдыхе и курортном лечении священников.

На приобретенной же земле в 1916 году начато было устройство духовного поселка для престарелых и немощных священников и приюта для увечных воинов. Поселок должен был состоять из 30-40 отдельных домиков, с двумя квартирами, по четыре комнаты в каждом. При всякой квартире полагался небольшой участок земли для сада и огорода. В центре поселка предполагалось соорудить церковь и большой инвалидный дом для увечных воинов, с большим садом, огородом, пасекой, скотным двором, школой для солдатских детей и разными мастерскими. Каждому священнику предназначалась особая квартира. Желавшим трудиться предоставлялась полная возможность.

В 1916 году началась постройка дома.

Узнав об этом начинании, для полного своего осуществления требовавшем огромным средств, генерал Алексеев посоветовал мне ознакомить Государя и спросить у него разрешения обратиться ко всем воинским частям и учреждениям фронта с просьбой сделать отчисление из хозяйственных сумм на это начинание. Государь чрезвычайно заинтересовался моим докладом и поручил мне обратиться от его имени. Я просил его разрешить мне сделать это в конце войны.

В 1916 году на театре военных действий находилось более 5000 частей и учреждений. Каждое из них располагало большими хозяйственными суммами. У некоторых полков такие суммы превышали миллионный размер. Обращение от имени Государя побудило бы всех щедро откликнуться. Да и дело могло заинтересовать.

Я уверен, что некоторые полки выделили бы {108} по 50, а может быть и по 100 тысяч.

Я думал, что в моем распоряжении окажется не менее 15-20 миллионов рублей, на которые я смогу не только возвести поселок, но и устроить ведомственную типографию, книжное издательство и даже основать свою собственную военно-духовную школу, с особым специальным курсом, которая подготовляла бы достойных пастырей для армии и флота.

Действительность разбила все мои предположения.

{111}

V

Случайные разговоры и встречи

Для будущих поколений и для истории может оказаться интересным и ценным каждый штрих, всякая мелочь, касающаяся предшествовавшей революции эпохи и в особенности личности Государя. Поэтому я сделаю несколько набросков из пережитого, запечатлевшихся в моей памяти.

Перед самой войной начал завоевывать огромные симпатии широкой публики кинематограф. Это замечательное изобретение могло бы служить самым высоким задачам общественной и государственной жизни. К сожалению, оно оказалось в руках торгашей, которые, преследуя одну цель - наживу, сделали его орудием для игры на самых низменных чувствах толпы. Результат получился печальный: вместо того, чтобы образовывать, развивать и возвышать зрителей, кинематограф возбуждал и обострял у них низкие инстинкты и пошлые чувства; вместо того, чтобы быть подлинной культурной школой,

кинематограф стал школой разврата. Мне казалось, что государственная власть должна была обратить самое серьезное внимание на это и так или иначе пресечь развращающее влияние кинематографа. Я решил свои мысли изложить Государю, что и сделал, когда последний после одного из завтраков сам подошел ко мне. Это было летом 1916 года.

Выслушав меня, Государь дополнил мой доклад:

- Это совершенно верно! Кинематограф, показывая по большей части сцены грабежа, воровства, убийств и разврата, особенно вредное влияние оказывает на {112} нашу молодежь. В Царском Селе недавно был такой случай: у генерала Н. служит уже много лет лакей, у которого имеется четырнадцатилетний сын. Этот мальчик тоже иногда прислуживал генералу. Недавно со стола в кабинете генерала начали пропадать вещи. У генерала явилось подозрение относительно мальчика, так как в честности самого лакея он не сомневался. Прежде, чем удалось генералу проверить свое подозрение, произошел такой случай. К его кабинету примыкал длинный коридор, у стенки которого стоял большой, с крышкой ящик для мусора. Однажды, проходя по этому коридору, генерал заметил, что приподнялась крышка мусорного ящика. Генерал совсем открыл ее и увидел в ящике, притаившегося с ножом в руке лакейского сына.

Оказалось: насмотревшись разных кинематографических картин, мальчик решил напасть на генерала и прикончить его. Я с вами совершенно согласен, закончил Государь, - что в отношении кинематографа надо что-то предпринять. Я подумаю об этом.

Однако, прошло после этого разговора более месяца, но о мерах для обуздания кинематографа не было слышно. Тогда я попросил профессора Федорова, чтобы он во время прогулки с Государем навел разговор на кинематограф, чтобы узнать его мнение. На другой день профессор сообщил мне, что он исполнил мою просьбу и посоветовал мне еще раз побеседовать с Государем.

Когда я опять напомнил Государю, тот прервал меня: - Отлично помню о нашем с вами разговоре и много думал по поводу его. Когда придет ко мне с докладом министр финансов, я посоветуюсь с ним и тогда примем нужные меры.

Беседовал ли Государь с министром финансов, - этого не знаю. Но никаких мер в отношении кинематографа до начала революции принято не было.

{113} Во время своей поездки в октябре 1916 года по Кавказскому фронту я в нескольких верстах за Эрзерумом, у самого Евфрата, встретил бивуак 1-ой Кубанской пластунской бригады. Конечно, я должен был задержаться. По обычаю, сначала я помолился с ними, потом они радушно по-кавказски угостили меня и не только хлебом с солью, но и залихватскими песнями и лихими казачьими танцами. Как сейчас вижу эту картину: два казака лихо под оркестр музыки отплясывали лезгинку, а остальные, образовав огромный круг, сидели на корточках и, ударяя в ладоши, отбивали такт. Тогда я впервые созерцал такую картину.

В самый разгар веселья, когда на минуту водворилась тишина, командир бригады, Генерального Штаба генерал-майор И. И. Гулыга, вдруг обратился ко мне:

- Ваше высокопреподобие! Видите моих молодцов? Какие они в весельи, такие и в бою. Его величество в свой последний приезд сюда видел их, слышал об их боевой работе, похвалил и обещал отличить - дать шефство всем полкам. Мы все верим, что царское слово твердо, но батюшка-царь медлит. Наша к вам просьба: напомните ему о моих казаках и об его обещании.

Конечно, я пообещал исполнить просьбу и исполнил. При своем общем докладе о поездке по Кавказскому фронту, я доложил Государю и о моей встрече с пластунами.

- Это отличные войска, - я видел их в свою последнюю поездку, - сказал Государь.

- Они мне говорили об этом, - добавил я, - они не забыли о вашем обещании дать шефство полкам их бригады и ждут от вас такой милости.

{114} Государю как будто не понравилось это. - Какие они нетерпеливые! - как будто с неудовольствием сказал Государь. Однако, очень скоро вышел царский указ, коим, кажется, двум полкам 1-ой Кубанской пластунской бригады назначались шефами дочери Государя.

Одним из главных отделов Ставки было Управление военных сообщений, возглавлявшееся генералами сначала С. А. Ронжиным, потом Н. М. Тихменевым и, наконец, В. Н. Кисляковым. В составе этого Управления находилось много инженеров путей сообщения. Вот эти инженеры летом 1916 года задумали соорудить икону в память своей службы на фронте Великой войны. Представители инженеров в июле 1916 года пришли ко мне за советом: какую и каким образом соорудить икону?

- Большинство из нас, - сказали они, - хочет приобрести какую-либо старинную икону Св. Николая.

- Я понимаю вас, - ответил я, - что вы хотите оставить в память о вашей работе икону Небесного покровителя нашего Государя - Верховного Главнокомандующего; но всё же я предпочел бы икону Спасителя и притом не древнюю, а современную, написанную каким-либо знаменитым художником нашего времени, например, Васнецовым. А самое лучшее: хотите, я узнаю мнение Государя по этому вопросу? - добавил я.

Депутация попросила у меня позволения переговорить с ее доверителями и на другой день сообщила мне, что инженеры согласны со мной. В тот же день я доложил Государю. Государь намерение инженеров

{115} одобрил, но согласился со мной, что следует соорудить икону Спасителя и заказать ее Васнецову.

Оставалось приступить к осуществлению намерения. Инженеры сообщили мне, что денежная сторона не играет роли: они готовы израсходовать до десяти тысяч рублей. Я написал В. М. Васнецову письмо, в котором просил его принять, не стесняясь суммой, заказ, который делается с соизволения Государя. Депутация с моим письмом отправилась в Москву. Васнецов в это время был очень занят какой-то спешной работой, но всё же он не захотел отказаться от заказа. Условились так, что он напишет большую икону Спасителя и грамоту в древнерусском стиле на пергаменте, а к грамоте соорудит в таком же стиле окованный серебром ларец. Инженеры обязались уплатить ему 5 или 6 тысяч, - точно не помню. Это было в августе 1916 года.

Проходили месяцы, но об иконе не было слышно. Один из инженеров в ноябре наведаясь к Васнецову, но тот ответил ему, что никак не может написать икону: не удастся лик Спасителя. Наконец, в феврале 1917 года, за несколько дней до революции, прибыла в Ставку икона.

Как всё, вышедшее из под кисти Васнецова, заказ был исполнен чудесно. Но лик Спасителя отражал какую-то невообразимую скорбь. Жутко становилось, когда всмотришься в него.

- Не могу иначе икону написать, - пояснил В. М. Васнецов, передавая икону заказчикам. И это не было случайностью. У В. М. Васнецова, всё, начиная с его внешнего облика, кончая его творениями, было особенное, что приближало его к пророкам.

В июле 1918 года я с генералом Петрово-Соловово навещал его в Москве, в его собственном доме, недалеко от Троицкого патриаршего подворья.

И дом у Васнецова был особенный: как {116} древне-боярский терем с остроконечной крышей, узорчатыми окнами, расписными воротами. Но еще удивительнее был сам хозяин. Точно древний великий подвижник вырос предо мной: продолговатое, строгое, изможденное лицо, длинные волосы с прямым пробором, такой же строгий взгляд больших светящихся праведностью глаз, размеренная, яркая, образная и внушительная речь. Я в первый раз увидел Васнецова и сразу был поражен, точно сробел перед этим необыкновенным человеком.

Васнецов повел нас в свою мастерскую. Огромная в два света зала, вся в картинах его кисти. На одной из стен огромное, еще незаконченное полотно: бой русского богатыря с многоголовым Змеем Горынычем. Несколько голов отрублено, но остальные с оскаленными зубами устремлены на обессилевшего богатыря... Жуткая, страшная картина!..

- Три года тому назад начал я писать эту картину и никак не могу закончить. Не думал я, что окажусь пророком... Эта гидра - теперешняя революция, а богатырь - наша несчастная

Россия. Дай Бог, чтобы она одолела змея!

Не знаю, кончу ли я эту картину, - пояснил нам В. М. Васнецов.

Кажется, в один из следующих дней он читал на Московском поместном соборе свой доклад о русской иконописи, поразивший всех своей глубиной, проникновенностью, пророческим экстазом.

Что же случилось с нашей иконой? Летом 1918 года она была перевезена в Церковь протопресвитера военного и морского духовенства (С. Петербург, угол Воскресенского проспекта и Фурштатской ул.). Дальнейшая ее судьба мне неизвестна.

{117} Традиция в жизни - великое дело. Она передает из рода в род добрые обычаи и часто охраняет нравы. Она объединяет, воодушевляет и двигает массы. Но когда традиция переживает себя и теряет смысл, тогда она превращается в рутину, опасную и даже вредную для жизни. В военной жизни традиции имеют огромное значение.

О достоинстве воинских частей судили по сохранившимся в них традициям. Традиции передавались там из поколения в поколение и чтились, как священные заветы доблестных предков.

Кроме традиций частных, хранившихся в отдельных воинских частях, были еще традиции общие для всех полков. Такова, например, традиция: воинское знамя обязательно сопровождает полк на войне.

В старое время, когда полки ходили в атаки с развернутым знаменем и под гром музыки, тогда было в порядке вещей, что каждый полк шел на войну обязательно со своим знаменем и со своим оркестром. Но опыт таких "торжественных" атак, кажется, в последний раз был повторен в одном из полков в Японскую войну и кончился весьма печально: знамя было потеряно, все оркестровые инструменты изрешечены, а музыканты перебиты.

При позиционной войне, при необыкновенной силе ружейного и пулеметного огня, подобные атаки стали бессмысленными и даже невозможными. Таким образом, для атаки знамя стало ненужным. А в таком случае и вообще пребывание знамени на линии боя становилось излишним: какой же смысл держать тут знамя, когда оно может быть видно только нескольким ближайшим? Какой смысл подвергать знамя опасности, {118} когда потеря знамени являлась величайшим бесчестием для воинской части? И еще в Японскую войну некоторые командиры отсылали знамя во время боя в обоз 3-го разряда, отстоявший в 20-30 верстах от линии боя, - значит, и от своей части. Так же делалось и в Великую войну.

Но так как во время боя и тыл не безопасен, то для хранения знамени отделялась рота, или в крайнем случае, полурота. Это значит, что 16-ая или 32-я часть полка устранилась с поля сражения. Если представим, что в последнюю войну на театре военных действий находилось более 1000 полков, то, поэтому, для охранения знамен во время боя на всем фронте выводилось из строя около 1000 рот, или около 66 1/2 полков, или более пяти корпусов... А между тем, сплошь и рядом появление одного нового полка давало победу; нередко целые сражения проигрывались из-за отсутствия резервов.

У меня не раз являлась мысль: зачем выносить знамена на войну, почему не оставлять их дома, - скажем, в полковых церквях, где знамя могло быть безопасным под охраной одного церковного сторожа? Но как было высказать эту "ересь"? Тут можно было нарваться на какие угодно обвинения.

Бурлила в моей голове и другая "еретическая" мысль относительно высшей воинской награды - георгиевского креста.

Георгиевский крест давался по статуту, точно определявшему все подвиги, за которые полагалось награждение этим орденом. Совершивший один из указанных подвигов имел право требовать себе георгиевский крест.

По характеру же "георгиевские" подвиги были различны. Давался этот георгиевский крест военачальнику, проявившему мудрость в командовании и, благодаря {119} этому, выигравшему сражение, но такой же крест давался младшему офицеру, захватившему неприятельскую пушку, или первым ворвавшимся в неприятельский окоп, - словом совершившему подвиг, для которого требовалась и бесшабашная храбрость, на которую

может быть способен и самый глупый человек, или же простая случайность.

Между тем, и тот и другой крест давали одинаковые, огромные права: безостановочное производство в следующие чины, право потребовать себе в любую минуту лишний чин, предпочтение при назначениях на высшие должности, усиленная пенсия и пр. и пр. Бывали случаи, что вследствие такого порядка лишённые всяких дарований георгиевские кавалеры достигали самых высших военных должностей и затем причиняли много бед.

Но иногда (да и нередко) беды предшествовали награждениям георгиевскими крестами. Если бы нашёлся военный историк, который описал бы, сколько в одну последнюю войну было уложено людей из-за георгиевских крестов, когда военные начальники, чтобы украсить этими крестами, бросали свои войска в безнадежные атаки, брались за самые рискованные и опасные предприятия и т. д. Сколько из-за этих же крестов было вылитое в реляциях и донесениях всякой лжи и неправды, которые запутывали и обезоруживали высшее командование, нанося часто непоправимый вред делу?

Георгиевские кресты уравнивали глупцов и мудрецов, подлинных героев и бесчестных честолюбцев, открывая и тем, и другим почти одинаковый служебный простор.

И нередко случалось, что увенчанный георгиевским крестом в целом ряде последующих дел оказывался неудачником. Однако, георгиевские права за ним сохранялись.

{120} Ясно, что георгиевский статут устарел, нуждался в пересмотре и изменении. Но об исправлении его никто не думал.

Мне хотелось проверить свои сомнения относительно, знамен и георгиевского креста, побеседовать с авторитетными людьми, но я долго не решался на это, резонно опасаясь, как бы не обвинили меня в подкопе под военные основы.

Но вот случай представился.

В половине октября 1915 года я отправился из Могилева на Западный фронт. Пока на ст. Орша перецепляли мой вагон, я на перроне вокзала встретил двух генералов - командиров корпусов: 35-го генерала Решикова и 16-го генерала Широкова, возвращавшихся после отпуска к своим корпусам, находившимся на Западном же фронте. Я предложил генералам перейти в мой вагон, на что они с благодарностью согласились, так как поезд был переполнен пассажирами.

Между нами завязалась оживленная беседа. Они интересовались новостями Ставки, я их расспрашивал о тыле, откуда они возвращались. Потом заговорили о фронте. Когда зашла речь о разных дефектах нашего военного дела, я, попросив наперед извинения, если окажусь еретиком, высказал мучившее меня сомнения о знаменах и георгиевских крестах. Генералы сначала буквально пришли в ужас от моих рассуждений. В особенности им казалась неприемлемой мысль, что полк может выйти на войну без знамени. И только после долгих споров они согласились, что во всяком случае об этих вопросах надо серьезно подумать. А я из разговора с генералами вынес убеждение, что волновавших меня вопросов не сдвинуть с места, и более уже не заводил с властью имущими речи о них.

{121} 5-ю армией с начала войны до июля 1916 г. командовал генерал-от-кавалерии П. Плеве. В течение нескольких лет перед войной он занимал должность командующего войсками Московского военного округа.

Генерал Плеве был не из числа тех генералов, которые в мирное время могли производить впечатление. Небольшого роста, невзрачный, немного сутуловатый, с кривыми ногами и большим носом, на котором, как бедуин на верблюде, сидело пенсне, близорукий и молчаливый, - он не привлекал к себе внимания. Педантичный до мелочности на службе, неприветливый и сухой в обращении, он не пользовался любовью своих подчиненных.

Во время торжеств на Бородинском поле летом 1912 года с ним произошел случай, за который другой на его месте поплатился бы карьерой. Там Государь принимал огромный парад, которым командовал генерал Плеве. Верхом на коне последний представлял еще более жалкую фигуру. Но дело в другом. Ведя войска церемониальным маршем, генерал Плеве по своей близорукости не узнал Государя и остановился в другом месте. Получился скандал. Были уверены, что генерал Плеве слетит с должности. Но ему это происшествие

сошло благополучно, как говорили, только благодаря заступничеству военного министра Сухомлинова, на сестре которого, Вере Александровне, был женат генерал Плеве.

На войне генерал Плеве, сверх всякого ожидания, оказался отличным командующим армией. Толковый, чуткий в отношении планов неприятеля, решительный, настойчивый и храбрый, он скоро заставил заговорить о себе, как о выдающемся военачальнике.

{122} Но сослуживцам его и на войне не было с ним легче. Генерал-квартирмейстер штаба 5-ой армии генерал И. К. Серебренников был отстранен от должности генералом Плеве еще в пути, не доезжая до театра военных действий, за то, что в штабе не оказалось какой-то карты, понадобившейся генералу Плеве.

Тяжелее всего было начальнику Штаба, генералу Е. К. Миллеру, как ближайшему сотруднику генерала Плеве. Прибыв летом 1916 г. в г. Двинск, где тогда стоял штаб 5-ой армии, я застал генерала Миллера в чрезвычайно удрученном состоянии.

- Что с вами, Евгений Карлович? - спросил я его. У него слезы показались на глазах.

- Тяжело мне с немцами, но еще тяжелее с командующим армией. Видите, до чего он издергал меня. Сил у меня больше не хватает служить с ним. Вы не можете представить, насколько он мелочен и придиричив. У меня весь дневной отдых сводится к получасу от 8.30 до 9ч. утра. Этими 30-ю минутами я пользуюсь для верховой прогулки, после чего в девять часов иду с докладом к командующему. Сегодня я запоздал ровно на 5 минут. И командующий разразился градом упреков по поводу моей "неаккуратности". Или другой случай на днях. Закончив работу к 12 час. ночи, я лег спать. Только я уснул, как меня разбудили: "Командующий зовет к себе". Я подумал, что случилось что-либо особенное, и, одевшись, быстро отправился к нему.

Что же, думаете вы, случилось? Командующий получил ничего не значащую телеграмму, но сам, по близорукости, не мог прочитать ее. Вот он и велел разбудить меня. Как будто у него нет адъютантов для таких дел. Силы совсем оставляют меня. Я готов куда угодно пойти, хотя бы и в командиры бригады, лишь бы избавиться от этой каторги.

- Хотите, - сказал я, - я переговорю с генералом Алексеевым?

{123} - Вы меня очень обяжете этим! - ответил генерал Миллер.

Вернувшись в Ставку, я передал генералу Алексееву свою беседу с генералом Миллером.

- Я отлично знаю генерала Плеве, - сказал генерал Алексеев, - сам служил с ним. Тяжелый и неприятный он начальник. Отлично понимаю генерала Миллера. Надо помочь ему! Вот что: расскажите-ка вы откровенно Государю про свою беседу с генералом Миллером. А я потом дополню.

В тот же день я беседовал с Государем.

- Я генерала Миллера очень хорошо знаю, - сказал Государь, выслушав меня, - он - мой сослуживец по лейб-гвардии Гусарскому полку. Отличный офицер! Знаю и Плеве: хороший вояка, но с ним не легко служить. Генерала Миллера мы выручим.

Скоро генерал Миллер был назначен командиром 26-го корпуса. А генерал Плеве в июле заместил генерала Куропаткина в должности Главнокомандующего Северного фронта, но тут он удержался не долго.

От генералов перейдем к дьяконам.

Отправляясь на театр военных действий, я взял с собою протодиакона церкви лейб-гвардии Конного полка о. Власова, донского казака, раньше состоявшего протодиаконом Новочеркасского кафедрального собора.

Огромного роста, с красивым лицом, большими выразительными глазами и достаточно пышными волосами, жгучий брюнет, с очень сильным голосом (басом) - он, кажется, родился, чтобы быть протодиаконом.

В мае 1916 года, объезжая фронт, я посетил {124} командира 26-го корпуса генерала А. А. Гернгросса, старого знакомого по Русско-японской войне и земляка. За мною вошел протодиакон Власов.

- А это кто такой, - обратился ко мне генерал Гернгросс.
- Мой протодиакон Власов, - ответил я.
- Да... Не знаю, может ли он сотворить человека, а убить может, сострил генерал.

Внутренние качества о. Власова значительно уступали его внешнему виду: характер у него был неважный, усердие к службе небольшое, а его безграмотность производила удручающее впечатление. Своим прекрасным голосом он не умел пользоваться, или вернее - пользовался по-провинциальному: то рычал без нужды, то шептал, где требовалось forte. Манера его служения очень скоро приедалась, надоедала.

Я очень скоро понял свою ошибку и решил во что бы то ни стало отделаться от Власова. Не желая обижать его, я решил устроить его на такое место, за которое он всю жизнь благодарил бы меня.

Скоро представился случай: освободилось дьяконское место в придворной Конюшенной (в СПб по Конюшенной ул.) церкви.

Попасть в придворное ведомство для каждого священника и дьякона вообще являлось счастьем. Конюшенная же церковь по своей доходности была одной из лучших Петербургских придворных церквей. И я был уверен, что о. Власов поблагодарит меня, когда я устрою его на это место.

Не сомневаясь, что у придворного протопресвитера есть свой кандидат на это место, я решил произвести на него такое давление, которое обязало бы его исполнить просьбу. Я обратился к министру двора графу Фредериксу, чтобы он помог мне устроить протодиакона Власова. Добрый старик согласился. Не знаю, что писал {125} граф Фредерикс протопр. А. А. Дернову; может быть, он сообщил последнему о желании Государя, чтобы протодиакону Власову было предоставлено место в Конюшенной церкви. Но скоро я получил от протопр. А. А. Дернова официальную бумагу, где сообщалось, что о. Власов назначен, и предписывалось последнему немедленно вступить в должность.

Я тотчас объявил о. Власову о назначении, приказав ему на следующий день отбыть к месту новой службы. Сам я в тот же день отбыл на фронт. С фронта через несколько дней я прибыл в Петроград для участия в заседаниях Синода.

Там я встретился с протопр. А. А. Дерновым, который тотчас выразил мне неудовольствие, что ему назначили нежелательного кандидата, а затем удивление, что последний еще не явился к месту службы. Это и меня удивило, тем более, что на место о. Власова мною уже был назначен протодиакон церкви лейб-гвардии Егерского полка Н. А. Сперанский, с полным семинарским образованием и со всеми качествами, необходимыми для ставочного дьякона, и ему было приказано немедленно отправиться в Ставку.

Вернувшись в Ставку, я первым делом спросил:

- Уехал ли Власов?

- И не думал уезжать! Он везде теперь хвастает: "Протопресвитер хотел меня сплавить, да не удалось. Сам царь приказал мне оставаться в Ставке", ответил на мой вопрос начальник моей канцелярии.

Дальше разъяснилась такая история. После моего отъезда на фронт о. Власов отправился к начальнику походной канцелярии, флигель-адъютанту полковнику А. А. Дрентельну.

- Я покидаю Ставку, - обратился к нему Власов, - тяжело мне расставаться с батюшкой-царем, для {126} которого я служил. Я был бы без меры счастлив, если бы его величество в память моей службы пожаловал мне часы.

В тот же день Дрентельн сообщил Власову, что Государь жалует ему золотые часы. Но Власов не успокоился. - Тогда, г. полковник, окажите мне и дальше милость: моему счастью не было бы границ, если бы его величество на прощанье лично передал мне часы, - обратился он к А. А. Дрентельну.

Добрый Дрентельн и тут уладил дело: Государь согласился принять о. Власова.

Явившись к Государю, Власов упал на колени:

- Ваше величество, не лишайте меня счастья служить при вас. Позвольте мне остаться в

Ставке.

- Я ничего не имею против того, чтобы вы оставались здесь, пожалуйста, - ответил смущенный Государь и передал ему золотые с цепочкой и царским гербом часы.

Дерзость Власова меня раздражила и я решил проучить его.

Вечером по обычаю я присутствовал на высочайшем обеде.

После обеда Государь подошел ко мне. Я кратко доложил ему о своей поездке по фронту, а затем завел речь о Власове:

- Вашему величеству угодно было разрешить о. Власову оставаться в Ставке. Это создает большие затруднения. Конюшенная церковь остается без дьякона; я уже назначил на место Власова другого протодиакона, гораздо более достойного, завтра он прибудет сюда. Власов проявляет неблагодарность, отказываясь от почетного назначения, которое с трудом ему выхлопотали.

- Власов очень просил меня разрешить ему остаться в Ставке, и я сказал, что ничего не имею против этого, - ответил, смутившись, Государь.

{127} - Тогда разрешите, ваше величество, приказать Власову, чтобы он отбыл в Петербург к новому месту службы!

- Ну, конечно! - сказал Государь.

Вернувшись с обеда, я тотчас вызвал о. Власова.

- Как смели вы без моего ведома беспокоить Государя? Завтра чтобы и духу вашего не было в Ставке. Немедленно отправляйтесь к новому месту службы! Можете уходить! - строго сказал я ему.

- Слушаю, - ответил и удивленный и пораженный о. Власов. Успокоенный царским разрешением, он совсем не ожидал такого конца.

На следующий день о. Власов отбыл из Ставки.

Прибывший на место о. Власова протод. Н. А. Сперанский во всех отношениях превосходил его. При совершении богослужения о. Власову часто вредила его малограмотность, лишавшая его возможности понимать смысл произносимого и давать звукам соответствующую интонацию. Он нередко напоминал слышанного мною в селе дьячка, который в известной паремии страстной седмицы (Ис. 54, 1) вместо "нечревоболевшую" читал "нечревоблевавшую" и "Императору Александру Николаевичу" произносил "Александре Николаевичу". Недоставало о. Власову и музыкальности.

О. Сперанский был совершенно грамотный и на редкость музыкальный протодиакон. Всё его служение отличалось необыкновенной проникновенностью и теплотой, гармоничностью и строгостью. Когда же он произносил в конце панихиды "Во блаженном успении вечный покой... и т. д.", - буквально замирала вся церковь. Слышал я всех знаменитых Петроградских, Московских, Киевских и иных протодиаконов: Розова, Громова, Малинина, Здиховского, Вербицкого и многих, многих других, но ни один из них не проявлял такого искусства в произнесении этого возгласия, как протодиакон Сперанский.

{128} Всегда аккуратный и точный, внимательный и почтительный, благородный и скромный, протод. Сперанский был одним из самых приятных сослуживцев, каких мне когда-либо приходилось иметь. И только один у него был грешок: любил он в компании "пропустить" лишнюю рюмку. А компании было не занимать: в Ставке все офицеры и певчие были его друзьями. Я спокойно относился к этому недостатку: кто из протодиаконов был от него свободен? Кроме того, ни скандалов, ни дебошей, ни упущений по службе от этого не происходило. О. Сперанский всегда знал время и меру. Алкоголиком он совсем не был. И только один раз на почве нежной любви моего о. протодиакона к живительной влаге произошло небывалое недоразумение.

Как известно, во время войны было затруднено получение спирта. А с началом революции оно стало еще труднее. Но голь на выдумки хитра. И мой о. протодиакон, не без участия друзей, умудрился в мае, 1917 года получить из казенного склада ведро спирту "на чистку церковной утвари". Каким-то образом это стало известно начальнику Штаба Верховного генералу А. И. Деникину.

- Слушайте, - обратился он, при встрече со мной, - ваш протоиерей взял из склада ведро спирта на чистку церковной утвари. Это черт знает, что такое! Они же сопьются...

Я вызвал к себе протоиерея.

- Вы брали спирт из склада?

- Так точно, ваше высокопреподобие!

- На чистку церковной утвари?

- Так точно!

- Это целое ведро-то?

- Ваше высокопреподобие, здешний ксендз взял на чистку своей церковной утвари целых пять ведер, а мы всего одно ведро.

{129} - Мне до ксендза нет дела, а вы впредь чем хотите чистите утварь, только не спиртом.

- Слушаю, - ответил с низким поклоном о. Сперанский.

"Ну, что с ним поделаешь! Повинную голову меч не сечет", - подумал я.

Война - проба для человеческих душ. Тут проявляется легендарная доблесть одних и обнаруживается подлость других. Летом 1915 года, когда еще Ставка находилась в Барановичах, мне пришлось натолкнуться на такой случай.

В Барановичах, около вокзала, помещался небольшой, кажется, на 20 кроватей для офицеров лазарет графини Браницкой. Сама графиня с двумя своими дочерьми исполняли в нем обязанности сестер милосердия. По просьбе графини я посетил госпиталь. При обходе палат я обратил внимание на упитанное, грубое и тупое лицо одного больного. Я вступил в разговор с ним.

- Вы офицер?, - обратился я к нему.

- Да, офицер.

- Какого полка?

- 172 пехотного Лидского.

- Участвовали в боях?

- Да, во многих.

- Где и когда?

Больной назвал мне несколько мест и боев, в которых, как мне было известно, 172 пехотный Лидский полк не принимал участия. Я продолжал расспрос:

- А где вы получили военное образование?

- В Варшавском военном училище.

- Этого училища давно не существует.

- А я там кончил курс.

{130} - Странно!.. А кто у вас священником в полку?

- Не знаю его фамилии... Какой-то пьяница...

Полковым священником Лидского полка был с 1909 года весьма почтенный батюшка о. А. Нелюбов, совсем не пьяница. Офицер не мог не знать своего служащего уже 6-ой год в полку священника. У меня же не было сомнения, что предо мною самозванец, но я еще задал вопрос:

- А кто командует вашей дивизией?

- Генерал Ренненкампф, - не сморгнув глазом, ответил он.

Генерал-адъютант Ренненкампф вышел на войну командующим армией. Теперь уже не могло оставаться сомнений, что под видом офицера забрался какой-то проходимец. Это могло оказаться весьма опасным, так как с самого начала войны ходили настойчивые слухи, что на великого князя Николая Николаевича готовится покушение.

- Вот что, милый господин, - обратился я, в присутствии графини Браницкой и других лиц, к "больному", - вы совсем не офицер.

- Странное дело! Какой-то священник говорит офицеру, что он не офицер, - с раздражением ответил он и повернулся лицом к стене.

После этого я поручил санитарам постеречь этого молодца, чтобы он не убежал, пока.

комендант не пришлет допросить его. Через час наш "больной" был допрошен и оказался здоровехоньким нижним чином, дезертировавшим с фронта.

Летом 1916 года мне сообщили, что на днях исполняется 75-тилетие священнической службы протоиерея Могилевской епархии о. Савинича, состоявшего священником в отстоявшем в 10 верстах от Могилева селе {131} и благочинным округа. Протоиерей Савинич был рукоположен в священники к церкви этого села архиепископом Смарагдом в 1841 году, и с того времени не изменил этому месту, никогда не имел помощника при себе. Теперь при нем хозяйничала внучка. Других родных при нем не было.

В разговоре с Государем я упомянул об этом редком юбилеере, заметив, что хорошо было бы отметить юбилей какою-либо редкою наградой.

- Чем же наградить его? - спросил Государь.

- Митрою, - ответил я. - Такая награда на всё духовенство произведет большое впечатление, ибо из сельских священников никто ее не имеет.

- А я имею право так наградить его? Не обидится преосв. Константин (Могилевский архиепископ) - опять спросил Государь.

- Если преосвященный Константин ничего не будет иметь против такой награды, вызовите о. протоиерея, чтобы я мог послушать его службу.

Как я и ожидал, архиепископ Константин очень обрадовался желанию Государя отличить старца-юбилеера. Последнему было послано извещение, что в субботу он должен явиться к 6 ч. вечера в штабную церковь, для служения всенощной в присутствии Государя.

В 5 1/2 ч. вечера, в субботу, о. Савинич уже был в церкви и расспрашивал об особенностях служения при царе.

Я думал, что увижу дряхлого, еле передвигающегося старца. Меня встретил бодрый, живой, чрезвычайно подвижной и говорливый старик, выглядевший не более, как на 60-65 лет, Я опасался, что он растеряется в присутствии царя. Ничуть! Он служил своеобразно, но уверенно и смело, будто он всегда тут служил.

По окончании службы Государь сказал мне, чтобы я пригласил к нему на левый клирос о. протоиерея.

{132} Тут говорливость и смелость старика совсем меня удивили. Он не давал Государю сказать слова, а всё время говорил сам: когда он начал службу, как служил, чего достиг и т. д. Государь слушал внимательно и терпеливо. Беседа длилась более 20 минут.

В конце ее Государь поздравил старца пожалованием митры.

- Ну и лихой старик! Он мне не дал и слова сказать, - шутливо сказал мне Государь, когда мы после всенощной обедали во Дворце.

- Вы уж, ваше величество, извините его: увидев вас, он хотел излить всю свою душу, - заметил я.

- Еще бы! Нет, я очень рад, что увидел этого старика и помолился на его службе, - добавил Государь.

Дня через два в витрине одной из Могилевских фотографий на главной улице красовалась кабинетного размера карточка: наш старец сидел в кресле, положив левую руку на стоявший около кресла круглый столик, а на столике красовалась митра.

{135}

VI

Полтора года в Св. Синоде

В моих мемуарах оказался бы большой пробел, если бы я не уделил несколько строк воспоминаниям о Св. Синоде, в состав которого я входил в 1915-1917 г.

Как я уже говорил, в октябре 1915 года мне было высочайше поведено присутствовать в Св. Синоде. С этого времени, до половины апреля 1917г., я ежемесячно выезжал из Ставки в Петроград на заседания Св. Синода, и таким образом имел полную возможность наблюдать и характер, и направление синодальной работы того времени. Мои воспоминания о Св. Синоде скорее огорчат, чем порадуют того, кто на бывший высший орган управления

Русскою Православной Церковью, Св. Синод, смотрел, как на своего рода святилище.

Я сам с детства воспитан в глубоком уважении к святительскому сану вообще, и к Св. Синоду, как сонму святителей, в особенности. Свое назначение присутствовать в Синоде я принял с трепетом и в залу синодальных заседаний вошел с благоговением. Но в своих воспоминаниях я должен писать то, что было, а не то, чего не было, и руководствоваться древним изречением: "amicus Plato, sed magis amica veritas". (Платон - друг мне, но еще более дорога мне истина).

В утешение же тех, кто может огорчиться, я скажу, что, во-первых, сила Божия никогда не умаляется от немощи человеческой, а, во-вторых, - мои воспоминания относятся к наиболее печальному периоду истории Синода, когда конъюнктура складывавшихся в государстве событий требовала от Синода особой мощи и силы, а Св. Синод {136} в своем составе, особенно в лице своих старших членов - митрополитов, голос которых имел наибольшее значение, как и в лице обер-прокурора, отличался беспримерною бесцветностью и слабостью.

Нельзя, впрочем, не признать, что в самой структуре Св. Синода было нечто, обрекавшее его на слабость и, в известном отношении, бездеятельность. В Синоде не было хозяина, не было ответственного лица, которое бы чувствовало, что оно именно должно вести церковный корабль, и что на него прежде всего ляжет ответственность, если этот корабль пойдет по неверному пути.

Во главе Св. Синода номинально стоял Первоприсутствовавший, почти всегда - Петербургский митрополит (В истории Синода, кажется, было всего два случая исключения из этого правила: с конца 1898 г. по 1900 г. Первоприсутствующим состоял Киевский митрополит Иоанникий, а с 1916 по 1917 г. Киевский митрополит Владимир.). В Петербургские митрополиты, - их назначал Государь по докладу обер-прокурора, - всегда назначались люди покладистые, спокойные, часто безынициативные, иногда беспринципные. Митрополиты Платон и Филарет Московские, Иоанникий Киевский, архиепископы: Херсонские - Иннокентий и Дмитрий (Ковальницкий), Харьковский - Амвросий, Литовский - Алексей и многие другие, блиставшие своими дарованиями, энергией и инициативой, не могли попасть на Петербургскую кафедру, в то время, как в наши дни, - не будем говорить о ранних, - ее занимали: Палладий, Питирим... Митрополит Антоний попал в Петербургские митрополиты только потому, что, при многих блестящих дарованиях его ума и сердца, он отличался обидной безынициативностью и слишком большой покладистостью.

Такая система выбора и назначения Петербургских митрополитов не была случайной: она вызывалась {137} существом всего синодального строя. Вообще роль Синода в делах церковного управления была какой-то урезанной, половинчатой. Св. Синод рассматривал дела, предлагавшиеся ему обер-прокурором. Это, конечно, не исключало инициативы синодальных членов в возбуждении новых вопросов, но решения Синода получали силу лишь после высочайшего утверждения. Докладчиком же у царя по этим вопросам всегда бывал обер-прокурор, от которого зависело то или иное освещение их. Таким образом, Св. Синоду принадлежало право суждения: обер-прокурору же принадлежали инициатива и завершение дела. Обер-прокурор мог задержать любое, поступившее в Синод дело, как всегда мог повлиять на Государя, чтобы любое постановление Синода не было утверждено. Св. Синод и обер-прокурор стояли друг перед другом, как две силы, отношения между которыми были в высшей степени странными. Обер-прокурор с радостью отказался бы от Синода и без него повел бы все церковные дела, но он должен был пользоваться Синодом, как традиционной машиной, как учреждением, которому, по церковному сознанию и государственным законам, принадлежало право вершения церковных дел. Св. Синод с радостью отказался бы от обер-прокурора, если бы это было в его власти. История связала воедино Синод и обер-прокурора - две силы, отталкивавшиеся друг от друга и фактически мешавшие друг другу, и поддерживала этот противоестественный союз на протяжении двухсот лет. При таком положении дела, спокойный, покладистый, безынициативный первенствующий был необходим для избежания всяких шероховатостей и трений, какие

могли возникнуть на почве всевластия обер-прокурора, с одной стороны, и канонических прав Св. Синода, с другой.

Первенствующий член Св. Синода председательствовал на заседаниях Св. Синода, руководил прениями, мог влиять на исход их, мог возбуждать новые {138} вопросы, - последнего права не были лишены и все прочие члены Св. Синода. Этим дело и ограничивалось. Всё прочее зависело, частью, от его авторитета и героизма, а главным образом, от отношений к нему обер-прокурора и царя. До царя, впрочем, почти всем первенствующим было далеко...

Даже состоявшееся в феврале 1916 года высочайшее повеление о предоставлении первенствующему права лично делать царю доклады по важнейшим делам не изменило дела: митрополит Владимир, как первенствующий, по-прежнему остался далеким от царя и, кажется, ни разу не воспользовался предоставленным ему правом.

Первенствующий, таким образом, не был хозяином в церкви. Фактически во всё вмешивавшийся и всем распоряжавшийся в церкви, обер-прокурор также не мог считаться хозяином. На хозяйничанье его никто не уполномочивал и хозяином его никто не мог признать. Он мог всё разрушить, что бы ни создавал Синод, но не мог ничего создать без Синода, или не прикрываясь авторитетом Синода. Так и жила Церковь без ответственного хозяина, без единой направляющей воли.

Св. Синод состоял из членов и присутствующих. Звание первых принадлежало всегда трем митрополитам: Петербургскому, Московскому и Киевскому. Иногда же оно, как награда, давалось заслуженнейшим архиепископам. В 1915 г., кроме митрополитов и экзарха Грузии, звание членов Св. Синода имели архиепископы Сергей Финляндский, Антоний Харьковский и Никон Вологодский.

Из постоянных членов митрополит Петербургский беспрерывно заседал в Синоде, Московский и Киевский митрополиты обычно вызывались на зимние сессии, а прочие члены - в зависимости от благоволения к ним обер-прокурора. Присутствующими в Св. Синоде назывались прочие архиереи и протопресвитеры, назначавшиеся {139} высочайшими указами в Синод в начале каждой новой сессии (летняя сессия Синода начиналась с 1 июня, зимняя с 1 ноября). Увольнение одних и назначение других делались без какого-либо порядка и последовательности, всецело завися от усмотрения обер-прокурора, который сам и намечал, и представлял Государю кандидатов для новой сессии Синода.

В отношении чинопочитания даже военная среда не могла конкурировать с архиерейской. Хотя и митрополит, и самый последний vicar в своих благодатных правах совершенно равны, однако, даже архиепископы смиренно держали себя пред митрополитами, уступая их голосам решающую роль. Значение митрополитов в Синоде поэтому было огромным. От их голосов прежде всего зависело то или иное направление дела. Их значение еще тем усиливалось, что они каждый год заседали в Синоде, когда прочие члены беспрестанно менялись и вылетали из Синода, не успев осмотреться кругом и привыкнуть к ходу дел.

В конце 1915 года в Синоде заседали митрополиты Киевский Владимир, Московский Макарий и Петербургский Питирим. За первым и после перемещения его в Киев было сохранено звание первоприсутствующего. За всё время существования Синода едва ли когда-либо так неудачно был представлен наш митрополитет, как в данное время. Ни один из этих трех митрополитов не соответствовал ни переживаемому времени, ни месту, которое он занимал. Лучшим из трех был, конечно, митрополит Владимир. В нем было много такого, что делало его настоящим святителем.

Его нельзя было не уважать за его благоговейность, благочестие, искренность, прямолинейность, простоту и доступность. В молодые годы на своей первой самостоятельной кафедре - Самарской - он слыл за праведника и пользовался огромной любовью паствы. Останься он провинциальным архиереем, он не оставил бы желать ничего лучшего. Но случай {140} поднял его на головокружительную высоту. Читатели, наверное, очень удивятся, если я сообщу им, что митрополит Владимир обязан своим возвышением

знаменитому юристу, члену Государственного Совета А. Ф. Кони.

Я расскажу то, что слышал из уст самого А. Ф. Кони. Последний, кажется, в 1892 году был, по высочайшему повелению, командирован в Самару по поводу происшедших там холерных беспорядков. Зайдя в воскресенье в кафедральный собор, Анатолий Федорович был приятно удивлен и благолепным служением, совершавшимся молодым архиереем, и прекрасной проповедью, сказанной последним. Вернувшись в Петербург, он полетел к всеильному тогда К. П. Победоносцеву, своему бывшему профессору, а теперь другу, чтобы высказать недоумение, как можно держать такого выдающегося архиерея на какой-то захолустной кафедре. Последствием беседы Кони с Победоносцевым было то, что вскоре молодой, всего год и восемь месяцев прослуживший на самостоятельной кафедре епископ Владимир был назначен на первую после митрополий, экзаршескую кафедру на Кавказе, с возведением в сан архиепископа.

Через некоторое время Кони пришлось быть в Тифлисе. Зная, что тут святительствует его протеже, А. Ф. Кони в праздник направился в Сионский Собор, чтобы еще раз послушать блестящего проповедника. Но на этот раз архиепископ Владимир окончательно разочаровал своего покровителя, сказав крайне неудачную, какую-то сумбурную проповедь. С ним и после это случалось, ибо он часто рабски повторял чужие проповеди, причем, беспримерно неудачно выбирал их.

Вспоминаю следующий случай. Совершалась закладка придворной церкви в Павловске (близ Петрограда). Служил митр. Владимир, я сослужил ему. На закладке присутствовало множество народа и вел. кн. Константин Константинович со всей свитой. Перед положением камня митрополит разразился длиннейшим словом. "Мы приступаем теперь к {141} величайшему делу, - начал он, - к постройке величественного храма. Мы исполняем священный долг наш. Отныне никто не посмеет укорять нас: "вы живете в доме кедровом, а ковчег завета стоит у вас под шатром; вы наряжены в златотканые одежды, а священнослужители совершают божественную службу в убогих одеяниях; вы едите и пьете из золотых и серебряных сосудов, а величайшее таинство совершается в деревянных" и т. д. Я слушал с удивлением: откуда всё сие? В Павловске уже имелось несколько великолепных, богатейших церквей. Начал я вспоминать проповедническую литературу. Вернувшись домой, ухватился за проповеди архиепископа Амвросия (Харьковского) и там нашел проповедь при освящении одной сельской церкви, близ богатого имения. Митрополит Владимир дословно, столь неудачно, повторил ее в Павловске.

Разочаровавшись сам, Кони не решился разочаровывать и К. Победоносцева. Занятая же архиепископом Владимиром кафедра открывала ему прямой путь в митрополиты. Вскоре он и занял Московскую митрополию.

Старческие годы ослабили умственные способности митр. Владимира. В описываемое время он отличался большой рассеянностью, соображал медленно, часто путал, многое забывал. Вспоминается такой случай. В 1913 г. в лейб-гвардии Конно-артилл. бригаде произошло чрезвычайное по тому времени событие. Солдат этой бригады, несколько раз наказанный за дурное поведение, вернувшись пьяным из города, начал расстреливать свое начальство: ранил вахмистра и убил наповал офицера Кологривова. А потом сам застрелился.

Главнокомандующий Петербургским военным округом вел. князь Николай Николаевич, заподозрив в этом преступлении политическую подкладку, поручил командиру Гвардейского корпуса ген. Безобразову самому расследовать дело, а мне - посетить бригаду и успокоить нижних чинов. Я побывал в бригаде, побеседовал {142} с собранными нижними чинами. Из беседы выяснилось, что никакой политической подкладки событие не имело, что нижние чины возмущены дикой расправой, учиненной их товарищем, и скорбят о смерти любимого офицера. То же показало и расследование ген. Безобразова.

Но командиру бригады ген. Орановскому хотелось свести на нет преступление, представив убийцу невменяемым. И вот он явился ко мне с просьбой: разрешить похоронить убийцу по христианскому обряду, так как он совершил преступление в припадке

сумасшествия. Церковные законы запрещают погребать по христианскому обряду самоубийц. А так как этот самоубийца был кроме того убийцей - убийцей своего неповинного начальника, то я решительно отказал генералу в его просьбе. Генерал, однако, продолжал настаивать. И после того, как энергичные настаивания его не склонили меня, он обратился ко мне:

- А если митрополит разрешит, вы ничего не будете иметь против?

- Митрополит не может разрешить, - ответил я.

Генерал уехал. "А вдруг генерал обратится к митрополиту и тот разрешит... Тогда создастся неловкое положение: протопресвитер запрещает, митрополит разрешает"... - явилась у меня мысль. Я бросился к телефону:

- Может ли митрополит принять меня сейчас же? Весьма спешное дело...

Секретарь митрополита ответил:

- Митрополит собирается в Синод. Спешите! Я сейчас доложу о вашем приезде.

Приезжаю. Рассказываю митрополиту Владимиру сжато, но обстоятельно о происшествии:

- Там-то, тогда-то распущенный, несколько раз за проступки наказанный солдат, вернувшись из города в пьяном виде, начал расстреливать свое начальство... и т. д. Теперь вопрос: как его хоронить? Командир {143} бригады просил у меня разрешения похоронить самоубийцу по христианскому обряду. Я отказал ему, т. к. самоубийца не был сумасшедшим и перед самоубийством совершил два преступления: ранил вахмистра и убил своего начальника, прекрасного офицера. Получив отказ у меня, командир бригады может обратиться к вам. Я покорнейше прошу вас также отказать генералу.

Митрополит слушал меня внимательно. По окончании моего рассказа задумался, а потом спросил:

- Так кто же кого убил? Офицер солдата или солдат офицера?

- Офицер Кологривов убит и уже похоронен. Убийца - солдат, он совершил два и даже, если хотите, три преступления: восстание против власти, убийство и самоубийство. Поэтому я считаю, что его нельзя хоронить по христианскому обряду, - ответил я.

- Значит, офицер убил солдата, - обратился ко мне митрополит.

- Да нет же, владыка! Солдат убил офицера, - уже с досадой сказал я.

- Так вы хотите, чтобы убитого не отпевали? Я всё же не пойму: офицер застрелил пьяного солдата? - опять обратился ко мне митрополит.

- Владыка! Убийца, преступник - солдат; жертва - убитый офицер. Я вас очень прошу: если генерал Орановский явится к вам с просьбой, - откажите ему, - чуть не с отчаянием ответил я.

- Хорошо, хорошо! - согласился митрополит.

Я уехал, совсем не уверенный, что митрополит уразумел дело.

Впрочем, генерал Орановский к митрополиту не обращался.

В некоторых вопросах митр. Владимир проявлял {144} крайнюю односторонность и нетерпимость. Всё это вместе взятое делало его никуда негодным председателем, чаще запутывавшим вопросы, чем помогавшим уяснению их. В синоде, где он председательствовал, дело разбиралось, шли споры, а мысли председателя были заняты совсем другим, и все рассуждения и споры проходили мимо его ушей...

А его чрезмерный консерватизм отрезывал всякие пути к проведению каких бы то ни было церковных реформ. Я уже говорил о своей попытке установить порядок служб для военных церквей. Теперь расскажу другой случай. На одном из вечерних заседаний Синода я повел речь о необходимости скорейшего преобразования наших духовных семинарий, и в образовательном и в воспитательном отношениях не отвечающих своему назначению.

- Сам учился в семинарии, а говорит так о ней, - крайне недовольным тоном заметил митрополит Владимир и затем прервал рассуждения по возбужденному мною вопросу. В 1915 году к митрополиту Владимиру прибыла группа священников, членов Государственной Думы, с прот. А. В. Смирновым, профессором богословия в СПб Университете, во главе.

Группа эта предварительно подготовила почву в Думе для благополучного разрешения вопроса о лучшем материальном обеспечении белого духовенства и теперь обратилась к митрополиту, как первенствующему в Синоде, с просьбою, чтобы Синод со своей стороны сделал шаги к ускорению дела. Митрополит Владимир сын священника и сам был священником. Казалось бы, что он должен был знать, что нищенское существование значительной части белого духовенства являлось огромным тормозом для исполнения им своей великой задачи. Но... митрополит, получавший теперь при всем готовом, начиная от дворца Лаврского, кончая каретой, несколько десятков тысяч рублей в год, не понял теперь, какова может быть жизнь семейного Костромского или Новгородского {145} священника годовой бюджет которого колеблется между 300-800 рублей.

- Зачем духовенству большое казенное содержание? Мой отец от казны не получал ни гроша и был отличным священником, - ответил митрополит депутации.

- Как зачем? Да затем, чтобы священник не протягивал руки за каким-либо пятаком или гривенником, чтобы избавить наших священников от необходимости принимать эти унижительные подачки, - воскликнул один из священников.

- А что же тут унижительного? Извозчик, когда вы ему платите, протягивает же руку, - не нашел ничего лучшего, что бы сказать в ответ митрополит.

Священники уехали от него с возмущением.

Таков был митрополит Владимир. В душе он был несравненно лучшим, чем он казался по внешнему виду. Надо было очень близко стать к нему, чтобы разглядеть его добрую и отзывчивую душу. Без этого же он скорее разочаровывал, чем очаровывал. В общем же, как исполнитель, он еще мог сойти, но в творцы он не годился.

Московский митрополит Макарий в 1915 году начинал девятый десяток лет (родился 1 окт. 1835 г.). Маленький, худой, благообразный старичок - он внешним видом очень напоминал знаменитого Филарета, хотя в других отношениях был диаметрально противоположен ему. Образования он был небольшого - семинарского. Славу себе стяжал на миссионерском поприще в Алтае и, благодаря этой славе, подкрепленной, как сообщали знающие люди, протекцией Распутина, вырос в Московского митрополита. Насколько алтайская слава митрополита Макария отвечала действительным его заслугам, не решаюсь судить. В Сибири мне не раз рассказывали, что там мало-мальски достойные, не {146} попавшие ни разу под церковный суд священники награждались чуть ли не каждый год, так как, за множеством подсудных, некого было награждать.

Может быть, это явление было присуще и миссионерской среде. Но чем бы ни был раньше митрополит Макарий, в настоящее время он заседать еще был способен, но судить уже ни о чем не мог. Его деятельность в Москве выражалась лишь в том, что он очень благолепно совершал богослужения и вел беседы, пригодные для малых детей или старушек его возраста. Епархией же правили другие. Митрополит во время деловых докладов своих подчиненных иногда засыпал и докладчики, не смея нарушить мирный сон владыки, уходили от него ни с чем. Любимым его развлечением, которым он пользовался чуть ли не каждый день, было слушать пение мальчиками его хора религиозных стихов об Алтае.

В Синоде митрополит Макарий всегда молчал и безропотно принимал все решения. Обидно и больно бывало смотреть на него, когда в его присутствии Синод проваливал одно за другим его представления, а он не находил ни одного слова, чтобы защитить самого себя.

Царское Село смотрело на митрополита Макария, как на святого. А злые языки упорно твердили, что московский святитель в крепкой дружбе с знаменитым "старцем".

После всего сказанного в предыдущих главах о митрополите Питириме остается лишь добавить несколько слов об его председательствовании летом 1916 года в Синоде.

С занятием митрополитом Питиримом председательского кресла в Синоде водворился особый порядок. Каждое заседание начиналось докладом председателя по делам, касающимся его епархии, или иным, в которых он был заинтересован. При докладе этом председатель проявлял большую говорливость, энергию и {147} настойчивость. Потом уже докладывались прочие дела, выслушивавшиеся председателем молчаливо, апатично,

небрежно. Хитрость, двоедушие, своекорыстие и честолюбие были отличительными качествами этого митрополита. С такими митрополитами не мог Синод далеко уйти. О каких тут церковных реформах можно было думать, когда заседания по самым пустым вопросам получали иногда комический характер. Докладывают однажды дело о награждении иеромонаха Антония Булатовича (Антоний Булатович, - бывший Царскосельский гусар, потом Афонский иеромонах, известный вождь имябожников) орденом Св. Владимира 3 ст. с мечами. Дело это было прислано мне командующим одной из наших армий, а я представил его на усмотрение Св. Синода.

- Как Антония Булатовича? Это вы приняли его в армию? - вспыхив, обратился ко мне митрополит Владимир.

- Я Булатовича не принимал. Он прибыл на фронт с одной из земских организаций, назначенный каким-то епархиальным начальством, - ответил я.

- Кто же мог его назначить? - спросил митрополит Владимир.

- Он назначен Московским митрополитом, - заявил обер-прокурор Волжин, подошедши к синодальному столу.

- Московским митрополитом?.. Нет, я не назначал... Я не назначал, залепетал митрополит Макарий.

Волжин приказал управляющему синодальной канцелярией принести дело о Булатовиче. Когда дело было принесено, обер-прокурор, развернув, поднес его митрополиту Макарию: "Видите, владыка, ваша резолюция о назначении иеромонаха Антония в земский отряд, отправляющийся на театр военных действий".

{148} - Да, это как будто мой почерк, мой почерк... Не помню, однако, - лепетал митрополит.

- Видите ли, дело было так, - продолжал обер-прокурор. - Митрополит Макарий не хотел назначить иеромонаха Антония, тогда организация обратилась к обер-прокурору Саблеру, и тот известил митрополита Макария вот этим письмом (Волжин указал на пришитое к делу письмо Саблера), что первенствующий член Синода митрополит Владимир ничего не имеет против назначения Булатовича в армию... Теперь уже митрополиту Владимиру пришлось удивляться...

Дело с нашими митрополитами становилось еще более безнадежным вследствие отсутствия какой бы то ни было солидарности между ними. Митрополит Владимир питал и при всяком случае открыто выражал свою антипатию к митрополиту Питириму. Митрополит Питирим, видимо для всех, подкапывался под митрополита Владимира. При решении дел в Синоде несогласие между этими двумя митрополитами было хроническим. По всем вопросам они неизменно расходились: митрополит Владимир всегда возражал митрополиту Питириму и наоборот. Митрополит Макарий занимал как будто нейтральное положение, но его игнорировали оба другие митрополита, учитывая его безнадежную беспомощность.

За полтора года моего присутствия в Синоде, в течение трех сессий в нем перебивало много членов-архиепископов и епископов. Среди них были весьма достойные, как твердый, неподкупный, прямой и умный Новгородский епископ Арсений, лучший наш богослов архиепископ Финляндский Сергей, осторожный и чистый архиепископ Литовский Тихон, безгранично прямой и открытый епископ Рязанский Димитрий. К ним же я должен отнести и прямого, иногда до резкости, честного придворного протопр. А. А. Дернова.

Были сознававшие {149} необходимость реформ и рвавшие к ним, как архиепископ Тверской Серафим. Были и недостойные, как хитрый, беспринципный прожектер архиеп. Василий (Черниговский). Архиепископ Василий, магистр богословия, мог производить большое впечатление на мало знавших его. Высокого роста, красивый, умный и красноречивый, ловкий и вкрадчивый, он останавливал на себе внимание. К сожалению, он страдал многими недостатками: большим честолюбием, неразборчивостью в средствах; склад его ума был более коммерческий, чем духовный.

Увидев, что митрополит Питирим *persona grata* в Царском Селе, он сразу примкнул к нему. Уверяли, что он знался с Гришкой. Чтобы прославить свое имя, он купил знаменитый

Ляличский дворец, ранее бывший резиденцией Екатерининского вельможи графа Завадовского, а теперь пустовавший, чтобы устроить в нем женское духовное училище своего имени. На покупку и приведение в порядок дворца потребовались огромные средства. Откуда было взять их? Черниговская епархия очень бедная. "Мудрый" епископ нашел источник. Он все назначения и все награды в епархии обложил данью: за набедренник взималось 10-15 руб., за скуфью больше, за камилавку еще больше и так далее. За сан протоиерея приходилось уплачивать что-то около 500 р. То же было с назначениями на места и с переводами из одного прихода в другой. В 1914 г. на этой почве епископ однажды жестоко промахнулся. Из Курской епархии в этом году прибыл в Чернигов какой-то диакон и обратился к епископу Василию с просьбой посвятить его в сан священника. Епископ Василий запросил 800 р. Поторговавшись, сошлись на 600 р. Епископ Василий послал запрос Курскому архиепископу, без согласия которого он не мог ни принять этого диакона в свою епархию, ни посвятить его в священники. А сам, не дождавшись ответа, возвел этого диакона в иерейский сан. Посвящение состоялось в церкви монастыря. И вдруг после {150} посвящения он получает от грозного Курского архиепископа ответ, что упомянутый дьякон скорее подлежит извержению из сана, чем возведению в священники. Что было делать? Епископ Василий и тут нашел выход: призвав новопосвященного, он повелел ему: "Забудь, что ты посвящен в иереи, продолжай служить дьяконом!"

Об этом казусе докладывалось Синоду. Синод не дал хода криминальному делу.

Был в Синоде наивный, всегда заискивающий перед митрополитами, соглашавшийся с каждым из них даже тогда, когда они высказывали диаметрально противоположные взгляды, епископ Нафанаил (Архангельский). Епископ Нафанаил, кроме благообразия, ничем иным не отличался. Ума он был совсем небольшого, а покладистости совсем недостойной. Почти всегда приходилось наблюдать неприятную картину: говорит митрополит Владимир, епископ Нафанаил подает реплику: "Я с вами совершенно согласен!". После митрополита Владимира, как всегда, выступает митрополит Питирим, отстаивая совершенно противоположную точку зрения. Епископ Нафанаил и этому твердит: "Я с вами совершенно согласен!" Я однажды не выдержал и обратился к нему: "Но, в конце концов, с которым же из двух митрополитов вы согласны?" Епископ только сердито взглянул на меня.

При инертности, неподвижности, близорукости и розни старших митрополитов прочие члены были беспомощны, чтобы достичь в синодальной работе чего-либо путного. Кроме того, рознь между митрополитами простерлась и на прочих членов. Архиепископ Арсений, живший в Лавре в комнате, стеной лишь отделенной от кабинета митрополита Питирима, за полтора года ни разу, как я уже говорил, не побывал у последнего, ибо питал к нему полное отвращение, как к распутинцу и вообще непорядочному человеку. Протопресвитер {151} Дернов и я держались такой же тактики в отношении митрополита Питирима. Архиепископы Тихон и Сергей более осторожно сторонились его. Другие члены, напротив, зная об его престиже в Царском Селе, заискивали перед ним. Члены Синода раскололись на распутинцев антираспутинцев и нейтральных. Атмосфера недоверия царила в Синоде. Члены Синода подозревали и боялись друг друга. И походил наш Синод на тот воз, который везли лебедь, рак и щука.

Скажу теперь о деловой работе Св. Синода.

Заседания происходили по понедельникам, средам и пятницам от 11 до 1 ч. дня. В экстренных случаях назначались заседания и в другие дни, иногда в вечерние часы. Домой члены Синода обычно никаких дел с собой не брали и ими дома не занимались. Поступавшие в Синод дела предварительно переваривались в синодальной канцелярии и уже в переваренном виде докладывались секретарями и обер-секретарями этой канцелярии на заседаниях Синоду.

На заседания члены Синода прибывали без лент, но обязательно со звездами на груди и занимали по старшинству места по обеим сторонам длинного стола, стоявшего против портрета Государя, перпендикулярно к внутренней стене, посреди огромного продолговатого зала.

Центральное, высокое с короной кресло под царским портретом, как предназначенное для Государя, всегда оставалось незанятым. Обер-прокурор со своим товарищем садились за столом, стоявшим около задней стены; управляющий синодальной канцелярией и его помощник - за другим столом, недалеко от входа в зал. Докладчик становился на кафедру у самого синодального стола против портрета Государя. Как обер-прокурор, так и прочие чины являлись на заседание обязательно в мундирах со старшими орденами и при звездах, у кого они были. Словом, внешняя сторона {152} синодальных заседаний в отношении благолепия и торжественности не оставляла желать ничего лучшего. Дело, вероятно, не пострадало бы, если б этой торжественности было немного и меньше.

Деловая же сторона синодальных заседаний была куда слабее. Невольно вспоминаю заседания нашего маленького учреждения - Временного Высшего Церковного Управления на юго-востоке России, сформированного на Ставропольском Поместном Соборе в мае 1919 г. (В. Ц. У. составляли: председатель - Донской архиепископ Митрофан, члены: Таврический архиепископ Димитрий и Ростовский епископ Арсений, протоиерей Г. Шавельский, проф. протопресвитер А. П. Рождественский, проф. Ростовского университета П. В. Верховский и граф В. В. Мусин-Пушкин.).

Мы собирались ежемесячно на три-четыре дня. Но не проходило ни одной из этих маленьких сессий, чтобы кто-либо из членов не выступил с серьезным докладом по какому-либо принципиальному вопросу. За 8 месяцев своего существования это В. Ц. У. приняло целый ряд серьезных, принципиальных решений по разным вопросам церковной жизни, касавшимся богослужения, проповеди, приходской жизни, переустройства учебного и воспитательного дела в наших семинариях и пр. К сожалению, вследствие занятия большевиками юга России, мероприятия эти остались не проведенными в жизнь. Может быть, некоторые из этих мероприятий нуждались в исправлениях и дополнениях, но они свидетельствовали, что В. Ц. У. интересовалось жизнью, хотело идти навстречу ей, хотело обновлять обветшавшее и оживлять омертвевшее. Ничего подобного нельзя было заметить в деятельности Св. Синода. "Спят довольни", - вот какой фразой можно охарактеризовать тогдашнее настроение синодальной коллегии. Слепленные блеском сиявших на груди звезд, убаюканные сытостью и великолепием своих кафедр, усыпленные {153} окружавшими их лестью и низкопоклонством, одни из синодальных членов страшились заглянуть на изнанку жизни с ее плесенью, затхлостью и гнилью, а другие просто ленились пошевелить мозгами.

Жизнь кипела и бурлила, события зрели и развивались, церковное дело ждало оживления, с одной стороны, врачевания с другой, а синодальная коллегия держала себя, как уверенная в бесконечности своего благополучия. Только обеспокоенный этим Тверской архиепископ Серафим от времени до времени напоминал о необходимости скорейшего разрешения шумевшего тогда и в обществе, и в Государственной Думе приходского вопроса. Ни от кого из других синодальных членов за эти полтора года мне не пришлось услышать ни одного заявления о других назревших серьезных церковных вопросах.

Только какой-либо разразившийся скандал, вроде Тобольского, нарушал синодальную тишину, а то заседания Синода проходили чинно и спокойно, хотя настолько же скучно и однообразно. На каждом заседании перед взорами синодальных членов проносился поток текущих дел, о которых члены Синода узнавали впервые со слов и в освещении докладчиков. Тут были дела об увольнении и назначениях, о пособиях и пожертвованиях, о наказаниях и наградах, о покупках и продажах... а главное - о разводах. Ох, уж эти бракоразводные дела! Теперь страшно вспомнить, что обсуждение и решение прелюбодейных дел отнимало столько времени у высшего органа управления Церковью. Да, бракоразводные дела фактически занимали у Синода большую часть его заседаний!

В дореволюционное время существовал, на мой взгляд, странный, ненужный и бесцельный порядок, по которому решительно все консисторские бракоразводные дела поступали на утверждение Св. Синода. В 1916 году на одном из синодальных заседаний я как-то заметил: Брак совершается одним священником, ужель не могут {154} расторгнуть его архиерей с консисторией? Зачем Синоду заниматься этими грязными делами? Мне

отвечали:

- Иначе нельзя...

В некоторых епархиях в то время число бракоразводных дел достигало до тысячи в год. С каждым годом число их прогрессировало. Можно теперь представить: в какой массе они из шестидесяти семи российских епархий доходили до Св. Синода. Правда, большинство бракоразводных дел решались канцелярией Синода, что также нельзя было не признать возмутительным и противоестественным. Архиерей с консисторией не могут аннулировать таинства, а синодальные чиновники аннулируют его! Члены Синода лишь утверждали такие решения своими подписями. Но бесконечное множество их приходилось выслушивать и самому Синоду.

Обыкновенно бракоразводным делам посвящалась вторая, иногда большая часть синодального заседания. Вообще все бракоразводные доклады были омерзительны и недостойны священных стен Синода, но они становились сугубо омерзительными, когда в роли докладчика выступал один из младших секретарей канцелярии Св. Синода, совсем молодой кандидат СПб Духовной Академии Екшурский. Крохотного роста, с облезлым, свидетельствовавшим о беспутной жизни черепом, с похотливым блеском глаз, он пискливым, бабьим голосом, смакуя и любуясь, подчеркивая самые пошлые моменты описываемых обстоятельств дела, начинал выкладывать все нужные и ненужные его подробности.

- Дело по обвинению такою-то своего мужа в супружеской неверности, обращался он с самодовольным видом к членам Синода, как бы говоря: "Хорошую штучку я вам сейчас расскажу!"

И затем, погружаясь сам и погружая Синод во все мерзостные подробности дела, докладчик окидывал в {155} конце самодовольным взором членов Синода, как бы вопрошая: хорошо, мол, доложил.

Одни из членов Синода сидели потупив глаза; другие смущенно или лукаво улыбались, иные иногда позволяли себе даже остроты и шутки...

Все знали, что большинство свидетелей подкуплено, что ложью, клятвопреступничеством и обманом окутаны эти дела. И всё же, Синод тратил на них большую часть своего времени, выслушивал всю эту грязь, которая должна была бы проходить подальше от его взора и мимо его ушей; судил, рядил и даже иногда думал, что он делает тут свое настоящее дело. Так и плыл Св. Синод, больше купаясь в бракоразводной грязи, чем устраивая церковное дело.

Думаю, что в прежнее время Св. Синод, когда его возглавляли митрополиты Иоанникий Киевский, Антоний Петербургский, был значительно иным. Я изобразил его таким, каким он был в последнее, наиболее опасное и ответственное время. Но в общем, в течение последнего столетия перед революцией, Св. Синод не оправдал своего назначения быть мудрым кормчим русской духовной жизни.

Я взял именно этот период потому, что, после освобождения крестьян от крепостной зависимости, началась новая эра духовной жизни многомиллионного русского народа, а не одной только сотой его части - интеллигенции, потребовавшая мудрой попечительности, проникновенной прозорливости и просвещенного руководства со стороны "стражей дома Израилева".

Рост народного сознания, а одновременно с этим и духовных запросов подымался не по годам, а по дням. Быстро росли промышленность, торговля, росло и ширилось народное образование, подымалось и материальное благосостояние народа. Одновременно с этим, со всех сторон протягивались руки, чтобы захватить проснувшиеся русские умы, неудовлетворенные в своих {156} духовных запросах русские души. Достаточно вспомнить массу развившихся на Руси за это время всевозможных сект, чтобы представить, сколько таких чужих рук протягивалось к православной русской душе. Чтобы парализовать такие посягательства, с одной стороны, чтобы ответить на проснувшиеся духовные запросы, с другой, чтобы, словом, не оказаться позади времени и вне действительности, Церковь

должна была в эту пору небывалого духовного роста страны мобилизовать все свои силы и использовать все находившиеся в ее распоряжении средства. Направляющий же ее орган, Св. Синод, должен был проявить в это время большое творчество мысли и широту размаха в работе.

В то же время только незнакомый с русской православной церковной жизнью может думать, что за последние десятилетия она не сделала никакого шагу вперед? Перелом в церковном деле в последнее время произошел, и перелом - очень большой. Я помню еще время, когда во всех почти сельских церквях одиноко гнусавили дьячки, когда хоры в этих церквях были редкостью, о которой кричали всюду; когда батюшки в храмах или хронически молчали, или перечитывали в назидание своим пасомым печатные листки; когда всё служение священника ограничивалось совершением богослужений в храме и треб по домам. А в последние перед революцией годы едва ли находились на Руси храмы, где бы ни раздавалось хоровое пение; устная проповедь вслед за богослужением стала обычным и даже обязательным явлением. Появились тысячи разных церковных братств и обществ, иногда, как Петербургское Александро-Невское общество трезвости, насчитывавших десятки тысяч членов.

Явились особые типы пастырей - общественных деятелей в борьбе с пьянством, босячеством, с детской распущенностью и пр. и пр. Но все эти светлые явления церковной жизни своим развитием обязаны были вдохновению, инициативе отдельных выдающихся лиц и {157} преимущественно из среды белого духовенства. При оценке же деятельности Синода, к прискорбию, приходится больше говорить о минусах, чем о плюсах его работы.

Надо заметить, что русская Церковь перед революцией располагала обилием и материальных средств, и духовных сил. Правда, бродившие в обществе рассказы о чуть ли не миллиардных золотых запасах наших Лавр и других монастырей были значительно преувеличены. Но если принять во внимание всю массу церковных и особенно монастырских движимых и недвижимых достояний, то нельзя не признать, что Церковь обладала огромнейшими средствами, которые могла широко использовать для культурно-просветительных и благотворительных целей. Нельзя сказать, чтобы эти средства никогда широко не тратились.

Наши митрополиты и архиепископы, пользуясь всем готовым для жизни, получали жалованья с доходами по 30, 40, 50 и даже, как Киевский митрополит, до 100 тысяч рублей в год. Некоторые монастыри утопали в сытости и довольстве. Но для целей высоких часто не находилось денег. Наши духовные академики до последних дней влачили нищенское существование. И ни один из митрополитов не задумался над такого рода ненормальностью, что ординарный профессор Академии, иногда, как Болотов, Глубоковский, Катанский - европейская знаменитость, получал три тысячи рублей в год, без квартиры и квартирных, а псаломщик соседней с Академией столичной церкви имел почти четырехтысячный годовой доход и роскошную готовую квартиру; иеромонах Александро-Невской Лавры при готовом столе и квартире - свыше 2 тысяч руб. в год; сам же одинокий митрополит получал десятки тысяч. Экстраординарные профессора получали по 2 тысячи руб. в год, а доценты 1.200 р. с вычетом, квартир не полагалось. Таким образом, наши духовные профессора volens-nolens проходили обет нищеты. Академиям отпускались крохи на издание ученых сочинений, на {158} приобретение книг и почти ничего не давалось на ученые командировки. Профессора академий были обескровливаемы нищетой, не оставлявшею их, если они не устраивались как-либо иначе, до самой смерти; безденежье обрезывало у Академий крылья для научного полета.

То же надо сказать и о просветительной и благотворительной деятельности Церкви вообще, исходившей от инициативы Синода и епархиальных властей. При Синоде существовало издательство Училищного совета, в Троицко-Сергиевской и Киево-Печерской Лаврах, в Лавре Почаевской и еще кое-где издавались листки и брошюры. Но всё это было слишком ничтожно в сравнении с тем, что должно было и что могло быть. В расходовании сумм на подобные высокие, огромного значения для Церкви, цели Св. Синод проявлял

какую-то осторожность и как будто скупость, которые становились сугубо непонятными и странными при проявлявшейся им в других случаях огромной щедрости. Вспоминаю, такой случай. На повестке одного из синодальных заседаний 1916 г. стояло дело об изыскании средств на увеличение содержания трех Сибирских архиереев - Иркутского, Тобольского и Томского, слабее других обеспеченных. Против необходимости лучше обеспечить этих архиереев никто из членов Синода на заседании не возразил. Задумались лишь, откуда изыскать средства. Архиепископ Новгородский Арсений дал совет: взять полтора миллиона рублей из капитала Перервинского монастыря (Моск. еп.) и из процентов от этих полутора миллионов выдавать указанным архиереям дополнительное содержание. Никто не возразил ни слова.

О, если бы эти полтора миллиона рублей, - а их можно было бы по крайней мере удесятерить, взяв из нескольких монастырей! - были бы употреблены на духовно-научные и просветительные цели!

Можно было бы без конца говорить на тему о неиспользовании Синодом находившихся в его власти {159} церковных богатств. И тем тяжелее думать об этом, что печальный опыт прошлого едва ли можно будет использовать в будущем, так как едва ли когда-либо русская церковь будет иметь столько богатств, сколько она имела в канувшее в вечность время.

Чуть ли ни еще большую нераспорядительность и бесхозяйственность проявил Синод в использовании духовных сил, и невольно напрашиваются следующие вопросы:

1. Много ли содействовал Св. Синод развитию и работе научных богословских сил и использовал ли их для решения живых, современных научно-богословских вопросов?

2. Много ли заботливости проявлял Синод о наших рассадниках пастырей, духовных школах, чтобы в их стенах воспитывались самоотверженные, вдохновенные и просвещенные служители Церкви?

3. Много ли делалось Синодом для поддержки, усовершенствования и объединения уже трудящихся на ниве Христовой пастырей?

4. Много ли заботливости проявлялось Синодом о просвещении врученного ему пастыреначальником стада и вообще об усовершенствовании христианской жизни?

Я мог бы поставить и ряд других вопросов. Но думаю, что и высказанного достаточно. С грустью надо признать, что синодальная работа была далека от идеала. Она отличалась узостью, вялостью, безынициативностью и безжизненностью. "Текущие" дела поглощали всю энергию Синода. Синод тащился на буксире жизни и никогда не опережал ее. Неудивительно, что для всякой мало-мальски живой души синодальная машина казалась устаревшей.

Если искать причин этого безусловно тяжелого для {160} нашей Церкви явления, то, как на одну из самых главных, надо указать на особенность нашего епископата.

И в своих благодатных, и в своих административных правах епископ стоит неизмеримо выше священника.

Епископ - Владыка, священник - его "послушник", т. е. исполнитель его указаний и приказаний. Казалось бы, что для должного соответствия епископ обязан возвышаться над подчиненными ему священниками и в умственном, и в нравственном отношениях. Не касаясь личностей, должен решительно заявить, что в последнее время, - о более раннем периоде не говорю, - наше белое духовенство блистало большими талантами, дарованиями, выдающимися деятелями, чем наш епископат. К этому привело самое положение дела, ибо епископского звания достигали не выделившиеся своими дарованиями, проявившие способность к церковному управлению и творчеству священники и верующие, но лишь одна категория служителей Церкви - "ученые" монахи.

В древности епископа выбирала вся Церковь, не считаясь ни с званием, ни с состоянием кандидата, а лишь с его способностью понести великое, ожидающее его бремя. Нектарий, архиепископ Константинопольский, Амвросий Медиоланский были избраны на епископские кафедры, еще будучи язычниками. У нас же дело обстояло совсем по-иному:

чтобы стать епископом, надо было захотеть епископского сана и затем проторенной дорогой пойти к нему. Надо было студенту Духовной Академии или кандидату богословия принять монашество, сделаться "ученым" монахом, и этим актом архиерейство ему обеспечивалось. Только исключительные неудачники или абсолютно ни на что непригодные экземпляры - и то не всегда! - могли в своем расчете потерпеть фиаско. Поэтому, исключения бывали редки; в общем же, "ученый" монах и будущий архиерей в прежнее время у нас были синонимами.

Если бы у нас прежде, чем постричь того или иного {161} кандидата в "ученые" монахи, сначала испытывали, - обладает ли он нужными качествами и дарованиями для чистого жития и высшего звания, и затем постригали бы, лишь уверившись в несомненных достоинствах будущего архиерея; если бы, с другой стороны, постриженного затем серьезнейшим и тщательнейшим образом подготовляли и воспитывали для предстоящего ему высокого служения, то, несомненно, что наше так называемое "ученое монашество" не стало бы тем загрязненным источником, которым в последнее время можно было пользоваться лишь с большим разбором и осторожностью. Но горе нашей Церкви было в том, что в последние 40 лет о необходимости того и другого у нас как будто совсем забыли. Более того, - у нас в это время создалось особое направление, устремившееся всеми способами и средствами расширять институт "ученого" монашества. Началось пострижение, как говорится, направо и налево, без толку и разбору. Часто постригали, совершенно не обращая внимания на подготовленность постригаемого, на чистоту его намерений, не считаясь с его нравственными качествами. Стремилась только к тому, чтобы постричь, и не задумывались над тем, что из этого пострига выйдет. Результат такой системы не мог быть иным, как только плачевным. Численно разросшийся институт "ученого" монашества переполнился всевозможными честолюбцами.

Кто хоть немного следил за нашей церковной жизнью, тот знает, что своим печальным расцветом такое направление обязано знаменитому во многих и положительных, и отрицательных отношениях Антонию (Храповицкому), бывшему митрополиту Киевскому.

Обогативший нашу богословскую литературу многими ценными исследованиями, в то же время высказавший немало положений, с которыми не могут согласиться ни здравая богословская мысль, ни верующее сердце, митрополит Антоний давным давно усвоил положение,

что "самый худший чернец лучше самого лучшего бельца", и что "пострижение в монашество - таинство, творящее сверхчудеса, самое немощное - врачующее и оскудевающее сверх всякой меры - восполняющее".

Сделавшись в 1890 г. ректором Академии, когда ему было всего 27 лет, и скорбя об оскудении ученого монашества, он принялся стричь направо и налево, не считаясь ни с возрастом, ни с дарованиями, ни с настроением, ни с прошлым, ни с настоящим студента. Скороспелость пострижению часто давала о себе знать. Постриженники Антония, студенты Казанской духовной академии: монах Пахомий, увлекшись подвигом умерщвления плоти, выжег себе на свечке глаза; талантливый иеромонах Тарасий, отчаявшись, покончил самоубийством; некоторые сняли сан и монашество; другие, не снимая того и другого, распоясались вовсю, оправдывая свои похождения разными софизмами, вроде: это не блуд, а удовлетворение плоти; монаху нельзя любить, ибо это было бы изменой Богу; удовлетворять же плоть - это естественная потребность и т. д.

Оригинально, что указанное направление разрослось в пору обер-прокурорства всесильного К. П. Победоносцева. Можно подумать, что К. П. был сторонником такого направления. Ничего подобного!

Близко стоявший к Победоносцеву, тайный советник, директор канцелярии обер-прокурора Св. Синода Виктор Ив. Яцкевич рассказывал мне, что Победоносцев, тонко разбиравшийся в людях и явлениях, с ужасом смотрел на размножение "ученого" монашества и не раз повторял: "Ох, уж эти монахи! Погубят они Церковь!" К большинству ученых монахов он относился в лучшем случае - с недоверием, в худшем - с пренебрежением и даже с презрением. Естественно возникает вопрос: как же К. П. Победоносцев не поставил

границ, своей всеильной рукой не остановил явления, которому он не сочувствовал?

Для знавших К. П. ответ на этот вопрос был ясен.

{163} К. П. Победоносцев был оригинальной личностью, не замечавшей своих противоречий.

Выдающийся ученый юрист, человек огромного государственного ума, необыкновенной эрудиции и убийственного анализа, создавших ему славу всеразрушающего оппонента и в Совете Министров, и в Государственном Совете, К. П. Победоносцев своим острым умом сразу проникал в глубь явления, замечал его слабые стороны, прозревал могущие произойти от него последствия. Но, чтобы решительной рукой остановить оказавшееся негодным и опасным и вместо него создать новое, лучшее, - для этого у него часто недоставало творческого синтеза или воли, - вернее, того и другого.

И он примирялся со злом и даже своей пассивностью попустительствовал тому, что сам отрицал. В данном же случае ему приходилось бороться не только с самым явлением, но и с постоянным натиском его ближайшего сотрудника, товарища обер-прокурора Св. Синода, Саблера, постоянного покровителя и безудержного и ловкого защитника "ученого" монашества. И К. П. Победоносцев уклонился от борьбы, оставив за собой роль стороннего наблюдателя и беспощадного критика. Но одной критики было недостаточно, чтобы остановить всё более разраставшееся явление.

Вернемся опять к митрополиту Антонию.

Если митрополит Антоний влиял на многих ореолом своего авторитета и обаянием своей личности, в которых ему в прежнее время нельзя было отказать, то его менее разумные и менее обаятельные подражатели действовали проще и грубее. Вот несколько фактических примеров:

В 1903 или 1904 году один студент Петербургской Духовной Академии (Померанцев), по успехам слабый, по натуре подлый, по поведению развратный, был уличен в какой-то сверх-ординарной гадости. Студенты {164} выбросили его кровать из своей спальни, отказавшись иметь с ним что-либо общее. Факт в студенческой жизни беспрецедентный. Померанцев бросился к ректору: что делать? "Принимайте монашество!", - был ответ ректора. В 1906 г. этот Померанцев, с именем Иерофея, был архимандритом, ректором семинарии. Сейчас он - архиереем - живоцерковным митрополитом.

В 90-х годах прошлого столетия, однажды зимою, под вечер, в саду Московской Духовной Академии гуляли инспектор Академии, архимандрит, и студент Академии, честный и способный юноша. Архимандрит убеждал юношу постричься в монахи. Юноша упорно отказывался.

- Ох вы! Не понимаете, от чего отказываетесь! Окончите вы Академию, пойдете на службу... Что ожидает вас? До смерти будете ходить в подбитом ветром пальто. А посмотрите-ка на меня!

Я еще молодой человек и не архиерей, а вот вам!

И о. архимандрит отвернул полу своей новой богатой хорьковой рясы.

Однажды, поднявшись по лестнице на площадку, второго этажа богатого обер-прокурорского дома на Литейном, куда я был приглашен на концерт, я встретил разговаривавших ректора Петербургской Духовной Академии, епископа Анастасия (Александрова) и студента этой Академии, П. Д. Шуваева, б. офицера лейб-гвардии Финляндского полка, сына военного министра.

- Помогите мне уговорить его постричься в монахи! - обратился ко мне, здороваясь, епископ Анастасий. - Да идите же вы, Петр Дмитриевич, в монахи. У меня уже и митра для вас приготовлена, - вдруг, не дождавись моего ответа, обратился он к Шуваеву.

Гвардейский офицер, к тому же сын высокопоставленного генерала, не потерял голову от посуленной ему митры. Но какое впечатление могло произвести {165} подобное предложение на сына какого-нибудь дьячка или дьякона, до поступления в Академию мечтавшего, как об особенном счастье, о сане священника, а на митру смотревшего, как на венец славы!

В IV веке, по поводу устремления в клир разных недостойных лиц, Св. Григорий Великий иронически восклицал: - Никто не останавливайся вдали от священства: земледелец ли, или плотник, или зверолов, или кузнец, - никто не ищи себе другого вождя, т. е. пастыря над собой! Лучше властвовать, т. е. священствовать, чем покоряться властвующему. Брось из рук, кто большую секиру, кто рукоять плуга, кто мехи, кто дрова, кто щипцы, и всякий иди сюда: все теснитесь около Божественной трапезы!

Что сказал бы Великий учитель Церкви нашим постригателям, которые постригали всякого студента, не исключая бездарных, развратных, преступных, движимых на этот путь одним лишь своекорыстием и славолубием, - хотя и знали они, что, постригая, они предназначают постригаемых к служению в высшем архиерейском звании?

Можно с уверенностью сказать, что в прежнее время даже самые неразумные господа с большей осторожностью выбирали себе лакеев, горничных, кухарок, чем в Церкви нашей избирали будущих архипастырей, святителей, кормчих великого церковного корабля. Там обращали внимание на аттестацию, на знания, на умение, на характер, на внешний вид, - тут требовалось только одно - согласие постричься; тут постригали и тем самым ставили в число кандидатов на епископское звание каждого, кто либо поддавался убеждениям монахофилов-совратителей, либо, учтя все безграничные выгоды епископского положения, сам заявлял о своем желании приобщиться к "ангельскому чину". Ревность постригателей часто доходила до безрассудства, которое граничило с {166} кощунством, когда постригали еще не проспавшихся алкоголиков, явно опустившихся бездельников, или определенно преступных типов, наивно думая, или лицемерно себя и других убеждая, что благодать монашества всё исцелит и исправит. Что это было именно так, можно было бы подтвердить множеством примеров. Укажу один.

В 1911 г. в ведомстве Протопресвитера военного и морского духовенства возникло громкое и сложное дело о протоиерее 19-го Архангелогородского драгунского полка Анатолии Замараеве по обвинению его в длинном ряде самых грубых подлогов при совершении браков. Тут были подчистки документов, взлом печатей, подделка подписей, повенчания состоящих в браке или в самом близком родстве, похищение чужой книги розысков. Сам Замараев, кандидат Московской Духовной Академии, представлял в это время тип совершенно опустившегося человека. Дело, вследствие сложности и серьезности преступлений, попало в руки прокурора Гражданского Суда. Жестокая кара висела над головой Замараева. Не растерявшись, последний, однако, нашел выход. Явившись к архиепископу Антонию, впоследствии Киевскому митрополиту, он заявил о своем желании принять пострижение.

Тот, конечно, немедленно постриг Замараева, а вслед за этим Замарев был возведен в сан архимандрита и назначен на должность смотрителя одного из духовных училищ Олонецкой епархии. Как и Иерофей, он сейчас живоцерковный митрополит. Останься Замараев в белом духовенстве, - он был бы расстрижен и, наверное, если не сослан на каторгу, то посажен в тюрьму. Принял монашество - сразу стал архимандритом.

Такая сумбурная, с точки зрения здравого смысла совершенно необъяснимая система вербовки кандидатов архиерейства, была бы все же не столь губительной, если бы она не соединялась с полной бессистемностью в {167} отношении дальнейшей подготовки их к намеченному для них великому служению.

Гении рождаются веками, у обыкновенных же людей мудрость вырабатывается выучкой, опытом, трудом, под руководством опытных и мудрых начальников и воспитателей. Сначала школа учебная, потом школа служебная. Для правильного развития субъекта ему, как в той, так и в другой, не позволяют шагать через три-четыре класса. Такие азбучные истины помнились у нас везде, только не в монашестве. Эта, якобы сверх всякой меры наделенная божественной благодатью, каста стояла вне всяких законов человеческой логики, порядка и жизни.

Талантливые, блестяще закончившие курс Академий, честные и чистые светские студенты назначались преподавателями духовных училищ и семинарий; инспекторские и

смотрительские должности представляли для них мечту, которая часто не сбывалась до самой их смерти. "Ученые" же монахи, сплошь и рядом самые слабые по успехам в науках, сразу занимали места инспекторов семинарий, смотрителей духовных училищ, через два-три года становились ректорами семинарий, настоятелями богатых монастырей. Это тоже была одна из нелепостей, когда не проходившему никакого послушания, даже не жившему в монастырях, чуждому монашеского духа и уклада, "ученому" монаху поручалось управление монастырем. А еще через 8-10 лет уже святительски благословляли не только своих честных и талантливых товарищей, но и своих семинарских учителей и академических профессоров.

На протяжении всего своего, наружно почетного, духовно убогого жития "ученый" монах - инспектор, ректор, настоятель монастыря, наконец, владыка - только властвовал. У нас не хотели как будто понять, что, дабы уметь властвовать, надо научиться подчиняться, и что властвовать не значит управлять.

Упоенный так легко давшейся ему важностью своей {168} особы, оторванный от жизни, свысока смотрящий и на своих товарищей и на прочих обыкновенных людей, "ученый" монах несся вверх по иерархической лестнице со стремительностью, не дававшей ему возможности опомниться, осмотреться и чему-либо научиться.

Такая "система" окончательно портила и коверкала характеры, развращала и уродовала "ученых" монахов. Если ученый монах был способен и талантлив, у него сплошь и рядом развивалось всезнайство, гордость, не знавшее пределов самомнение, деспотизм и тому подобные качества. Если он был благочестив и склонен к монашеской жизни, - что, надо заметить, не часто встречалось, то он либо терял чистое свое настроение и смирение, обращаясь иногда в насильника и деспота, либо обращался в безвольного, чуждого действительной жизни, ее запросов и интересов, манекена у власти, которым управляли и играли другие, - его приближенные, почти всегда разные нахалы и проходимцы. И то, и другое можно было бы иллюстрировать длинным рядом живых примеров. Но *nomina sunt odiosa*. Лишенные же особых дарований и не стяжавшие благочестия, ученые монахи, под влиянием такой системы, превращались в спесивых самодуров, тупых, упивавшихся собственным величием, бездельников, плохих актеров, горе-администраторов и т. д., и т. д.

У нас, как ни в одной из других православных церквей, епископское служение и вся жизнь епископа были обставлены особенным величием, пышностью и торжественностью. В этом, несомненно, проглядывала серьезная цель возвысить престиж епископа и его служения. Несомненно также, что пышность и торжественность всей архиерейской обстановки неразумными ревнителями величия владычного сана, - с одной стороны, самими честолюбивыми и славолюбивыми владыками, - с другой, у нас - часто доводились до абсурда, до полного извращения самой идеи епископского служения.

{169} Они делали наших владык похожими на самых изнеженных и избалованных барынь, которые спать любят на мягком, есть нежное и сладкое, одеваться в шелковистое и пышное, ездить - непременно в каретах. Как бы для большего сходства, у некоторых из наших владык их домашними врачами были акушеры. Внешний блеск и величие часто скрывали от толпы духовное убожество носителя высшего священного сана, но компенсировать его не могли. Мишура всегда останется мишурой, как бы ни подделывали ее под золото. И один наружный блеск внешней обстановки епископского служения не мог дать того, что требуется от настоящего епископа. Рано или поздно подделка разоблачалась, если не людьми, то делом, - фетиш не мог заменить чудотворной иконы... В конце же концов, жестоко страдала из-за нее Церковь.

Внешне величественная обстановка епископского служения, в связи с легкостью получения права на епископство - всего лишь через принятие монашества - и со всей последующей головокружительной карьерой, менее всего способствовала развитию в кандидате епископства того смирения, которое должно отличать "раба Христова"; напротив, она укрепляла в нем мысль, что он не то, что другие. Владычная же, по существу, бывшая неограниченной, власть, - с одной стороны, раболепство, лесть и низкопоклонство, окружавшие владыку, - с другой, развивали в нем самомнение и самоуверенность, часто

граничившие с непогрешимостью. Наконец, сыпавшиеся на владык ордена и отличия, а также практиковавшаяся только в Русской церкви, строго осужденная церковными канонами (См. 14 Апост. прав., 16 и 21 Антиох. соб., 15 Никейского, 1 и 2 Сардик. соб., 48 Карф. соб. См. толкование Зонара и Аристина на 14 апост. прав.), система непрерывных перебрасываний владык с беднейших кафедр, на более {170} богатые - в награду, и наоборот - в наказание, расплодили в святительстве совершенно неведомые в других православных церквях карьеризм и искательство.

Ничем иным, как только последними двумя качествами, я объясняю следующее, обнаружившееся в минувшую войну явление. В октябре или ноябре 1914 г. я получил предложение Св. Синода, подкрепленное соизволением Государя, назначить в действующую армию, на одно из священнических мест, викария Московской епархии епископа Трифона (кн. Туркестанова). Предложение было слишком необычно, но мне пришлось исполнить его. Я назначил епископа Трифона священником сначала в полк, а потом к штабу 7-й армии. Это, по всей вероятности, был первый случай, что, в возглавляемом протопресвитером военно-духовном ведомстве, место рядового священника занял епископ. Вскоре затем я получил новое предложение Синода, также базировавшееся на соизволении Государя, предоставить Таврическому архиепископу Димитрию место судового священника в Черноморском флоте.

Пришлось и архиепископа сделать подчиненным мне священником, назначив его на один из кораблей. И архиепископ Димитрий и епископ Трифон держались в отношении меня весьма покорно и корректно. Первый даже в сношениях со мной подписывался, помнится, "нижайший послушник". Всё же создавшееся, до очевидности антиканоническое, положение меня тогда очень смущало, хотя оно не смутило ни Синод, повелевший мне принять архиепископа Димитрия и епископа Трифона на службу в своем ведомстве, ни самих этих епископов, добровольно ставших в подчиненное ко мне положение.

Заслуживает внимания, что этот же архиепископ Димитрий в 1918 году с достойным лучшего применения рвением принялся в печати доказывать необходимость приведения военно-духовного ведомства к канонической норме посредством замены протопресвитера епископом.

{171} Если относительно епископа Трифона и архиепископа Димитрия, в особенности относительно первого, еще можно было гадать, что именно побудило их бросаться, оставив свои епархии, в ведомство пропотресвитера, то дальше дело стало совсем открытым. Как только запахло крупными наградами, - епископ Трифон скоро получил панагию на георгиевской ленте, а архиепископ Димитрий какой-то высокий орден, - в армию потянулись еще несколько епископов и среди них, в своем роде, "знаменитый" искатель приключений архиепископ Владимир Путята.

Извещенный об этом, я решил положить конец начавшему распространяться уродливому явлению. Посоветовавшись предварительно с кн. В. Н. Орловым, я в июне 1915 г. испросил себе у Государя особую аудиенцию, на которой чистосердечно изложил ему свой взгляд. - Назначение епископов в армию на священнические места, - докладывал я, - является антиканоничным по существу, а для дела скорее вредным, чем полезным. Хорошие епископы нужны для епархии, плохие епископы не нужны для армии. Если епископы рвутся на фронт, желая послужить армии, то им надо объяснить, что тыл армии сейчас вся Россия и они, оставаясь на своих кафедрах, могут больше послужить для армии, чем на священнических местах на фронте.

Я просил Государя положить конец назначениям епископов в мое ведомство. Государь согласился с моими доводами, и больше епископов мне не предлагали.

В конце концов, в предреволюционное время наш епископат в значительной своей части представлял коллекцию типов изуродованных, непригодных для работы, вредных для дела. Тут были искатели приключений и авантюристы, безграничные честолюбцы и славолюбцы, изнеженные и избалованные сибариты, жалкие прожектеры и торгаши, не знавшие удержу самодуры и деспоты, смиренные и "благочестивые" инквизиторы, или же

безличные и безвольные в руках своих келейников, {172} "мироносиц" и разных проходимцев, на них влиявших, пешки и т. д., и т. д. Каждый указанный тип имел в нашем епископате последнего времени по несколько представителей. Некоторые владыки "талантливо" совмещали в себе качества нескольких типов.

Имел наш епископат, конечно, и достойных представителей. Назову некоторых из них: наш Святейший Патриарх Тихон, Новгородский митрополит Арсений, Владимирский Сергей, Донской архиепископ Митрофан, Могилевский архиепископ Константин и многие другие были настоящими носителями архиерейского сана. Но и они, - думаю мне, - в своем архиерейском служении были бы еще значительно выше, если бы прошли серьезную школу и имели более счастливую архиерейскую коллегия.

Когда-нибудь настанет время, что и от воспитания церковных администраторов, и от всей системы церковного управления будут требовать, чтобы они отличались серьезностью, основательностью и научностью. Если усвоивший такой взгляд историк тогда заглянет в хартии наших дней и, красочно изобразив типы предреволюционных церковных управителей, представит картину предреволюционных методов, путей и средств владычного управления, то современники удивятся тому, как при всем хаосе в управлении могла так долго держаться Церковь, как могла наша Русь оставаться и великой, и святой.

Привыкшие к окружавшему нас строю и порядкам церковной жизни, с детства воспитанные в благоговейном преклонении перед владычным саном, мы и не замечали, что наши владыки, - об исключениях не говорю, - не правили своими епархиями, руководя их к доброму деланию и праведной жизни, а лишь "служили", т. е. совершали богослужения. Их великолепно обставленное, красивое, пышное и величественное богослужение приятно влияло на глаз, услаждало слух, затрагивало и сердце.

Но дальше... жизнь шла сама по себе, а владыка жил {173} сам по себе. Владыка жил во дворце, ездил в карете, его стол ломился от излишеств, а не только его пасомые, но и его ближайшие соратники-пастыри сплошь и рядом изнемогали под тяжестью нищеты и нужды. Владыка устраивал приемы просителей, гостей и посетителей, назначал и увольнял священнослужителей, перечитывал кипы консисторских дел, журналов и протоколов, и всё же он безгранично далек был и от своей паствы, и от своего клира: духовная жизнь епархии текла, как случалось; духовенство работало, как умело и как хотело. Владыка крепко стоял на страже настоящего status quo (Состояние, в котором развитие находилось до сих пор., равновесие - ldn-knigi), но забота о просветлении будущего, о чистоте церковного корабля редко беспокоила наших владык; понимание жизни и ее неотступных требований давалось немногим из них. Самая обстановка жизни владык, полная роскоши, сытости, довольства, а главное - неустанно курившегося перед ними фимиама, лести и низкопоклонства, разучивала их понимать жизнь.

В особенности, оторванность наших владык от жизни, полное непонимание ими последней сказались перед революцией. Тогда наш епископат, кроме отдельных, весьма немногих личностей, не отдавал себе отчета ни в грандиозности религиозных запросов народа, ни в серьезности и государственного, и церковного положения.

В самые последние дни пред революцией, когда со всех сторон собравшаяся гроза висела над домом, когда даже немые заговорили (Разумею резолюции Государственного Совета и Союза объединенного дворянства, в конце 1916 г.), - в Синоде царил покой кладбища.

Синодальные владыки с каким-то тупым равнодушием смотрели на развертывавшиеся с невероятной быстротой события и как будто совсем не подозревали, что гроза может разразиться не над государством только, но и над Церковью. Помню: с каким нетерпением ждал я начала новой зимней сессии {174} Синода 1916 года, наивно мечтая, что явятся в Синод новые люди, которые поймут всю серьезность положения и предпримут некоторые меры. Но вот 1 ноября эта сессия открылась. Вернувшись с заседания, я записал в этот день в своем дневнике: "Только что присутствовал на заседании новой сессии Св. Синода. В состав Синода вошли такие-то новые члены на место таких-то выбывших. Новые птицы, но...

старые песни. Просвета нет и не видно даже признаков приближения его. Жизнь идет вперед, предъявляя свои требования, выдвигая свои нужды, а Церковь продолжает задыхаться в мертвящих рамках византийско-монашеского производства. Реформы нужны Церкви. Но среди наших иерерхов не только нет человека, который смог бы провести их, - нет и такого, который понимал бы, что с ними надо до крайности спешить. Реформ не будет! А в таком случае революция церковная, - особенно если разразится революция государственная, - неминуема".

Традиционная оторванность от жизни и замкнутость наших владык делала их людьми "не от мира сего", не в смысле их надземности, отрешенности от дрязг этой жизни, а в смысле непонимания общечеловеческих интересов и явлений.

Вспоминаю такой случай. 25 октября 1917 г. государственная власть перешла в руки большевиков. Зловещие тучи сразу нависли над Церковью, ибо борьба с религией до искоренения ее являлась одним из главных пунктов большевистской программы. Вдруг, через день или два после 25 октября, поступает в Совет Церковного Собора предложение одного из митрополитов (Платона) : просить новую (большевистскую) власть немедленно передать Церкви для религиозно-просветительных целей все кремлевские дворцы и арсенал, тотчас очистив последний от находящихся в нем материалов.

Несуразность такого предложения была очевидна до осязаемости: 1) самая доброжелательная к Церкви {175} власть не отдала бы ей всех кремлевских дворцов, 2) в арсенале хранились материалы, накопившиеся со времени Иоанна Грозного и исчислявшиеся миллионами пудов, 3) в это самое время власти не располагали перевозочными средствами, чтобы доставить голодавшему населению столицы муку из стоявших на Московских товарных станциях вагонов. При таком положении дела самая любезная и попечительная о Церкви власть отказалась бы приняться за разгрузку арсенала, не вызывавшуюся никакой экстренностью. И всё же предложение митрополита было единогласно принято. Мне пришлось разъяснять несуразность решения, чтобы владыки взяли назад свои голоса.

Скудость во "святительстве", бывшая слишком заметной для каждого, кто знал наличный состав нашего епископата, служила одной из самых главных причин церковного застоя и всяких неурядиц в Церкви. Владыкам ведь принадлежала вся власть в Церкви. Миряне совсем были отстранены от церковного управления, белое духовенство лишь краем своих риз касалось его.

После всего сказанного сверлит мой мозг один вопрос: ужель из 150-миллионного верующего, талантливого русского народа нельзя было выбрать сто человек, которые воссева на епископские кафедры, засияли бы самыми светлыми лучами и христианской жизни и архипастырской мудрости? Иного, как положительного ответа на этот вопрос, не может быть. И тем яснее становятся те удивительные, непонятные, преступные небрежность, халатность, легкомыслие, с которыми относились у нас к выбору и к подготовке кормчих Церкви...

Люди, искренно любящие Церковь, ждут серьезных церковных реформ, отнюдь не реформации. А знающие действительные церковные недуги согласятся со мной, что самая первая церковная реформа должна коснуться нашего епископата.

{179}

VII

Поездка на Кавказский фронт

В течение всей войны я почти каждый месяц выезжал на фронт. Где только не побывал я! Проехал через всю Восточную Пруссию, объехал Варшавский район, побывал в Галиции, посетил не один раз наши крепости: Ковно, Гродно, Осовец, Новогеоргиевск, Брест-Литовск, Ивангород, порт Ревель, - словом, проехал вдоль почти всего фронта, исключая самой южной оконечности его. Чаще всего я выезжал к войскам Северного и Западного фронтов, боровшимся против немцев и, вследствие особенно тяжелых условий борьбы, всегда нуждавшимся в нравственной поддержке. На Кавказском же фронте, до октября 1916 года, я

ни разу не был. От поездки туда меня удерживали особые обстоятельства. Дело в том, что с отъездом на Кавказ вел. кн. Николая Николаевича мне, по завету самого же великого князя, приходилось с особой осторожностью относиться к всему, что могло возбудить подозрение в Государе касательно моей близости и моего тяготения к великому князю. А моя поездка на Кавказ легко могла быть истолкована, как поездка не к войскам, а к опальному, враждебному царице и будто бы опасному для царя великому князю.

Великий князь, всегда чутко и тонко разбиравшийся в обстановке, хотя и очень хотел увидеть меня, но до конца сентября 1916 г. ни разу, ни в одном письме не намекал мне о своем желании. Он понимал всю опасность такой поездки. К октябрю 1916 года острота отношений между царем и им сгладилась. За это же время успели рассеяться у Государя все подозрения и относительно {180} меня. Только теперь великий князь определенно высказал свое желание, чтобы я побывал на Кавказском фронте. "Кавказские войска стоят того, чтобы вы посетили их", - писал он мне в конце сентября 1916 г.

Получив письмо великого князя, я тотчас доложил Государю о своем желании отправиться на Кавказский фронт. Государь очень охотно разрешил мне поездку. Накануне отъезда, кажется, 5 октября поздно вечером (около 10 ч. в.) царь и царица приняли меня в вагоне. Я просидел у них около десяти минут. Царица снабдила меня большим запасом образков, евангелий и молитвенников для раздачи от ее имени офицерам и солдатам. Государь поручил мне "поклониться" великому князю и приветствовать войска. Царица ни словом не обмолвилась ни о великом князе, ни об его супруге.

Вечером 6 октября я отбыл из Могилева чрез Жлобин и Харьков на Кавказ, со мной выехал штабной священник Вл. Рыбаков.

В Харьков мы прибыли на другой день в 5 час. веч. и там должны были ждать отхода поезда до 12 час. ночи. Воспользовавшись такой задержкой, я поехал к архиепископу Антонию (Храповицкому), потом митрополиту Киевскому. У него в это время шло заседание, кажется, по церковно-училищным делам. Он тотчас оставил заседание, и мы с ним более часу провели в беседе о наших церковных и государственных делах. Хотя до этого времени мы с ним были очень мало знакомы, но наша беседа, как казалось мне, отличалась большой искренностью и задушевностью. Прощаясь, архиепископ Антоний дружески посоветовал мне быть осторожным с экзархом Платоном, который может злоупотребить моей чистосердечностью. Впоследствии мне не раз приходилось убеждаться в невероятном антагонизме; разделявшем этих двух иерархов.

От Харькова до Тифлиса мы ехали без задержек, но {181} с опозданием. Поезд наш должен был прибыть в Тифлис 11-го около 7 ч. вечера, а мы прибыли в 11 ч. вечера. Я был поражен множеством военных, выстроившихся на перроне вокзала. Оказалось, - по приказанию великого князя, встретить меня явились все чины огромного его штаба, с начальником штаба, ген. Л. М. Болховитиновым во главе, и все начальники частей. От самого великого князя прибыли: генерал-лейт. М. Е. Крупенский, барон Ф. Ф. Вольф и доктор Б. З. Малама.

Начальник штаба представил мне всех чинов, а генерал Крупенский передал мне привет великого князя и его желание, чтобы я остановился во дворце. С вокзала я отбыл в автомобиле великого князя с Крупенским, Вольфом и Маламой. Я был уверен, что великий князь лег спать, - шел 12-й час ночи. Мою уверенность разделил и ген. Крупенский, сообщивший мне, что великий князь, по предписанию врача, ложится не позже 10 ч. вечера. Мои спутники очень удивились, когда, подъезжая к дворцу, мы увидели, что весь он залит огнями. Не оставалось сомнения, что великий князь, по случаю моего приезда, нарушил предписанный ему режим и поджидает меня.

Я пишу эти строки, только что прочитав в газетах известие о кончине (Оно оказалось неверным. Однако, еще до выяснения этого в Софийском посольском храме была уже отслужена, по требованию публики, панихида.) великого князя. Читатель понимает, что я говорю о великом князе Николае Николаевиче. После того, как я узнал его, присмотрелся к нему, изучил его, для меня "великий князь Николай Николаевич" и просто "великий князь"

стали синонимами. До революции много у нас было великих князей, но ни к одному из носителей этого титула не шло так звание "великий князь", ни у одного из них оно не гармонировало так с внешностью, с внутренним укладом, с истинно великокняжеской {182} широтой натуры, как у Николая Николаевича. Он не был свободен от многих недостатков своей среды, положения, воспитания. Но зато у него было три огромных достоинства: он был рыцарь, большой патриот и, наконец, среди всех великих князей он выделялся государственным умом.

Последний раз я видел его с 6 по 13 ноября 1918 года, когда я гостил у него в Крыму, в Дюльбере. Тогда он только что, с очищением Крыма от большевиков, освободился от грозившей ему мученической смертью их опеки. Он жил почти изгнанником и нуждался в средствах. Но в то время, как большинство тогда и на происходящее, и на грядущее смотрело чрез призму собственного благополучия, великий князь Николай Николаевич на всё смотрел с одной точки зрения - любви к России, веры в Россию. Большинство тогда видели доброе только позади и мечтали только о возврате к старому; он же искал новых путей к счастью русского народа, не закрывал глаза на многие грехи, приведшие нас к катастрофе, и твердо верил в возможность новой, более широкой и более свободной русской жизни.

Несмотря на то, что в положении великого князя был один для его возраста непоправимый дефект, - у него не было наследника, - мне кажется, что ни на одном из великих князей так легко не сошлись бы самые разнородные партии, как на Николае Николаевиче, если бы пришлось выбирать царя для России. Все нутром чувствовали большие достоинства этого великого князя.

Но возвращаюсь к прерванному рассказу.

Войдя в вестибюль дворца, я увидел следующую картину. На площадке второго этажа, к которой вела из вестибюля чрезвычайно широкая, ступеней в пятьдесят, очень нарядная лестница, стоял великий князь с иконой Св. Нины, просветительницы Грузии, а рядом с ним, по обеим сторонам, великие княгини Анастасия и Милица {183} Николаевны и великий князь Петр Николаевич. Передав мне икону со словами приветствия, великий князь крепко обнял и расцеловал меня. Эта встреча еще раз показала мне, какая за время совместного служения нашего в Ставке тесная связь образовалась между нами, и как он ценил ту нравственную поддержку, которую я оказывал ему. Как только я поздоровался с великими княгинями и Петром Николаевичем, великий князь повел меня в отведенное для меня помещение. Там мы пробыли с ним наедине около десяти минут.

- Как Государь? - был первый вопрос великого князя.

- Его величество повелел мне передать вам его поклон, - ответил я.

- Больше ничего не говорил Государь? - спросил великий князь.

Своим отрицательным ответом, как мне показалось, я очень огорчил его. По-видимому, великий князь ожидал чего-то более серьезного и теплого, чем простой передачи поклона. В следующие дни, из разговоров с великим князем, я узнал, что между ним и Ставкой шли большие несогласия. Дело касалось главным образом Черноморского флота. Последний должен был действовать в полном согласии с войсками Кавказского фронта и в известной степени обслуживать этот фронт. Великий князь, может быть, и справедливо, поэтому, требовал, чтобы Черноморский флот был ему подчинен. Ставка не только упорно отказывала ему в этом, но даже иногда не исполняла и более скромных его просьб относительно отдельных действий этого флота. Подобные отказы великий князь принимал за личное оскорбление, в котором прежде всего обвинял ген. Алексеева, но не оправдывал и Государя.

После того, как я кратко ориентировал великого князя в положении дел, касавшихся, главным {184} образом, Государя и Ставки и интересовавших его, он повел меня в столовую, где для меня был сервирован ужин. Там нас ждали великие княгини и великий князь Петр Николаевич. Но мне было не до ужина: так встреча и беседа с великим князем растрогали меня.

В Тифлисе я пробыл два дня, посетив за это время несколько госпиталей и запасных воинских частей. Великий князь пользовался каждой минутой, чтобы провести со мною

время. Вследствие этого я не смог побывать почти ни у кого из своих знакомых в Тифлисе. И даже к экзарху Грузии, архиепископу Платону, я заехал всего один раз и то на короткое время.

Архиепископа Платона я раньше ни разу не видел, хотя заочно, по переписке, мы были достаточно знакомы. Встретившись теперь, мы вели беседу, главным образом, о церковных делах и в частности о предшественнике архиепископа Платона, о распутинствующем митрополите Питириме.

- Знаете, Г. И., чего бы я от всей души хотел? - вдруг обратился ко мне архиепископ Платон.

- Чего, Владыка? - спросил я.

- Чтобы вы стали Петербургским митрополитом, - ответил архиепископ Платон.

- Я к этому званию совсем не стремлюсь; уж лучше вам стать, - возразил я.

- Нет, нет, вы должны быть Петербургским митрополитом, а я... Киевским, - настаивал Платон.

Признаться, я тогда не особенно поверил искренности экзарха. В то время отношения между архиепископом Платоном и великим князем - наместником не оставляли желать ничего лучшего. Из своей близости к великому князю архиепископ Платон сумел извлечь большие для себя и своей епархии выгоды. Он выпросил у великого князя-наместника большой участок леса, устроил лесной {185} завод, поставивший огромное количество шпал и других материалов для армии. Не разрушь всё революция, архиепископ Платон обогатил бы свою бедную кафедру. На такие дела он был мастер первого сорта.

Великий князь в беседах со мной проявлял чрезвычайный интерес ко всему, происходящему в Ставке после его увольнения, касавшемуся личности Государя, взаимоотношений лиц, его окружающих, хода военных и государственных событий, влияния Распутина на царскую семью и на дела государственные и пр. Я, конечно, со всей искренностью отвечал на вопросы великого князя. Такой же искренностью и он отвечал мне, при оценке сложившейся в Ставке и Царском Селе обстановки.

- Положение наше катастрофическое; мы идем верными шагами к гибели. И она (Императрица) всему причиной, - так можно резюмировать тогдашние рассуждения великого князя. Несомненно, что он тогда не предвидел всех ужасающих размеров переживаемой нами катастрофы, но близость катастрофы для него была очевидна. И виновниками надвигавшегося несчастья он считал прежде всего царицу, которая упрямо и слепо вела государство к пропасти, а затем Государя, который слепо подчинялся влиянию своей властолюбивой жены. Сознание своего бессилия поправить дело еще более удручало его. Чувствовать и даже видеть, что величайшее несчастье можно предупредить, чувствовать в себе силы для этого и в то же время не иметь возможности пальцем двинуть для предупреждения надвигающейся беды, ибо нечто сильнее удерживает тебя, - это одно из самых тяжелых состояний человеческой души.

13 октября я с сопровождавшими меня священником Ставки о. Рыбаковым и главным священником Кавказского фронта прот. Кремьянским двинулся в путь. Начальник штаба дал нам такой маршрут: Каре, Сарыкамыш, Эрзерум, Эрзинджан, Трапезунд, Ризе и Батум. До Сарыка-мыша путь наш лежал по железной дороге; от {186} Сарыка-мыша до Трапезунда - на автомобиле, от Трапезунда до Батума - морем. Нам предстояло перерезать большую часть Вел. Армении.

Кто не восторгался красотами Кавказа - этими несравненными, переливающимися тысячей цветов горами, этими извивающимися, как огромные змеи, ущельями! Кто не удивлялся безудержной дикости, эксцентричности Кавказской природы, как и ее обитателей! Армения оригинальнее Кавказа, - в смысле дикости. Тут - то бесконечные, весной цветущие, а летом выжженные, голые, холмистые поля, то - высочайшие, такие же голые горы. Поля Армении навевают досадную скуку: едешь десятки, почти сотни верст и пред тобой всё один и тот же желтовато-серый, грязный ковер, - не видно ни одного деревца, ни одного кустика. Редко-редко встретишь селение, но и оно такого же цвета, как поверхность этого

необъятного поля; сразу его и не заметишь, - так оно теряется на общем ландшафте.

Украшение Армении - ее горы, с их крутыми обрывами, бездонными пропастями, ущельями, горными речками и ручьями. Особенно красивы обрывы на берегах рек. На протяжении почти восьмидесяти верст, - например, между Эрзерумом и Эрзинджаном, - вдоль правого берега реки Евфрата тянется высочайшая отвесная скала, по самому краю которой, прижимаясь к стене, вьется узкая, едва достаточная, чтобы разминуться двум подводам, гладкая как полотно дорога. Пробираясь по ней, вы всё время любуетесь бесподобной картиной: внизу глубоко-глубоко шумит и ревет бурный и стремительный Евфрат, бурля и пенясь. По левой стороне его тянутся, теряясь вдаль, горы, а впереди перед вами прорезанные рекой расступившиеся скалы, на которых то там, то сям мелькает беловатая полоска дороги. Вы как будто не едете, а скользите. Дорога всё время извивается, как змея, и почти никогда не отходит от пропасти, глубокой, почти бездонной. Нужен особенно опытный и искусный {187} шофер, чтобы вести автомобиль по такому опасному пути. Малейшая неосторожность, - и от катастрофы не застрахованы даже путешествующие на лошадях. На моих глазах недалеко от Эрзинджана запряженная тройкой повозка полетела в пропасть. Ямщик каким-то чудом уцелел, а лошади погибли. Рассказывали, что случаев катастрофы с повозками и грузовиками было очень много.

Ущелья гор бесподобны. Иногда едешь несколько верст и видишь по бокам только две отвесных, огромных скалы, а вверху тонкую голубую полосу неба.

Города Армении не часты и, как вообще все восточные города, грязны, неудобны, некультурны. Эрзинджан обращает на себя внимание: он - как оазис в пустыне: весь в зелени, в садах и виноградниках. Но и только... Рука человеческая и тут не проявила себя. Узкие восточные улицы, невзрачные дома, - то же, что и везде. Расположенный на восточной окраине Кадетский корпус, в архитектурном отношении не представляющий ничего особенного простое большое, довольно красивое здание, в европейском духе, - настолько выделяется среди всех прочих городских зданий, что кажется чуть ли не волшебным замком. Гораздо интереснее старик-Трапезунд, на высоком, спускающемся к Черному морю берегу. Дома стоят по склону уступами. Восточная архитектура, яркие краски, множество мечетей делают город очень красивым. Если смотреть на него с моря - почти волшебным. Но внутри и он грязен, запущен, некультурен. Бросаются в глаза неогороженные кладбища в самом центре города. Трапезунд богат древними христианскими святынями, среди которых выделяются два храма: Златоглавый - Богородицы и другой Архангела Михаила, - один из них служил усыпальницей Византийских императоров Комненов. По взятии Трапезунда нашими войсками, эти храмы, давным-давно обращенные в мечети, были отняты у "правоверных". Предполагалось реставрировать их и затем начать совершение {188} в них православных богослужений. Последующие события, однако, вернули их туркам.

Заняв Трапезунд, наши начали перекраивать город на свой лад. Я застал строительную горячку: уже срывали дома, окружавшие храм Златоглавой Богородицы и разделявшие тут площадь... для парадов. Положим, окружавшие этот чудный древний храм дома совершенно не гармонировали с храмом, но всё же требовавшая огромных трудов и затраты меньших средств перестройка города тогда меня бесконечно удивила. Время ли было в разгаре войны, в нескольких десятках верст от неприятеля и на неприятельской территории заниматься наведением красоты в чужом городе и на это тратить драгоценное время и огромные средства? Не знаю, был ли выполнен до конца план перестройки, но тогда адъютант коменданта говорил мне о нем, как об окончательно решенном деле.

Население Армении - главным образом армяне и греки. Первые тогда только что пережили невероятную трагедию. На допущенные армянами в начале войны жестокости в отношении турок последние ответили почти поголовным истреблением армян в Эрзинджане, Трапезунде и др. городах. Мне тогда называли определенную цифру истребленных армян - полтора миллиона.

Передавали при этом подробности ужасающих зверств. В Эрзинджане, например, турки сбросили со скалы в Евфрат сразу 5 тысяч человек-мужчин, женщин и детей. В

Трапезунде турки сотнями вывозили армян на шаландах в море и выбрасывали их в воду. Не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей. Схватив за ноги, последним размазывали головы о стену. Когда спросили одного турка, как он решается на такую жестокость в отношении невинного ребенка, он спокойно ответил: "Да из него же вышел бы армянин"... В Трапезунде еще были свежи следы погромов: все армянские дома стояли заколоченными, с перебитыми окнами, через которые виднелась {189} переломанная мебель, битая посуда и зеркала, изорванная на куски одежда и пр. Величественный армянский собор сиротливо стоял недостроенным. Из армян, кажется, никого не оставалось в городе. Но в то время, как армяне избивались поголовно, греки остались нетронутыми. Упорно тогда утверждали, что последние сильно поживились брошенным добром первых. Делали даже недобрые намеки на митрополита, В последнем я очень сомневаюсь. Могу здесь мимоходом заметить, что и солдаты, и офицеры наши одинаково недолюбливали и армян, и греков.

Во время поездки у меня было несколько встреч с греческим духовенством. В Эрзинджане я встретил местного священника.

Он поразил меня своим видом. Это был скорее нищий, чем пастырь. Грязный, нечесанный, в рваной одежде и в каких-то жалких опорках на босу ногу он производил самое тяжелое впечатление. Из разговора с ним я узнал, что никакого образования он не получил, что в Эрзинджане он обслуживает двадцать греческих семейств, которые за духовное окормление платят ему какие-то ничтожные крохи, дающие ему возможность лишь не умереть с голоду. Начальником своим он признавал Антиохийского патриарха и ему одному считал нужным подчиняться. Других посредствующих начальников у него не было. А так как Антиохийский патриарх не мог заглядывать в его приход и лично наблюдать за его деятельностью, то выходило, что он жил без всякого начальства. Я дал ему три рубля, которые он принял с нескрываемой радостью.

В Трапезунде я несколько раз виделся с Хрисанфом, митрополитом Трапезундским.

Когда я выезжал из Тифлиса, великий князь предупредил меня, что в Трапезунде я встречу с чрезвычайно интересным, образованным, умным и талантливым митрополитом Хрисанфом. Сам великий князь познакомился с ним незадолго перед тем при посещении Трапезунда.

{190} И тогда митрополит Хрисанф очаровал его своим умом, предупредительностью, находчивостью и... руссофильством. Я не мог не отнестись серьезно к рекомендации великого князя, но внутреннее чувство подсказывало мне, что я должен сам присмотреться к знаменитому митрополиту, чтобы составить о нем определенное мнение.

Комендантом Трапезунда в это время был военный инженер генерал Шварц, известный защитник крепости Ивангород. Подобно великому князю, он был в восторге от митрополита и при первой же встрече со мной начал превозносить его, как за большой ум и широкую образованность, так и за чрезвычайно сердечное отношение к русским. Это - особенность нас, русских. Другие победители предъявляют побежденным требования и приказывают, не считаясь с любезностью и предупредительностью. А мы и в роли победителей ждем любезности и расшаркиваемся за каждое проявление ее. Военные священники и большинство военных начальников, которых я встретил в Трапезунде, были совсем другого мнения о митрополите.

Первые рассказывали мне несколько случаев невнимательного отношения митрополита к духовным нуждам наших воинов, когда, например, он отказывал им в отводе церкви для совершения богослужений. Трапезундский гарнизонный благочинный с возмущением сообщил мне, что митрополит, совершая с нашим военным духовенством для наших войск литургию, запрещал поминовение нашего Св. Синода и только после решительного протеста со стороны благочинного разрешил упомянуть его. Военные начальники с неменьшим возмущением указывали, что во время пребывания немцев в Трапезунде немецкий штаб помещался в доме митрополита, а немецкие военные начальники пользовались особым благоволением последнего. Не могли примириться они и с той ролью, какую митрополит играл в отношении армян, - вернее, в отношении имущества, {191} оставшегося после

избитых и бежавших армян. Полученное митрополитом образование в одном из германских университетов давало еще один повод подозревать его в опасных для русских симпатиях к немцам. Словом, и священники, и начальники военные, - как я узнал из разговоров с ними, совсем не были убеждены, что митрополит Хрисанф - не германский шпион.

18 октября (ст. ст.) в 11 часов дня я посетил митрополита. Последний был предупрежден о моем прибытии и ждал меня. У дверей митрополичьего дома я был встречен весьма симпатичным, интеллигентным, прилично говорившим по-русски архидиаконом митрополита Кириллом, который приветствовал меня от имени митрополита и затем ввел в митрополичьи покои. В зале уже ждал меня митрополит в рясе и клобуке. После взаимного приветствия, он пригласил меня сесть рядом с собою на плотно приделанном к стене седалище, вроде нашей кушетки, в восточном углу комнаты. Вдали сели сопровождавший меня благочинный, мой спутник священник В. Рыбаков и архидиакон митрополита. Беседа наша носила сухо-официальный характер. Изредка мы пользовались услугами переводчика архидиакона, а больше понимали друг друга: он - мою русскую речь, я - его греческую. Достаточно наслушавшись диаметрально противоположных отзывов о митрополите, я теперь ловил каждое слово, каждый его взгляд, чтобы составить о нем свое мнение. Должен сознаться: митрополит произвел на меня огромное, хотя и не во всех отношениях симпатичное, впечатление. Читатель не посетует, если я, может быть, больше, чем он хотел бы, займусь митрополитом.

Митрополит Хрисанф - очень молодой человек для своего сана, - тогда ему было около 39 лет, - весьма красивой наружности: приятное, скорее русское, чем греческое лицо с окладистой, длинной русой бородой и очень умными глазами. Росту среднего, сложения плотного, но {192} не тучный. Беседа обнаруживала в нем серьезного богослова и европейски образованного человека. Манера и склад речи свидетельствовали о большом такте, выдержке, осторожности и огромной силе воли. Митрополит говорил сжато, выпукло, умно. Улыбки я ни разу не заметил на его лице. После первой же беседы у меня сложилось твердое убеждение, что в лице его греческая церковь имеет архиерея редкого ума, такта и работоспособности. Я невольно позавидовал греческой церкви. Об его симпатиях или антипатиях к нам русским мне трудно было по этой беседе составить определенное представление. Но самый склад натуры митрополита, сухой и деловой, уже возбуждал во мне сомнение: едва ли мы могли завоевать его симпатии. А затем... митрополит был патриот-грек, практик, избиравший наиболее полезное для своего народа и, соответственно этому, действовавший.

Прощаясь, митрополит пригласил меня откушать у него в 4 ч. дня чаю.

В 4 ч. я застал у него другого митрополита - Кирилла Родопольского (Родополь в 28 верстах к востоку от Трапезунда. Епархия Родопольская состояла всего из 60 приходов.). Кирилл представлял полную противоположность Хрисанфу. Тоже молодой, высокий, очень плотный, почти тучный, брюнет - он был чрезвычайно прост, общителен и жизнерадостен. В то время, как у Хрисанфа каждое слово было взвешено, каждое движение отвечало важности его сана, Кирилл болтал обо всем добродушно и просто, совершенно не считаясь с этикетом, налаженным в покоях Трапезундского митрополита. Одним словом, он производил впечатление хорошего малого, которого трудно заподозрить в каком-либо коварстве или злонамеренности.

На другой день оба митрополита обедали со мной {193} у ген. Шварца. Митрополит привез с собою на обед толстейшего архимандрита - настоятеля монастыря.

- Чем вы кормите этого архимандрита, что он такой толстый? - спросил я митрополита Кирилла.

- Фасулем, - смеясь, ответил митрополит.

Архимандрит тоже засмеялся.

В Трапезунде же я узнал, что митрополит Хрисанф среди греческого населения пользовался неограниченным авторитетом. Иначе и не могло быть: хитрые греки не могли не чтить хитрейшего митрополита.

Прислушавшись к толкам о митрополите, приглядевшись к нему, я составил определенное представление о нем, разойдясь в данном случае с великим князем и генералом Шварцем. Для меня стало несомненно, что митрополит Хрисанф - человек чрезвычайно умный и талантливый, что для нас он может быть чрезвычайно полезен. Но также для меня несомненно стало, что мы не его симпатия, что поэтому за ним надо следить и, поскольку возможно, не роняя его сана и отнюдь не унижая его, держать его в своих руках. Это я потом высказал и великому князю и ген. Шварцу. И тому, и другому мой взгляд не понравился.

Целью моей поездки было, однако, не изучение типов греческих митрополитов, а посещение наших воинских частей. Этому делу при поездке я и уделял главное внимание. Еще в Сарыкамыше я объехал стоявшие вблизи города, только что сформированные полки 6-ой Кавказской дивизии, посетил расположенные в городе госпитали и молился на площади перед храмом с войсками Сарыкамышского гарнизона. На всем своем дальнейшем тысячеверстном пути я пользовался всяким случаем, чтобы заглянуть в попадавшиеся по пути полк или госпиталь, а в районе 39 пех. дивизии, за Эрзинджаном, и в районе корпуса ген. Пржевальского, побывал и на самых позициях.

{194} Кавказский фронт представлял совсем особую картину в сравнении с Западным фронтом. Там и противник был иной, и вся обстановка войны была иная. На Кавказе воевали старым способом, - шла полевая война, где набег, доблесть, отвага, а то и безумие находили себе гораздо больше применения, чем при окопной войне, какая велась на Западном фронте.

В пору моего приезда перевес и моральной, и физической силы был абсолютно на нашей стороне. Наши войска в то время, собственно говоря, воевали с природой, а не с противником. Стоявшие перед ними турецкие войска были истощены физически и деморализованы нравственно. Плохо одетые, полуголодные, слабо вооруженные, они мечтали не о победах, а о скорейшем мире.

- Нам стоит сделать самый незначительный нажим, чтобы весь турецкий фронт полетел к черту. Но... мы не можем удлинить линию расстояния от своей базы и на десять верст, ибо это потребовало бы невероятного увеличения транспорта, - говорил мне командир корпуса, известный генерал Пржевальский. Снабжение фронта, действительно, стоило невероятных усилий. Дикая Армения не могла дать ни хлеба для людей, ни фуража для лошадей. И то, и другое везли с Кавказа или - *horibile dictu* ("Страшно вымолвить".) - из России, ибо сам Кавказ кормился Россией. При этом железная дорога кончалась у Сары-камыша, а дальше, на протяжении сотен верст дикой, гористой, трудной дороги, везли реже на грузовиках, чаще на лошадях. Перевозка еще осложнялась тем, что тут же приходилось везти и корм для извозных лошадей и даже дрова для костра по пути, ибо ни корму, ни дров на протяжении сотен верст нигде нельзя было найти. По всему пути от Сары-камыша до Эрзинджана и далее вдоль фронта тянулся почти не прерывающийся обоз.

{195} Чего только тут не везли: снаряды, патроны, ружья, части орудий, муку, мясо, сено, зерно, обмундирование и пр., и пр. Туда тянулись нагруженные всяким добром грузовики и возы: оттуда возвращались пустые, или с больными и ранеными. Решительно на каждом возу поверх казенной клади лежал еще дорожный запас сена для лошадей и несколько полен дров. Малейшее продвижение вперед, увеличивая расстояние от базы, требовало соответствующего увеличения транспорта, а увеличение транспорта прежде всего выдвигало вопрос о новом фураже, лишняя добыча и доставка которого уже граничили с невозможностью. И наши сильные духом и вооружением войска должны были топтаться на месте и стеречь голодавших и замерзших турок вместо того, чтобы победоносно идти вперед.

Позиционная жизнь в свою очередь была соединена с невероятными трудностями. Часто позиции проходили через вершины гор, на высоте 4-5 тысяч футов, куда могли взбираться пешеходы и с трудом верховые. Холод, недоедание, скука, и, наконец, постоянные набеги курдов - это были бичи Кавказской горной позиционной жизни. В турецкой армии, которая находилась в таких же условиях, дезертирство в это время шло вовсю. Наши же войска мужественно переносили все невзгоды ужасной жизни, безропотно

страдая, умирая и скромно, без шуму и рисовки, совершая удивительные подвиги. Шел третий год войны, а дух наших войск оставался бодрым, сильным, могучим. Кто мог подумать, что через полгода этот могучий фронт рухнет, без всяких усилий со стороны неприятеля, отравившись ядом пропаганды изнутри собственной же страны?!

В общей массе геройски настроенных кавказских войск особенно выделялся корпус ген. Пржевальского, как среди кавказских генералов выделялся сам этот доблестнейший генерал. Интересна его карьера. До войны он был в запасе. Его товарищи по выпуску из Академии {196} Генерального Штаба командовали дивизиями и даже корпусами, а он вышел на войну командиром бригады. Довольно невзрачный, совсем скромный и очень застенчивый, он не обладал теми качествами, благодаря которым в мирное время делали карьеру. Истинный талант и знания проявляют себя на войне. После боя под Сары-камышем Пржевальский сразу стал героем и любимцем армии.

Ген. Пржевальский с поразительной теплотой встретил меня. Рассказывали, что, накануне моего приезда, он целый день возился над отведенной для меня комнатой, собственноручно отделявая ее коврами и всё приводя в порядок. Уж не буду говорить о той сверхторжественной встрече, которую он устроил мне при моем въезде в селение, где помещался его штаб. Мы встретились, как давно знакомые, как родные, хотя раньше мы не виделись ни разу. Я провел у него более суток, и он всё время не расставался со мной. Он присутствовал при моей беседе с собранными им священниками корпуса, он сопровождал меня и в поездке на позиции. После Куропаткина я не встретил ни одного генерала, который бы так серьезно и разумно относился к духовному делу. Не этой только стороной он очаровал меня.

Вообще Пржевальский представлял далеко не часто встречающийся у нас тип военачальника, у которого счастливо соединялись доброе и благородное сердце человека, храбрость солдата и большой талант полководца. Любовь войск к нему была огромная, на которую он отвечал такую же любовью, заботливостью и распорядительностью.

Расставшись с ген. Пржевальским, я по пути к Трапезунду посетил несколько частей и госпиталей его корпуса и корпуса ген. Яблочкина.

В Трапезунде же мне удалось увидеть несколько запасных частей и госпиталей, и среди последних госпиталь Красного Креста, в котором старшей сестрой была жена известного {197} археолога Ф. И. Покровского, а среди рядовых сестер княжна Марина Петровна, дочь великого князя Петра Николаевича.

Из Трапезунда я отправился в Батум морем на миноносце. В Ризэ, на полпути от Трапезунда до Батума, мы сделали остановку часа на три. Тут был небольшой гарнизон, для которого набожный начальник ген. Миллер собирался строить церковь. Шедший с нами на миноносце адмирал кн. Путятин хотел показать мне место и план постройки, чтобы получить мое одобрение.

Порт Ризэ - одно из красивейших мест Черноморского берега. По очертаниям берега и массивам гор он очень напоминает Ялту, в климатическом отношении он лучше Ялты. На берегу я долго любовался гигантом-апельсиновым деревом, перед которым такой ничтожной казалась крохотная избушка хозяина-грека, имевшего главный доход от этого дерева: по словам хозяина, в урожайный год оно давало до 15 тысяч апельсинов. Сейчас оно всё было увешано созревшими плодами.

В 4 часа дня 20 октября мы прибыли в Батум, а на другой день, после того, как я успел посетить стоявшие там части и учреждения, я отправился в Тифлис, где у великого князя прожил еще три дня, успев за это время объехать воинские части и госпитали, не посещенные мною в первый приезд.

Снова пришлось мне часами беседовать с великим князем о Ставке и Царском Селе, о всё усиливающемся вмешательстве Императрицы в государственные дела, о продолжающейся распутищине и о становящихся всё более грозными всеобщем возбуждении и недовольстве. Великий князь предвидел возможные последствия комбинации таких неурядиц. Зрел ли у него план предупреждения надвигающегося несчастья? Думаю,

что нет. Верноподданность своему Государю не позволила бы ему предпринять что-либо неприятное, а тем более обидное для последнего. Без этого же нельзя было помочь беде.

{198} 24 октября я выехал из Тифлиса. Вагон мой с проводником отбыл накануне во Владикавказ, а я на предоставленном мне великим князем автомобиле проехал туда по Военно-Грузинской дороге, сэкономив более 12 часов.

Следующая моя остановка была в Севастополе, в котором я также не удосужился побывать за время войны. Я не стану описывать своих посещений тут Черноморских кораблей и бесед с духовенством. Главным священником Черноморского флота в это время был протоиерей Г. А. Спасский, добрый пастырь и красноречивый проповедник. Состав флотского духовенства был довольно хорош.

Не могу не упомянуть о знаменитом командующем флотом, адмирале Колчаке. От духовенства и офицеров я слышал восторженные отзывы об его легендарной храбрости, необыкновенной распорядительности, об его исключительном влиянии на флот. С первых же дней своего командования Колчак стал полным хозяином Черного моря, сразу усмирив наводившие раньше ужас немецкие крейсера "Гебен" и "Бреслау".

С А. В. Колчаком я познакомился в Ставке, при назначении его Командующим флотом. Там он заходил ко мне. А его отец, генерал-лейтенант по Адмиралтейству, В. И. Колчак был моим духовным сыном, когда я служил в Суворовской церкви.

Теперь я посетил А. В. на его адмиральском корабле и более часу провел с ним в беседе, главным образом, о духовном деле во флоте. Надо ли говорить о впечатлении, которое он произвел на меня? Серьезность и деловитость никогда не оставляли его.

Из Севастополя я направился в Ставку.

{201}

VIII

Царю говорят правду

В Ставку я прибыл 30 октября и в этот же день докладывал и Государю, и ген. Алексею о впечатлениях своей поездки. По обычаю, Государь проявлял интерес к приятному и утешительному из виденного мною. Генерала Алексея я застал страшно утомленным, осунувшимся, постаревшим. Раньше всегда внимательный к моим докладам, теперь он слушал меня вяло, апатично, почти безразлично, а потом вдруг прервал меня:

- Знаете, о. Георгий, я хочу уйти со службы! Нет смысла служить: ничего нельзя сделать, ничем нельзя помочь делу. Ну, что можно сделать с этим ребенком! Пляшет над пропастью и... спокоен. Государством же правит безумная женщина, а около нее клубок грязных червей: Распутин, Вырубова, Штюрмер, Раев, Питирим... На-днях я говорил с ним, решительно всё высказал ему.

- Ваше, - говорю, - дряхлое, дряблое, неразумное и нечестное правительство ведет Россию к гибели...

- Что дряхлое, в этом вы отчасти правы, так как председатель Совета Министров - старик, а что нечестное, - в этом вы глубоко ошибаетесь, возразил он.

- А затем... что я ни говорил, - он ни слова в ответ. Кончил я, - он, улыбаясь, обращается ко мне:

"Вы пойдете сегодня ко мне завтракать?"...

После высочайшего обеда в этот же день великий князь Георгий Михайлович говорит мне:

- У меня к вам просьба: не можете ли вы на полчаса зайти ко мне?

{202} - С удовольствием, - отвечаю я. Мы уговорились, что я буду у великого князя на другой день, 31 октября в девять с половиной часов утра.

В назначенный час я прибыл к великому князю. Он провел меня в свой кабинет и плотно закрыл двери. Мы уселись около письменного стола.

- Я знаю, что вы человек честный, любите Россию и желаете ей добра. Скажите откровенно, как вы смотрите на настоящее положение, - обратился ко мне великий князь.

Я обстоятельно обрисовал ему настроение армии и особенно гвардии, как более

связанной со взбудораженным распутинщиной петроградским высшим обществом, а затем коснулся настроения народа и в частности интеллигентной части его. - В общем, - говорил я, - решительно везде идут тревожные разговоры о внутренней нашей политике и решительно везде растет недовольство. Если в армии более говорят о Распутине и более всего недовольны его влиянием, то в обществе кипит готовое прорваться наружу возмущение против правительства, составленного почти всецело из бездарных ставленников Распутина. Пока возбуждение направлено только против правительства, Государя оставляют в стороне. Но если не изменится положение дела, то скоро и на него обрушится гнев народный.

- Но Императрицу все ненавидят, ее считают виновницей во всем? заметил великий князь.

- Да, ее всюду ненавидят, - подтвердил я.

- Что же делать? Как помочь? - воскликнул великий князь.

- Надо раскрыть глаза Государю, надо убедить его, что сейчас должны стоять у власти не ставленники Распутина, а честные, самые серьезные, государственного ума люди. Вы - великие князья прежде всего {203} должны говорить Государю об этом, ибо вас это больше всего касается, - сказал я.

- Говорить... Но как скажешь ему? Он не станет слушать, может на дверь указать! - снова воскликнул великий князь.

Меня удивил такой страх одного из старейших и лучших князей перед этим кротким и, как казалось мне, неспособным ни на какую резкость Государем, и я высказал великому князю свое недоумение:

- Не понимаю вас, ваше высочество! Я знаю, что Государь любит и уважает вас. Поэтому представить не могу, чтобы он выгнал или вообще отказался выслушать вас, когда вы заговорите о том, что нужно для спасения его.

- Хорошо! - сказал великий князь, - надо просить о смене негодных министров? Кого же назначить председателем Совета Министров?

- Я не решаюсь ответить вам на этот вопрос. - сказал я.

- Как вы думаете относительно Коковцова? - спросил великий князь. - По моему мнению, он лучший из всех наших государственных деятелей.

- Графа Коковцова я очень мало знаю. А главное - я считаю себя не компетентным в решении таких вопросов, - ответил я.

На этом закончился наш разговор.

В этот же день вечером я выехал в Петроград, чтобы принять участие в заседаниях новой (с 1 ноября) сессии Св. Синода.

Петроград я застал в повышенном нервном настроении. Город жил под впечатлением событий, развертывавшихся в Государственной Думе. 1-2 ноября правый Шульгин, кадет Милюков и ряд других ораторов разных партий произнесли там громовые речи против {204} правительства и распутинщины.

В городе только и говорили об этих речах. Узнав о моем приезде, ко мне потянулись мои знакомые и среди них несколько больших государственных и общественных деятелей. Одни из них хотели узнать, что делается в Ставке, что думает, что хочет предпринять Государь? Другие, как утопающий цепляется за соломинку, цеплялись за меня, считая, что я могу раскрыть глаза Государю, убедить его и тем спасти положение. У всех настроение было подавленное. Чувствовалась надвигающаяся страшная гроза. Близко знакомые с внутренним положением страны начинали терять всякую надежду на спасение.

- Вы не можете представить, какой хаос в правительстве, - говорил мне начальник штаба Корпуса жандармов ген. Никольский. - Кажется, все делается, чтобы государственная машина остановилась, и если еще вертится колесо ее, то только потому, что раньше она была хорошо заведена. Мы живем на вулкане. Месяц тому назад можно было поправить дело. А сейчас... боюсь, что уже поздно. Может быть, уже никакие меры не помогут спасти нас от катастрофы.

О министре внутренних дел А. Д. Протопопове генерал Никольский отзывался как о

больном, психически ненормальном человеке; Штюрмера он считал послушным клеветником Распутина. По приказанию Штюрмера "Гришку" теперь охраняли чуть ли не тщательней, чем самого царя. Ген. Комиссаров специально заведывал охраной. Так как квартира "старца" на Гороховой стала очень известной, то, по приказанию Штюрмера же, в это время подыскивался для него особняк на окраине города, где приемы почитателей и просителей не столь были бы заметны.

Утром 5 ноября я участвовал в заседании (на нем, между прочим, присутствовали: А. В. Кривошей, М. В. Родзянко А. И. Гучков и др.) в Главном управлении {205} Красного Креста, на котором прибывшие из Германии сестры милосердия Ганецкая, Самсонова и др. делали доклад о положении там наших пленных. Сестра Ганецкая нарисовала потрясающую картину физических и нравственных угнетений и страданий, переживавшихся имевшими несчастье попасть в немецкий плен нашими воинами.

Когда сестра доложила, что одна из вопиющих нужд жизни военнопленных это отсутствие здоровой духовной пищи и духовного утешения, ибо значительная часть лагерей остается без священников, без богослужения, без всякого пастырского наставления и утешения, - то Родзянко в крайне несдержанном тоне обрушился на меня с обвинением в преступной небрежности по отношению к вопиющим нуждам несчастных этих воинов. Родзянко был неправ.

Уже в течение нескольких месяцев у меня велась переписка с Синодом и министерством иностранных дел о командировании в Германию и Австрию свыше двадцати священников с походными церквями для военнопленных. Уже были выбраны для этой цели священники-добровольцы и заготовлены для них церковные принадлежности. Но все усилия Синода и министерства иностранных дел, несмотря на настойчивую поддержку самой Императрицы, оказывались бесплодными, разбиваясь об упорное нежелание Германского правительства допустить к военнопленным наших священников. Мои разъяснения, однако, не могли ни успокоить, ни убедить Родзянку. Он грубо настаивал на том, что я главный виновник духовной голодовки наших военнопленных. Отвечать грубостью на грубость я считал недостойным своего сана и положения, и мне приходилось лишь удивляться и недоумевать: где причина такой озлобленности против меня председателя Государственной Думы, с которым я доселе не имел решительно никаких дел? Мое недоумение разрешил А. В. Кривошей.

- Какой дикий, невыдержанный человек этот {206} Родзянко! - обратился он ко мне после заседания. - Вы не смущайтесь этим! Все его знают, и никто за сегодняшнюю выходку не оправдывает его.

- Да я и не думаю смущаться. Если сама царица и министерство иностранных дел не могут выпросить разрешения на отправку наших священников в лагеря военнопленных, то что же я-то могу сделать?

А как будет думать об этом деле г. Родзянко, - для меня безразлично, ответил я.

- А вы знаете, откуда у него такая ненависть против вас? Он всюду кричит: сейчас Россией правят три человека - Алексеев, Шавельский и Воейков... (Эту фразу я слышал тогда же от В. И. Яцкевича с маленькой лишь вариацией: "Знаете, что везде говорят"...) - добавил Кривошей.

- Господи, какая глупость! - ответил я на это.

Только я собрался около 5 ч. вечера в этот день ехать на вокзал, как ко мне прибыл состоявший при товарище министра внутренних дел, князе В. М. Волконском, гвардейский капитан Н. узнать, могу ли я через несколько минут принять князя, который теперь находится в министерстве. Я ответил, что ждать князя не могу, так как спешу на вокзал для отъезда в Могилев, по пути же на вокзал сам заеду в министерство. Чрез несколько минут я сидел в служебном кабинете товарища министра внутренних дел, а кн. Волконский ориентировал меня в положении дел. Положение катастрофическое: в Государственной Думе единодушная оппозиция и ненависть к правительству, в обществе недовольство и возмущение, в народе брожение, а в правительстве безумие. Как будто нарочно делается всё,

чтобы ускорить развязку, - так характеризовал кн. Волконский данный момент. Более всего беспокоил Волконского министр внутренних дел Протопопов.

{207} - Я начинаю думать, не с ума ли сошел министр внутренних дел, говорил кн. Волконский. - На днях я обращаюсь к нему: Александр Дмитриевич, что ты делаешь? Ведь ты ведешь Россию к гибели. "Пусть гибнет, и я торжественно погибну под ее развалинами!" - ответил он мне. - Разве не безумие? Дальше. Ушел здешний градоначальник кн. Оболенский. Надо выбрать сильного человека. Мой выбор остановился на Приморском губернаторе, ген. Хагондокове. Умный, энергичный, честный человек, - именно такой теперь нужен нам. Советую Протопопову взять его. "Пожалуй, согласен, - отвечает он. - Только знаешь что?.. Пусть Хагондоков съездит сначала к Григорию (Распутину)... ну, посоветуется с ним"... Так у нас решаются и другие дела. О Штюрмере и говорить не стоит. Старая развалина, не пригодная ни для какого дела.

Волконский просил меня употребить в Ставке героические усилия, чтобы спасти дело. Пока еще теплится, хотя и очень слабая, надежда на возможность спасения, если будет обновлено правительство и изменен правительственный курс. "Значит, гибнем!", - с этой мыслью я уехал от князя на вокзал. За пять минут до отхода поезда тот же гвардейский капитан явился ко мне в купе вагона и вручил пакет от князя, - в нем были стенографически записанные речи Шульгина, Милюкова и других думских ораторов.

Итак, в Петрограде, даже в правящих кругах, сознавали катастрофичность государственного положения и видели спасение в принятии экстренных мер. Но в тех кругах, с которыми мне теперь приходилось сталкиваться, меры эти сводились к персональным переменам. Мысли и речи вертелись около имен Распутина, Штюрмера, Протопопова, пожалуй, еще митрополита Питирима, Раева и др. Устранить первого, сместить остальных, и... как будто вся русская государственная жизнь сразу должна была пойти иным, должным путем. О {208} социальных реформах, об изменении государственного строя речи не заводилось. Имена Распутина, Штюрмера и Протопопова своей одиозностью так захватили внимание всех, что замечавшие общую разруху не пытались отыскать более глубокие причины ее.

Ни со Штюрмером, ни с Протопоповым до назначения их министрами я не был знаком. Впервые я увидел их в Ставке, и оба они произвели на меня странное впечатление. Протопопов явился в Ставку в элегантном военном мундире, гладко выбритый, тщательно причесанный, напомаженный. Внешний вид Протопопова не оставлял желать ничего лучшего. Но держал себя Протопопов очень оригинально: перед каждым по-корнетски расшаркивался, кланялся почти в пояс, улыбка не сходила с его лица; говорил слащаво, вкрадчиво. "Как вам нравится новый министр?" - спрашивал один из штабных генералов другого, когда Протопопов в первый раз появился в Ставке. "Хороший салонный кавалер, а, может быть, еще лучший лакей", - ответил тот. Чем дальше шло время, тем более приходилось недоумевать: зачем его взяли в министры. И еще больше: зачем он остается в министрах, когда и друзья, и враги согласно твердили ему, что он и для своего блага, и для блага России должен уйти с поста, который ему непосилен и для которого он вреден. "У Протопопова, - не раз приходилось слышать в Ставке, - всё есть: великолепное общественное положение, незапятнанная репутация, огромное богатство - более 300 тысяч годового дохода, недостает одного - виселицы, - захотел ее добиться".

Штюрмер был совсем в ином роде. Высокого роста, широкоплечий, с оригинальной - узкой и длинной, совершенно прямой, как у елочного деда, бородой, - он держал себя важно, говорил мало и никогда не смеялся. Как-то не гармонировала с его огромным ростом и массивной фигурой его походка мелкими, частыми {208} шагами. Мне он очень напоминал Саблера. Совсем как Саблер, только степеннее. Это был Саблер-флегматик, в противоположность тому Саблеру-сангвинику. У них были разные темпераменты, разные и способности. Тот был способнее, образованнее; этот спокойнее, осторожнее. Но сущность государственной складки у обоих была одна. Я назвал бы ее донкихотством в государственных делах. Саблер почти всю свою жизнь занимался только духовными делами,

но я уверен, что он не отказался бы от поста морского или военного министра, если бы только такой пост предложили ему. Штюмер всё время служил в министерстве внутренних дел, в 1911 г. чуть было не попал в обер-прокуроры Св. Синода, а в 1916 г. вдруг стал главой министерства иностранных дел, к которому раньше не имел никакого отношения и которым, однако, взялся руководить в самое трудное и ответственное время.

Мое знакомство со Штюмером ограничивалось лишь рукопожатиями и несколькими, ничего не выражавшими фразами, которыми мы обменялись при трех-четырёх встречах в Ставке. Об его "ориентации" мне доподлинно было известно, что он знал с Гришкой и дружил с митрополитом Питиримом. В обществе рассказывали про него разные гадости. Между прочим, обвиняли его в нечистой любви к презренному металлу, которую он будто бы обнаруживал еще в бытность Ярославским губернатором. Насколько справедливы были такие обвинения, раздававшиеся и в обществе, и даже с Думской кафедры, судить не берусь, но для меня многозначительным показалось одно замечание Могилевского губернатора Д. Г. Явленского, ставленника Штюмера. Как-то, в ноябре 1916 года, когда мы с ним беседовали о Штюмере, он обмолвился:

- Кажется, и получаю я, как губернатор, много, а еле-еле свожу концы с концами, хотя и живу очень скромно.

Не пойму: как мог жить Штюмер так, как {210} жил в Ярославле: непрерывные парадные обеды, столовая посуда из серебра, лакеи без счету, великолепные выезды? А получал он меньше, чем я теперь...

Явленский же очень хорошо знал Штюмера.

В 1916 году, в августе или сентябре, - точно не помню, мне совсем неожиданно и невольно пришлось оказаться помехой для широких планов Штюмера.

Как человек не глупый, он вскоре после назначения его министром-председателем увидел, что недовольство правительством растет не только в Государственной Думе и в образованном обществе, но начинает развиваться и в народе. Бороться с этим "злом" он решил при помощи соответствующей литературы. Для вразумления "темного" народа Штюмер не нашел другого средства, как еще более затемнить его. По ходатайству Штюмера Государь отпустил в его распоряжение 5 миллионов рублей. Получивши такую ассигновку, Штюмер предложил известному Московскому книгоиздателю Ив. Дм. Сытину стать во главе нового правительственного литературного предприятия. Только что отпраздновавший 50-летний юбилей своей удивительной деятельности (Еще мальчиком, не получившим никакого образования, Сытин пришел в Москву и начал службу у одного торговца, платившего ему по 3 рубля в месяц за лакейские услуги. Ваня Сытин носил кипяток для чаю, чистил сапоги и вообще был на посылках. Дослужившись до должности приказчика в книжном магазине, он быстро пошел вперед и скоро завел свою торговлю, превратив ее затем в колоссальнейшее дело.), Сытин в это время был в апогее своей силы и славы. Его книгоиздательство ежедневно выбрасывало на рынок пять тысяч пудов печатной бумаги; издававшаяся им газета "Русское слово" имела до миллиона подписчиков и была самой распространенной газетой в России. Приглашая Сытина, Штюмер хотел "убить сразу двух зайцев: 1) вывести Сытина из ряда {211} своих врагов и 2) поставить во главе нового дела популярного и испытанного дельца.

Как ни лестны были для Сытина дружеское внимание и доверие Председателя Совета Министров, всё же расчетливый рассудок у него доминировал над чувством. Сытин понимал, что пойти ему заодно со Штюмером - значило умереть для своего дела, - более того, отречься от того пути, по которому он шел всю свою жизнь. Ради Штюмера, хотя он был и первым сановником Империи, Сытин не мог принести такой жертвы. Не желая, однако, огорчать старика отказом, а тем более - рвать отношения с ним, Сытин медлил ответом, надеясь, что авось проволочка выручит его. Штюмер понял уловку Сытина, как понял и то, что при всем своем либерализме Сытин всё же русский мужик, для которого достаточно одного царского слова, чтобы он исполнил любое веление. И вот Штюмер однажды, совершенно неожиданно для Сытина, объявляет ему, что в субботу такого-то

числа, в 10 ч. утра, ему назначена царская аудиенция в Ставке, что из Петрограда он должен выехать в среду, и что для такой поездки в штабном вагоне Ставки для него будет отведено особое купе 1-го класса, а в Могилеве - номер гостиницы.

Случилось так, что с тем же поездом, в том же вагоне, в соседнем с отведенным для Сытина купе я должен был возвращаться в Ставку. При входе в вагон меня встретил поверенный Сытина Н. П. Дучинский, сообщивший мне, что Иван Дмитриевич едет в Ставку и просит разрешения в пути побеседовать со мной. Лишь только тронулся поезд, у нас началась беседа. Сытин рассказал мне, что едет представиться Государю, что аудиенция назначена ему в субботу, в 10 ч. утра, что, по распоряжению Штюрмера, ему и тут отведено особое купе, и в Ставке будет предоставлено особое помещение. Меня удивила беспримерная внимательность {212} со стороны Штюрмера. Потом Сытин подробно рассказал мне всю историю затеваемого Штюрмером издательского дела, изложив все причины, по которым он не может принять штюрмеровского предложения.

- Значит, вы отказались от предложения? - спросил я.

- Нет, совсем еще не отказался, но я должен отказаться, ибо мое согласие было бы моральной смертью для меня и гибелью для моего дела, созданного ценою трудов всей моей жизни, - ответил Сытин.

- А по какому поводу вы будете представляться Государю? - опять спросил я.

- Ни по какому, так просто, - ответил Сытин.

- Как так ни по какому? - удивился я. - Без поводов царю не представляются. Да вы-то просили о высочайшем приеме?

- Нет, не просил. Штюрмер вызвал меня и объявил, что я должен представиться его величеству, - сказал Сытин.

- А вы не думаете, что тут ловушка для вас? Что если Государь при приеме попросит вас взять это дело в свои руки, или скажет, что ему доложено о вашем согласии и поблагодарит вас, - как тогда поступите вы? спросил я.

- Вы точно обухом по голове ударили меня! Вот старый дурак попался, как воробей на мякине! - воскликнул, побледнев, Сытин. - Что же мне делать? Как помочь беде?

Заметив, что старик сильно заволновался, я начал успокаивать его, а потом перевел разговор на другую тему. Мы начали говорить о нашей низшей народной школе, совершенно сходясь во взглядах, что она кой чему учит, но совсем не воспитывает, талантов не продвигает и в общем трудно сказать, чего больше: вреда {213} или пользы приносит. Потом заговорили об основах и принципах новой, нужной для народа, школы. Я рассказал ему о школе Рачинского (С. А. Рачинский оставил профессорскую кафедру в Петровско-Разумовской сел.-хоз. академии и до самой своей смерти учительствовал в основанной им начальной школе в с. Татеево, Бельского у. Смоленской губ. Прославившаяся на всю Россию школа С. А. Рачинского, при прекрасной постановке в ней учебного дела, в особенности отличалась двумя своими сторонами:

1) в ней обращалось огромное внимание на религиозно-патриотическое воспитание и

2) подмечались талантливые ученики, которых затем С. А. направлял дальше для получения среднего и высшего образования в школах, отвечавших их индивидуальным способностям и призванию. Из татеевских мужичков, благодаря этой школе, вышли известный художник Богданов-Бельский, царский духовник прот. А. П. Васильев и много др. Всем вообще ученикам школа С. А. Рачинского старалась дать не одну голую грамотность, но и разные практические знания, полезные в сельском быту.),

с которою хорошо был знаком, развив свой взгляд на школу. Мои рассуждения понравились Сытину и он обратился ко мне:

- Давайте устроим такую школу! Ваши знания и труд, а мои деньги и всякая другая помощь, какая только потребуется.

В дальнейшей беседе мы решили, что такую школу лучше всего устроить в Царском Селе и назвать ее именем Наследника, ибо она должна воспитывать добрых людей для его царствования. Наша школа должна будет не только учить, но и воспитывать, развивая в

питомцах своих разумные, здоровые религиозность и патриотизм, талантливых же детей направлять дальше соответственно их индивидуальным дарованиям. В первую очередь она предназначается для солдатских сирот и детей.

- Вот я и доложу Государю о нашем разговоре, Может быть, эта случайная наша беседа и выручит вас, - сказал, я улыбаясь.

{214} - Тогда скажите Государю и то, что я жертвую на эту школу миллион рублей. Еще потребуется, - найдем деньги, я гарантирую вам сумму до пяти миллионов, - ответил мне Сытин.

Признаюсь: у меня тогда сердце перевернулось от такого размаха. Ведь тогда миллион был не советским, а настоящим, - на него можно было кой-что сделать.

На другой день мы прибыли в Ставку, а вечером после высочайшего обеда я передал ген. Воейкову свой разговор с Сытиным о школе. Воейкову мысль о создании новой национальной школы очень понравилась, и он обещал поддержать перед Государем мою просьбу об отводе в Царском Селе участка земли для этой школы. В пятницу перед завтраком, здороваясь со мною, Государь говорит мне:

- Вы вчера ехали с Сытиным? После завтрака расскажете мне.

По окончании завтрака Государь сразу подошел ко мне, и я дословно передал ему разговор с Сытиным о школе, закончившийся предложением последнего сейчас же пожертвовать миллион и нашим решением немедленно приступить к созданию новой школы. Государь слушал с огромным вниманием.

- Я всецело сочувствую вашему делу, - сказал он, когда я закончил рассказ. - Начинайте с Божьей помощью !

- Нам, ваше величество, необходим для школы небольшой участок десятин пять - земли в Царском Селе. Может быть, вы найдете возможным повелеть, чтобы дворцовое ведомство отвело его нам? - обратился я.

- К этому не встречается препятствий, - ответил Государь.

- Еще одно обстоятельство. Может быть, {215} в министерстве народного просвещения и в Св. Синоде проектируемая школа не встретит такого сочувствия, какое она встретила у вас. Тогда развитию ее этими ведомствами могут ставиться разные преграды. Я просил бы поставить нашу школу в совершенно независимое положение от обоих ведомств, - сказал я.

- Обещаю вам это, если вы возьмете школу в свои руки, - ответил Государь.

Когда я рассказал Сытину о своей беседе с Государем относительно школы, старик обезумел от радости.

В субботу, в 10 ч. утра Сытин был принят Государем. Государь говорил только о школе и отпустил Сытина, пообещав ему полное свое содействие при ее устройстве. Сытин уехал очарованный Государем, совсем забыв о Штюрмере.

При первом же моем приезде в Петроград у меня собралась группа педагогов, которых я познакомил со своей идеей новой школы и которые сразу же приступили к разработке плана, программы и всех деталей устройства школы. Весной 1917 года должна была начаться постройка здания, но революция прервала наши начинания.

Возвращаюсь, однако, к прерванному рассказу.

Поезд, в котором я ехал, прибыл в Могилев 6-го ноября с опозданием. Когда я подымался по лестнице в свое помещение, то встретил возвращавшихся с высочайшего завтрака двух свитских генералов Б. М. Петрово-Соловово и гр. А. Н. Граббе. Слухи о петроградских настроениях в Государственной Думе и обществе, уже долетели до Ставки.

Оба генерала поэтому набросились на меня с расспросами: что и как в Петрограде? Я рассказал, что знал. Они, в свою очередь, рассказали мне о происходившем в Ставке в мое отсутствие. 1-го ноября к Государю нарочно приезжал из Петрограда великий князь Николай Михайлович. Он в самых {216} мрачных красках обрисовал Государю внутреннее положение России, как и грозящую катастрофой политику распутинского правительства, и умолял его, пока не поздно, спасти положение.

- Если не веришь мне, спроси других, которых ты знаешь и которым ты веришь! -

между прочим сказал великий князь и при этом назвал пять или шесть человек. В том числе меня и вас, - добавил Петрово-Соловово.

Какое впечатление произвела на Государя беседа с великим князем, генералы не могли сказать: Государь не имел обыкновения делиться с лицами свиты подобными впечатлениями.

Не ограничившись устной беседой, Николай Михайлович вручил Государю письмо. И беседа, и письмо вызвали взрыв возмущения в Императрице.

В мое же отсутствие, - сказали мне генералы, - Государь два дня провел в Киеве. Там старалась повлиять на него Императрица Мария Федоровна, много говорившая с ним о внутреннем положении государства. С неменьшим возмущением Императрица Александра Федоровна реагировала и на беседу Императрицы-матери. Чего именно добивалась Императрица-мать и великий князь Николай Михайлович - смены ли отдельных лиц в правительстве или назначения нового ответственного министерства, - этого генералы не объяснили. Судя же по тому, что доселе никаких новых решений Государем не было принято, генералы предполагали, что натиск Императрицы-матери и великого князя оказался бесплодным.

- Теперь вся наша надежда на вас. Может быть, вы сможете повлиять на Государя, - обратился ко мне гр. Граббе.

- Я готов говорить с Государем, чего бы это ни {217} стоило. И чем скорее, тем лучше. Вы, наверное, поедете сегодня с ним на прогулку? Попросите, чтобы он принял меня! - ответил я Граббе. Граббе обещал.

В пять часов вечера мне позвонили по телефону из дворца, что Государь примет меня сегодня в 7 ч. 20 м. вечера. Мне, таким образом, давалось всего десять минут: в 7 ч. 30 м. начинался обед.

Решаясь на беседу с Государем, я сознавал, что делаю насколько ответственный, настолько же лично для себя опасный шаг. Но сознание необыкновенной остроты данного момента и массы соединенных с ним переживаний сделали меня совершенно бесчувственным и безразличным в отношении собственного благополучия. "Выгонит, - и слава Богу!". Так тогда я думал.

Никакой программы, никаких определенных требований я не собирался навязывать. Своей задачей я считал: раскрыть глаза царю на ничтожества, которым он отдал свое сердце и которые правят страной и заставить его задуматься над внутренним состоянием государства, грозящим катастрофой прежде всего ему и его семейству. Что надо было дальше предпринять, чем и как исправить дело, - это должны были решить другие.

В 7 ч. 15 м. вечера я стоял в зале дворца, а равно в 7 ч. 20 м. камердинер Государя пригласил меня в кабинет его величества.

Государь встретил меня стоя, почти у самых дверей.

На нем был мундир царскосельских гусар, который очень молодил его.

- Как вы съездили в Петроград? - обратился он ко мне и сейчас же пригласил меня сесть. - Вот сюда садитесь, по-архиерейски! - сказал он, улыбаясь и показал рукой на стоявший налево от входных дверей диван.

Я попросил разрешения сесть в стоявшее около {218} дивана кресло. Государь сел в другое кресло, лицом ко мне. Не более шагу разделяло нас.

- Ваше величество! - начал я, - я четыре дня пробыл в Петрограде и за это время виделся со многими общественными и государственными деятелями. Одни, узнав о моем приезде, сами ко мне поспешили, к другим я заезжал. Всё это - честные, любящие вас и Родину люди.

- Верю! Иные к вам не поехали бы, - заметил Государь.

- Так вот, все эти люди, - продолжал я, - обвиняют нас, приближенных ваших, называя нас подлыми и лживыми рабами, скрывающими от вас истину.

- Какие глупости! - воскликнул Государь.

- Нет, это верно! - возразил я. - Не стану говорить о других, - скажу о себе. В докладах о

поездках по фронту и вообще в беседах с вами приятное я всегда вам докладывал, а о неприятном и печальном часто умалчивал. Дальше я не хочу навлекать на себя справедливое обвинение и, как бы ни отнеслись вы к моему докладу, я изложу вам голую правду. Знаете ли вы, ваше величество, что происходит в стране, в армии, в Думе? Изволите ли прочитывать думские отчеты?

- Да, я читаю их, - ответил Государь.

- В "Новом времени"? - спросил я.

- Нет, более подробные, - сказал он.

- Изволили вы читать речи Милюкова, Шульгина?

- Да, - ответил он.

- Тогда вы, ваше величество, знаете, что творится в Государственной Думе. Там в отношении правительства нет теперь ни левых, ни правых партий, - все правые и левые объединились в одну партию, недовольную правительством, враждебную ему. Пока вас, ваше величество, отделяют от вашего правительства, но {219} кто поручится, что вскоре не изменится и в этом отношении дело. Вы, конечно, знаете, против кого именно главным образом направлено возмущение Думы. Вы знаете, что в Думе открыто назвали председателя Совета Министров вором, изменником и выгнали его вон.

- Какие гадости! - с возмущением воскликнул Государь.

- Почему же он не оправдывался, если он прав? - возразил я.

- Да как будешь оправдываться против таких несуразностей! - сказал Государь.

- Если бы кто-либо меня назвал вором или изменником, я не только перед Думой, я перед целым светом закричал бы, что это ложь, - опять возразил я.

- Я давно знаю Штюмера, знал его, когда он еще был Ярославским губернатором, - сказал Государь.

- Его, ваше величество, обвиняют и за то время... Затем. Министр внутренних дел Протопопов... Его ближайшие сотрудники с ужасом уверяют, что он сумасшедший.

- Я об этом слышал. С какого же времени Протопопов стал сумасшедшим? С того, - как я его назначил министром?

Ведь, в Государственную Думу выбирал его не я, а губерния. В губернские Симбирские предводители дворянства его избрало Симбирское дворянство; товарищем председателя Думы, а затем председателем посылавшейся в Лондон комиссии его избрала Дума. Тогда он не был сумасшедшим? А как только я выбрал Протопопова, все закричали, что он с ума сошел, - несколько волнуясь, возразил Государь.

- Но, ваше величество, действия Протопопова говорят об его ненормальности, - ответил я. Государь молчал.

{220} - Дальше. Обер-прокурор Раев, - продолжал я, - Разве может он делать что-либо путное для Церкви.

- Он всего два месяца обер-прокурором, - разве мог он сделать что-либо за это время? - возразил Государь.

- А я решаюсь уверять вас, что, если он и двадцать лет пробудет в этой должности, он ничего не сделает, ибо он не способен что-либо серьезное в этой области сделать, - ответил я. - Но самое ужасное в том, что на Петроградском митрополичьем престоле сидит негодный Питирим...

- Как негодный? У вас есть доказательства для этого? - почти вскрикнул, подпрыгнув в кресле, Государь.

- Так точно, ваше величество. Есть и сколько угодно, - спокойно ответил я. - Я более года заседаю с ним в Синоде и пока еще ни разу не слышал от него честного, правдивого слова. Окружают его лжецы, льстецы и обманщики. Он сам, ваше величество, лжец и обманщик. Когда трудно будет вам, он первый отвернется от вас.

- Но ведь любили же его в Грузии? - спросил Государь.

- Да, известные круги любили, - ответил я. - Но за что? За то, что он обещал Грузии автокефалию церковную, автономию государственную, на что едва ли он был вами

уполномочен, ваше величество! Гроза надвигается! - продолжал я. - Если начнутся народные волнения, - кто поможет вам подавить их? Армия? На армию не надейтесь! Я знаю ее настроение, - она может не поддержать вас. Я не хотел этого говорить, но теперь скажу: в гвардии идут серьезные разговоры о государственном перевороте, даже о смене династии. Вам может показаться, что я сгущаю краски. Спросите {221} тогда других, хорошо знакомых с настроением страны и армии людей!

И я назвал имена кн. Волконского и ген. Никольского.

- Пора, ваше величество, теперь страшная. Если разразится революционная буря, она может всё смести: и династию и, может быть, даже Россию. Если вы не жалеете России, пожалейте себя и свою семью. На вас и на вашу семью ведь прежде всего обрушится народный гнев. Страшно сказать: вас с семьей могут разорвать на клочки...

- Ужель вы думаете, что Россия для меня не дорога? - нервно спросил меня Государь.

- Я не смею этого думать, - ответил я, - я знаю вашу любовь к Родине, но осмеливаюсь сказать вам, что вы не оцениваете должным образом страшной обстановки, складывающейся около вас, которая может погубить и вас, и Родину. Пока от вас требуется немного: приставьте к делу людей честных, серьезных, государственных, знающих нужды народные и готовых самоотверженно пойти на удовлетворение их!

Затем я попросил у Государя прощения, что осмелился резким и неприятным разговором обеспокоить его.

- Верьте, ваше величество, что только любовь к вам и Родине заставили меня сделать это, - закончил я.

- Вы совершенно правильно поняли свой долг и впредь так поступайте! Помните, что двери моего кабинета всегда для вас открыты, - ласково сказал мне Государь, протягивая руку.

Ген. Н. И. Иванов рассказывал мне, со слов фрейлины А. А. Вырубовой, что по приезде Императрицы в Ставку Государь передал ей весь разговор.

- И ты его слушал! - с раздражением сказала царица.

{222} - Еще рясу носит, а говорит мне такие дерзости, поддакнул ей Государь.

Таков был наш Государь: добрый, деликатный, приветливый и смелый - без жены; безличный и безвольный - при жене.

Вышедши из кабинета, я нашел зал наполненным прибывшими на высочайший обед. Было уже 8 час. вечера. Когда я проходил мимо стоявшего у дверей великого князя Сергея Михайловича, он вполголоса спросил меня :

- Говорили?

- Всё сказал, - ответил я.

- Молодец! - одобрил он.

Почти вслед за мною вышел Государь. Всем он показался чрезвычайно взволнованным.

7-го ноября ожидалось прибытие в Ставку великого князя Николая Николаевича. 6-ое ноября было днем его рождения и полкового праздника царскосельских гусар, которыми он когда-то командовал и мундир которых носил. В Ставке говорили, что ему было поведено прибыть 7-го ноября с целью причинить ему неприятность, заставив его провести в вагоне день своего праздника.

Утверждали, что Государь сделал это под влиянием Воейкова, с некоторого времени враждебно относившегося к великому князю. Как бы то ни было, но великий князь не по своей воле провел 6-е ноября в пути.

Для встречи великого князя на вокзал к приходу поезда прибыли представитель Государя, - насколько помню, - ген. Воейков и служившие с великим князем в Барановичах чины Ставки. Выйдя из вагона, великий князь приветливо поздоровался со всеми, после чего пригласил меня к себе в вагон. Мы прошли в его кабинет. Великий князь закрыл двери, попросив меня {223} ориентировать его в положении дел. Я рассказал ему о петербургских настроениях, о событиях в Ставке, передал и свой разговор с Государем. По поводу последнего великий князь заметил:

- Конечно, вы хорошо сделали, переговорив с Государем. Но... дело не в Штюмере, не в Протопопове и даже не в Распутине, а в ней, только в ней. Уберите ее, посадите ее в монастырь, и Государь станет иным, и всё пойдет по-иному. А пока всякие меры бесполезны!

- Всё же, вы обязаны говорить с Государем, - сказал я.

- Да, я непременно буду говорить с ним. Если он не начнет разговора, я начну, - ответил великий князь.

Вел. князь прибыл в Ставку для разрешения ряда вопросов, касавшихся Кавказского фронта и края. Конечно, всех интересовало, как будет относиться Государь к своему гостю. Я наблюдал их за завтраками и обедами 7 и 8 ноября. Деликатность и приличие решительно ничем не были нарушены. Но холодность отношений чувствовалась. Уже такая краткость гощения великого князя в Ставке после столь продолжительной разлуки с Государем свидетельствовала, что прежних родственных, теплых отношений между царем и великим князем не стало.

Отъезд великого князя был назначен в 10 ч. веч. 8-го ноября. В половине 10-го вечера к великокняжескому поезду собрались, как и перед приездом, старые сослуживцы великого князя. Сам великий князь после высочайшего обеда задержался на несколько минут у Государя и приехал к поезду около 10 ч. вечера.

Быстро простившись со всеми, он пригласил меня зайти на несколько минут в его вагон. Тут, в своем кабинете, он рассказал мне о своем прощальном разговоре с Государем.

- Сам Государь ни намеком не обмолвился о {224} нашем внутреннем положении. Я заговорил: "Положение катастрофическое, - говорю я ему. - Мы все хотим помочь вам, но мы бессильны, если вы сами не поможете себе. Если вы не жалуете себя, пожалейте вот этого, что лежит тут!

И я указал ему на соседнюю комнату, где лежал больной Наследник.

- Я только и живу для него, - сказал Государь.

- Так пожалейте же его! Пока от вас требуется одно: чтобы вы были хозяином своего слова и чтобы вы сами правили Россией. Государь заплакал, обнял и поцеловал меня. Ничего не выйдет! - помолчав немного, с печалью сказал великий князь и безнадежно махнул рукой. - Всё в ней, она всему причиной...

Мы расстались.

9-го ноября, в 10 ч. утра, ко мне зашел член Государственного Совета П. М. Кауфман, состоявший при Государе в качестве лица, объединявшего все учреждения Красного Креста на фронте. Раньше мы с ним не были знакомы, а в недавнее время близко сошлись на почве одинакового отношения к Распутину и к распутинской клике. Он первый подал повод к нашему сближению.

- Я, кажется, обращаюсь по адресу, - сказал он, явившись ко мне в первый раз, и сразу, волнуясь, начал говорить о той страшной беде, какой представляется ему распутинская история.

Государь, по-видимому, сердечно и с уважением относился к Кауфману.

Теперь Кауфман пришел ко мне расстроенный, взволнованный.

- Благословите меня! Сейчас я иду к Государю. Выскажу ему всю горькую правду, - обратился он ко мне.

{225} Около 11 ч. Кауфман снова пришел ко мне еще больше взволнованный, раскрасневшийся, со слезами на глазах.

- Ну что? - спросил я.

- Всё, что накопилось на душе я высказал ему, - ответил он. - Между прочим я сказал: ваше величество, вы верите мне? Верите, что я верноподданный ваш, что я безгранично люблю вас? Отвечает: верю. - Тогда, говорю, - разрешите мне: я пойду и убью Гришку!

Государь расплакался, обнял и поцеловал меня. Мы несколько минут простояли, молча, в слезах.

- Какой же результат выйдет от вашего с таким трагическим концом разговора? -

спросил я Кауфмана.

- Никакого! Несчастный он, безвольный! - со слезами ответил Кауфман.

В один из следующих дней, когда я шел через садик во дворец к высочайшему завтраку, кто-то окликнул меня.

Оглянувшись, я увидел министра народного просвещения графа П. Н. Игнатьева.

- А я поджидал вас, - сказал он, здороваясь со мной. - Вот тут, в портфеле, у меня документы того безумия, которым Протопопов толкает государство в пропасть. Хочу пойти к Государю и представить ему эти документы, а за одно и прошение об отставке. Благословляете на это?

- Сказать правду Государю вы должны и на это благословляю, но на уход от дела - нет! Идите же с Богом и, как умеете, по совести, раскройте Государю глаза на ужас, которого он не хочет заметить!

В тот же день гр. Игнатьев имел длинный разговор с Государем.

9-го ноября прибыли в Ставку Штюмер и министр {226} путей сообщения А. Ф. Трепов. О последнем я должен сказать несколько слов.

Когда Трепов был назначен на пост министра путей сообщения, его назначение удивило и Ставку, и общество. Кроме того, что Трепов, подобно каждому другому гражданину, иногда ездил по железной дороге, он к государственным путям сообщения не имел никакого другого отношения. В Государственном Совете, членом которого он состоял, он слыл молчаливым. В своей предшествовавшей деятельности ничем особенным он не выделился. И, однако, став министром путей сообщения, он скоро заставил заговорить о себе.

Ревизовавший в 1916 году железные дороги на театре военных действий Савич, б. товарищ прокурора СПб судебной палаты и мой сослуживец по Смольному Институту, где он преподавал в девятисотых годах законоведение, летом этого года с восхищением рассказывал мне о своих докладах Трепову, который буквально поражал его быстротой своего ума, чрезвычайно глубоким и тонким пониманием дела, которое раньше ему не было известно.

Однажды, в августе или сентябре 1915 года, я ехал из Петрограда в Ставку с поездом, в котором ехал и Трепов. Увидев меня при остановке на одной из станций, А. Ф. Трепов увлек меня в свой вагон, и там мы более двух часов провели в чрезвычайно интересной беседе. Трепов задавал мне один за другим вопросы о положении Церкви, о недочетах в ее управлении, об ее отношении к разным сторонним влияниям на царскую семью и т. д.

Я понимал, что Трепов очень искусно выпытывает у меня. Но я с особой охотой и полной искренностью отвечал на все его вопросы, ибо видел, что эти вопросы не - празднословие светского болтуна, и задаются они не затем, чтобы убить время или занять гостя. За ними я видел серьезный интерес государственного деятеля, {227} понимавшего, что должна делать Церковь, и желавшего узнать, что же она в эту страшную пору делает.

Приезд Штюмера и Трепова взбудоражил Ставку.

После всего того, что говорилось в Думе и с царем о Штюмере, все ждали: что-то будет - останется Штюмер или нет? Если уйдет, - кто заменит его? Государь упорно хранил тайну, не обмолвившись за всё это время ни одним словом, которое дало бы намек на ту или иную возможность. Даже самые близкие к Государю лица его Свиты терялись в догадках.

Перед выходом Государя к обеду Штюмер стоял одиноко, задумчивый и молчаливый. За обедом ему указали место по правую руку Государя. Я следил за ним: за весь обед царь не сказал ему ни одного слова.

После обеда Штюмер и Трепов оба разом были приглашены в кабинет Государя, где пробыли с полчаса, а затем вместе уехали на вокзал. Около 11 ч. вечера их поезд отбыл из Могилева.

Когда на следующий день приглашенные собрались к высочайшему завтраку, перед приходом Государя только и слышался вопрос: ушел ли Штюмер? Но никто не мог дать ответа.

- По моему мнению, что-то неладное случилось со Штюмером, - заметил один из свитских.

- Почему вы это думаете? - спросили его.

- Штюмер раньше всегда давал 10 р. на чай шоферу, который отвозил его на вокзал, а вчера ничего не дал, - ответил он.

- Я тоже думаю, - сказал мне губернатор Явленский, - что-то с ним стряслось. Штюмер неизменно бывал внимателен и любезен со мной. А вчера приезжаю я с вице-губернатором к отходу поезда, вхожу в вагон и прошу камердинера доложить, что мы желаем {228} откланяться. Слышу: камердинер докладывает ему, а он сердито в ответ: "Скажи, чтобы скорее отправляли поезд!"... Так и ушли мы, не увидев его. Ничего подобного раньше не бывало...

С вечером в Ставке из уст в уста передавали новость: Штюмер уволен, на его место назначен Трепов.

Весть об отставке Штюмера была принята с огромной радостью и в Ставке, и в Петрограде, - кажется, и во всей России. Кроме "распутинцев", к которым он принадлежал, и самых крайних правых, как будто никто не жалел о вынужденном уходе случайно вознесенного и естественно упавшего сановника. Даже близкий к нему человек, губернатор Явленский не выразил ни сожаления, ни сострадания по поводу свержения своего патрона. Но с углублением нашей революции, с разочарованием в союзниках, которым мы были так верны и на которых законно возлагали теперь несбывшиеся надежды, по мере нарастания симпатий к немецкой ориентации, в слоях общественных начали расти симпатии к "непонятому" тогда Штюмеру. Тот же Д. Г. Явленский в января 1920 г. говорил мне в Екатеринодаре:

- Как прав был Штюмер, когда он настаивал на заключении сепаратного мира с немцами! А как он предвидел возможность революции, когда в октябре 1916 года требовал, чтобы ненадежный петроградский гарнизон был заменен отборными частями! Генерал Алексеев тогда отказал ему в этом. Вот и вышла революция!

Что вышло бы, если бы, по рецепту Б. В. Штюмера, Россия, изменив союзникам, заключила сепаратный мир с Германией, - этого я не знаю. Может быть, она и помогла бы Германии одолеть ее врагов, если бы одновременно с ее переходом на сторону немцев не выступила против нас Япония, и не произошли бы другие политические перегруппировки. Но, может быть, {229} разбитая вместе с Германией Россия подверглась бы жесточайшей каре за измену и поражение и надолго впряглась бы в позорнейшее ярмо рабства.

Не решая этого вопроса, я одно должен сказать: и в сознании царя, и в сознании народа мысль об измене тогда не совмещалась с понятиями о нашей великой Родине, и идея Штюмера могла встретить сочувствие лишь в небольших кругах. Верно ли, что ген. Алексеев не исполнил просьбы Штюмера о смене Петроградского гарнизона, - не знаю, но думаю, что верно: Явленский никогда не врал. Но спас ли бы новый гарнизон столицу (о России не говорю) от революции и не стал ли бы через некоторое время новый гарнизон таким же, каким был старый, - это вопрос. Недовольство народное так возросло и так, под влиянием крайне неудачной внутренней политики правительства, прогрессировало, что, - кажется мне, - никакой физической силой нельзя было искоренить его. Распутинщина вызвала огромное брожение и недовольство в интеллигентских кругах и в гвардии. В последней мысли о дворцовом перевороте была совсем близка к осуществлению. Война, потребовавшая от народа колоссальных жертв, обнаружившая многие язвы и недостатки нашего государственного строя, развила в народных массах сознание как своих прав, так и необходимости государственного обновления. Надвигавшуюся грозу можно было предупредить, откликнувшись на нужды и права народные широкими реформами, самоотвержением высших классов, а не пулеметами и пушками, как и не изменой чести великого народа.

Мечтая о прекращении народного возбуждения путем сепаратного мира и сильных гарнизонов, Штюмер, в то же время, поддерживал распутинщину и ту бездарную,

беспринципную внутреннюю политику, которая всё более и более расшатывала и расстраивала русскую государственную машину и которая, совместно с {230} распутинщиной, служила главной причиной нараставшего народного гнева.

Собираясь лечить болезнь, Штюмер не хотел подумать об устранении причин, вызывавших ее, но всё делал, чтобы углубить и осложнить ее.

{233}

IX

Девятый вал. Конец Распутина

В сентябре 1916 г. у ген. Алексеева начались тяжкие приступы застарелой болезни мочевого пузыря. Сначала его лечил штабной доктор А. А. Козловский, потом пригласили проф. Федорова. Последний же ежедневное пользование больно поручил своему ученику, специалисту-урологу, доктору Лежневу. Козловский был отстранен от больного. В течение октября болезнь не делала скачков ни в ту, ни в другую сторону, в начале же ноября настало резкое ухудшение, приковавшее больного к постели. Д-р Козловский, а за ним и чины Ставки в таком повороте болезни обвиняли доктора Лежнева, который будто бы вел курс лечения и небрежно, и невежественно. В Ставке открыто говорили даже о злонамеренной цели лечения. Считаю, что это было глубокой ошибкой. Д-р Козловский утверждал, что Лежнев ежедневно выкачивал из организма больного жидкости больше, чем поглощал больной, и что на этой почве обострялось истощение организма, дошедшее, наконец, до крайней степени. 7-го ноября положение больного стало угрожающим. Вечером больной пожелал видеть меня. Дежурившая у постели больного его дочь известила меня об этом.

Тотчас явившись, я застал генерала почти умирающим. Он лежал без движения; говорил, задыхаясь. Мое появление очень обрадовало его. Но беседовать с ним, ввиду крайней его слабости, долго мне не пришлось, и я скоро ушел от него, пообещав исполнить его просьбу - завтра в день его Ангела причастить его.

{234} 8-го ноября утром я со Св. Дарами прибыл к больному. Исповеди и причастию предшествовала краткая беседа. - Худо мне, - говорил, тяжело дыша, больной. - Возможно, что скоро умру. Но смерти я не боюсь. Если отзовет меня Господь, спокойно отойду туда. Всю свою жизнь я трудился, не жалея для Родины сил своих, своего не искал. Если судит мне Господь выздороветь, снова отдам себя делу; все свои силы, свой опыт и знания посвящу моей Родине. Да будет во всем воля Божия!

Исповедывался и причащался больной с восторженным воодушевлением. В большом государственном человеке мне ни раньше, ни позже не довелось наблюдать такой искренней, горячей веры. Сразу после причастия у него точно прибыло сил, - он ожил. Дух победил плоть... Наступило серьезное улучшение, давшее надежду на возможность выздоровления.

Вскоре после моего ухода к больному зашел Государь, чтобы от себя и от имени больного Наследника поздравить его с принятием Св. Тайн.

Между тем, в это время Ставка, как мы видели, да и Царское Село волновались из-за петроградских и думских настроений.

Как только известие об увольнении Штюмера долетело до Царского, Императрица рванулась в Могилев на выручку своего протеже. Но ей заявили, как рассказывали потом в Ставке, - что ее поезд в ремонт, на окончание которого потребуется несколько дней. Утверждали, что это было сделано с целью задержать царицу, пока в Могилеве отставка Штюмера не будет оформлена и официально объявлена.

Царица прибыла в Могилев 13 ноября, когда высочайший указ об увольнении Штюмера был уже опубликован. Теперь и всемогущая Императрица не могла изменить дела.

{235} Как реагировала царица в семейном кругу на принятое ее супругом без ее ведома, вопреки ее желанию, решение - этого я не знаю. Но на высочайших завтраках ее недовольство и раздражение прорывались наружу слишком ярко. Я первый на себе испытал их.

В предшествовавшие приезды в Ставку царица неизменно выражала свое внимание ко мне. В первый же день каждого приезда она обыкновенно после завтрака подзывала меня,

беседовала со мной по разным церковным вопросам, расспрашивала о поездках по фронту, о настроениях здоровых и больных солдат, о работе военных священников; делилась со мной доходившими до нее слухами о духовных нуждах воинов на театре войны и в тылу, иногда давала мне те или иные указания. По ее, например, указанию я должен был исхлопотать учреждение вакансий священников в санитарных поездах, сделать распоряжение о заготовлении в тыловых церквях запасных даров для фронтовых священников и пр. Между прочим, ей же принадлежит инициатива устройства всенародного по всей России моления с крестными ходами о даровании победы.

Государыня хотела, чтобы такие моления состоялись 29 июня 1915 г. в день Св. Апостолов Петра и Павла. Государь же, посоветовавшись со мной, повелел устроить их в день Казанской Божией Матери 8 июля. По ее же предложению состоялось в сентябре 1916 г. постановление Синода о командировании монастырями на фронт монахов для передовых санитарных отрядов, убравших с полей сражений убитых и раненых.

В этот же приезд царица демонстративно сторонилась меня: здороваясь со мной, небрежно протягивала мне руку, а сама отворачивалась от меня. После завтрака почти каждый из присутствовавших, не исключая младших офицеров, удостаивался ее разговора. Только я и П. М. Кауфман оказались обойденными. За всё время к нам она не обратилась ни с одним словом. Немилость {236} была слишком очевидна, а причина ее не оставляла сомнений. Наши беседы с царем восстановили против нас царицу.

Мое личное отношение к Императрице сейчас было таково, что ее немилость нисколько не огорчала меня, как и ее внимание не обрадовало бы меня. В моей душе кипело возмущение против нее не из-за немилости ко мне, а из-за ее слепоты, с которой она сама, очертя голову, неслась к пропасти и других влекла в пропасть. Мое тогдашнее настроение, может быть, станет ясным из следующего эпизода.

Мать архиепископа Константина в этот приезд царицы поднесла ей коврики собственной работы, а царица в ответ прислала матушке свой портрет и еще какой-то подарок. Конечно, старушка была в восторге от царского внимания. Когда я зашел к ее сыну, она выбежала, чтобы похвастать своим счастьем и показать мне присланное.

"И смотреть не хочу!.. Бог с нею и с ее подарками! Всех нас она тащит в пропасть!" - выпалил я удивленной старушке. Вот до какой степени у меня накопилось на душе.

Ее слепота еще раз проявилась, когда она за мое правдивое, полное участия к ее семье слово, ответила мне ненавистью.

У меня явилось, может быть, безумное, наверно - бесплодное, но упорное желание лицом к лицу сказать ей, куда идет она сама и куда, вследствие своей слепоты и упрямства, ведет она и свою семью, и свою страну, - сказать ей правду об ее советниках, которым одним она верит, и в особенности о Распутине. Я решил сделать попытку добиться ее аудиенции.

Воспользовавшись присутствием А. А. Вырубовой на высочайшем завтраке, кажется, 15 ноября, я обратился к ней с просьбой испросить мне аудиенцию у ее величества для доклада о нуждах воинов Кавказского фронта и еще о кое-каких делах.

{237} - Хорошо! Ее величество, наверно, завтра примет вас, - ответила Вырубова.

Но проходили день за днем, я ежедневно встречался с Вырубовой на высочайших завтраках, но она по поводу моей просьбы упорно молчала, а царица продолжала отворачиваться от меня. Более того. Раньше царица аккуратно посещала нашу чудную штабную церковь, теперь же она стала ходить к богослужениям в Братский монастырь. В нашей церкви царь появлялся один. Прежде никогда этого не бывало.

20 ноября я напомнил Вырубовой о своей просьбе.

- Ее величество не может вас принять, - она очень занята, - сухо сказала Вырубова.

Я отлично знал, что императрица в это время, кроме завтраков в Ставке, обедов у себя в вагоне и прогулок за город, ничем не была занята. Но отказ в приеме не удивил меня, ибо я его предвидел и ждал. Накануне я даже советовался с адмиралом Ниловым, профессором Федоровым и графом Граббе, не следует ли мне, в случае отказа в приеме, высказать всё, накопившееся на душе, Вырубовой? Они одобрили эту мысль.

- Она - набитая дура, - сказал один из них, - но ей верят. К тому же, она - граммофон царицы. Можете быть уверены, что ваш разговор тотчас будет передан туда.

Получив отказ в приеме, я обратился к Вырубовой:

"А вы можете уделить мне полчаса на беседу?" Временщица оказалась милостивей царицы. Мне было назначено свидание в поезде, в ее купе, в 6 ч. вечера 21 ноября.

В назначенный час я прибыл в поезд. Но Вырубовой там не было, - она еще не вернулась с царицей и девочками с прогулки. Мне пришлось прождать более 30 минут. Думаю, что и это было сделано не без умысла.

{238} Царица знала о предстоящем разговоре. При нормальных отношениях ко мне она никогда не допустила бы, чтобы я более получаса ждал возвращения Вырубовой. Наконец, моя собеседница явилась. Мы уселись в ее небольшом купе,

- Я к вам, Анна Александровна, с большим делом, - начал я.

- Что? Худое что-либо случилось с вами? - наивно спросила она.

- Со мной пока ничего худого не случилось. Я боюсь, чтобы худое не случилось с Россией, - ответил я.

- А что такое? - точно ничего не понимая, опять спросила она. Только что я начал говорить о настроении общества, войск, народа, как она прервала меня:

- Ничего вы не знаете, ничего не понимаете! Совсем не так! Войска нас любят. Ее величеству офицеры пишут много писем, - мы всё знаем. И какие письма! Коллективные!

Просят не верить слухам и людям, которые смущают. Народ тоже нас любит. Вот ее величество ездила в Новгород (Поездка царицы в Новгород была предпринята после высказанного ген. Ивановым Государю соображения, что ее величеству надо чаще выезжать в народ и показывать себя для снискания популярности и рассеяния разных неблагоприятных слухов.).

И я ездила с нею. Как нас встречали! Толпы народа!.. Цветами засыпали, руки целовали! А у вас говорят: народ не любит царицу. Неправда! Это общество петроградское, которому нечего делать. Вот оно и сплетничает, интригует. Вы думаете трудно успокоить его? Императрица даст два-три бала, и это общество будет у ее ног. Ваша Ставка с ума сходит! Раньше Алексеев запугивал Государя, теперь Воейков теряет голову, вы - тоже... Мы знаем, чего хочет Дума. Ей надо ограничить власть Государя, отнять у него верных людей. Вот теперь Дума против {239} Протопопова. Почему? Ведь он от них же! А потому, что Государь сам избрал его в министры...

- Разве других министров Государь не сам избрал? - спросил я. Но Вырубова, как бы не расслышав моего вопроса, продолжала:

- Довольно, что свалили Штюмерера, Протопопова свалить не удастся...

- Неужели вам жаль Штюмерера? - спросил я.

- А чем же он худой? - нервно ответила она. - Все они продажные, ничтожные!.. Родзянко раньше ругал Трепова, теперь хвалит его. А за что хвалит? Трепов дал ему отдельный вагон... Хорошо досталось Родзянке в этот приезд! Государь так припер его к стенке, что Родзянко краснел, пыхтел и ни слова не мог ответить (19 или 20 ноября Родзянко был с докладом у Государя. Я не думаю, чтобы Государь мог так припереть к стенке Родзянку, как это изображала Вырубова. Но Родзянко в этот приезд потерпел другое фиаско, повлиявшее, как я думаю, на дальнейшее отношение его к царской семье. С ведома Государя он был внесен в список приглашенных к высочайшему завтраку. Императрица же, просматривая список, приказала вычеркнуть его. Конечно, это тотчас же стало известно Родзянко от близких к нему лиц свиты. Можно представить, как переваривал такую обиду честолюбивый и самолюбивый Родзянко.).

Мы всех этих революционеров знаем, они у нас записаны... Великие князья и те потеряли голову! Сегодня только великий князь Павел Александрович требовал от Государя, чтобы тот дал конституцию и т. д., и т. д.

Мне приходилось более слушать, чем говорить, ибо лишь только я раскрывал рот, как Вырубова уже перебивала меня. Ей было всё ясно и понятно. В войсках, в народе не видно

никаких признаков надвигающейся революции, всё зло в нас, запугивающих Государя и интригующих против самых верных слуг его, т. е. {240} против Распутина, Штюрмера, Протопопова и Ко, да еще в сплетничающем петроградском обществе. Особенно удивило меня в разговоре то, что Вырубова постоянно выражалась во множественном числе "мы", не отделяя себя от царя и царицы, точно она уже была соправительницей их.

Из беседы с Вырубовой я вынес прочное убеждение, что там закрыли глаза, закусили удила и твердо решили, слушаясь только той, убаюкивающей их стороны, безудержно нестись вперед. Сомнений у меня не было, что своей беседой делу я пользы не принес, а себя еще дальше от них оттолкнул. Мы расстались холодно, как люди, только что понявшие, что между ними не может быть решительно ничего общего.

- Ах, батюшка, ее величество уже меня ожидает! До свидания! неожиданно прервала Вырубова нашу "милую" беседу.

С разбитым сердцем я уехал от нее.

В Ставке с нетерпением меня ждали Петрово-Соловово, граф Граббе и другие. Я обстоятельно изложил им свою беседу с "Аннушкой", как они звали Вырубову.

- Вот, видите! Нас все обвиняют, что мы не влияем на Государя. Теперь вы убедились, что мы значим? - сказал, выслушав мой рассказ, граф Граббе. С нами кушают, гуляют, шутят, но о серьезных вещах с нами не говорят, а уж вопросов государственных никогда не касаются. А попробуй сам заговорить, так тебя или слушать не станут, или просто напросто оборвут вопросом о погоде или еще о каком-либо пустяке. Для дел серьезных есть другие советники: Гришка, Аннушка, - вот им во всем верят, их слушают, с ними считаются. Ох, тяжело наше положение!

Отношение к Императрице у лиц Свиты в это время было явно враждебным. Исключение составляли лишь флигель-адъютант Саблин и лейб-медик Е. С. Боткин, которых считали ее поклонниками и с которыми {241} избегали разговоров о ней. Все прочие были солидарны в мнении, что в ней - главное несчастье. Только одни про себя думали эту тяжелую думу, у других же возмущение от времени до времени прорывалось наружу. Последнее случалось иногда и с наиболее спокойными. Всегда благодушный, невозмутимый и ровный старик, воспитатель Наследника, тайный советник П. В. Петров и тот однажды разразился в моем присутствии:

- Как ей не стыдно! Девки (Царские дочери.) - невесты, а она со "старцем" цацкается... Голову потеряла, забылась... Выстроили ей дворец в Ливадии, - говорит: "С детства мечтала о таком именно дворце!" А что она была раньше? Сама чулки штопала, коленкоровые юбки носила... Послал Бог счастье, - сидела бы спокойно, да Богу молилась... А то - лезет править!..

В Думе же в это время продолжалась буря. Правый Пуришкевич сказал там громовую речь против правительства и придворных кругов. Досталось не только Распутину, но и генералу Воейкову, которого он произвел в генералы "от кувакерии" (По имени минеральной воды Кувака, обнаруженной в имении Воейкова, усиленно пропагандировавшего и продававшего ее.). По поводу этой речи один из великих князей, Михайловичей, 22 ноября телеграфировал в Петроград своему брату Николаю Михайловичу: "Читал речь Пуришкевича. Плакал. Стыдно!"

22 ноября я уехал в Петроград, на заседание Св. Синода. Св. Синод и фронт с некоторого времени стали для меня местами убежища, своего рода отдушинами, куда я устремлялся, когда изнывала душа моя в Ставке.

С тем же поездом, с которым я 22 ноября выехал из Ставки, следовал вагон с министром Протопоповым. Несмотря на заявление Вырубовой, что Протопопова {242} свалить не удастся, в Ставке очень надеялись, что он будет уволен, а судя по минорному настроению, с которым он уезжал из Могилева, даже думали, что он уже уволен. Ехавший в одном со мною вагоне сенатор Трегубов заходил в пути к Протопопову со специальной целью выведать: уцелел он или нет? Но рекогносцировка не удалась: Трегубов ровно ничего не узнал. На Петроградском вокзале министр был встречен своими сослуживцами, в том

числе и князем Волконским.

Последний, улучив минуту, спросил меня, когда я выходил из вагона: министром ли вернулся Протопопов? В Петрограде не меньше, чем в Ставке, ждали увольнения Протопопова.

Заехав ко мне через несколько дней, Волконский с грустью сообщил, что всё осталось по-прежнему; более того, - патрон его вернулся из Ставки, окрыленным и ободренным. Тут же князь Волконский показал мне черновик составленного им, переписанного и подписанного самим великим князем Михаилом Александровичем, письма к Государю. Великий князь умолял брата откликнуться на общую мольбу, внять общему голосу, признающему необходимость реформ в управлении. В это же время в Петрограде упорно говорили о такой же коллективной просьбе к Государю, подписанной всеми великими князьями.

Между тем, в Петрограде события продолжали развиваться. Сначала Государственный Совет, а затем Съезд объединенного дворянства вынесли резолюцию против влияний "темных сил". 25 ноября, после обеда, мне доложили, что представители центра Государственного Совета хотят быть у меня около 7 час. вечера по чрезвычайно важному делу. Я попросил их прибыть ко мне после всенощной, около 9 час. вечера. В 10-м часу вечера ко мне пришли члены Государственного Совета А. Б. Нейдгардт и В. М. Андреевский. Они сообщили мне о только что состоявшемся постановлении Государственного Совета и передали просьбу центра {243} немедленно, как только приедет Государь в Царское Село, - а он ожидался туда 27-го, - ехать к нему, представить ему всю катастрофичность положения и умолять, чтобы он внял общему голосу.

Я должен был сообщить им, что мое выступление пред царем уже вызвало гнев Императрицы и что едва ли новая моя попытка окажется более успешной. Но они продолжали настаивать, и я обещал им испросить себе аудиенцию у Государя. Всё же я совершенно не верил в успех своей миссии, если бы меня и допустили к царю. Зашедший ко мне после их ухода генерал Никольский решительно высказался против моей поездки в Царское Село, где влияние распутинской партии и упрямство в данное время были безграничны. Я, однако, продолжал колебаться: добиваться или не добиваться высочайшей аудиенции? Мои колебания разрешила заехавшая ко мне на другой день фрейлина двора Е. С. Олив, состоявшая при великой княгине Марии Павловне (старшей).

Она рассказала мне, что по возвращении царицы из Ставки у нее была великая княгиня Виктория Федоровна, супруга великого князя Кирилла Владимировича, со специальной целью убедить ее серьезно отнестись ко всё возрастающему возбуждению в обществе и устранить его причины. Императрица в самой резкой форме выразила великой княгине свое неудовольствие по поводу непрошеного вмешательства не в свои дела и, не дав договорить, отпустила ее. Потом рассказывали, будто царица сказала ей: "Государь слаб волен. На него все влияют. Я теперь возьму правление в свои руки". Великая княгиня вернулась ни с чем. Е. С. Олив, подобно генералу Никольскому, считала мою поездку в Царское совершенно бесполезной, а, может быть, и вредной. Когда я передал В. М. Андреевскому соображения генерала Никольского и фрейлины Олив, то и он согласился, что мне не за чем ехать в Царское.

26 ноября, в день Георгиевского праздника, я по {244} телеграфу поздравил Государя. В этот же день вечером я получил ответную телеграмму: "Сердечно благодарю за поздравление. Очень сожалею, что не было вас на нашем чудном празднике. Николай".

2 или 3 декабря я завтракал у П. М. Кауфмана. Кроме меня, к завтраку был приглашен А. В. Кривошей.

Он принес поразившую всех нас весть. Только что министр двора, вызвав к себе члена Государственного Совета, бывшего министра земледелия, князя Б. А. Васильчикова, объявил ему высочайшее повеление о высылке его жены в Новгородскую губернию. Причиной столь необычайной за последние сто лет опалы послужило письмо, с которым честная, искренняя, глубоко верующая и благородная княгиня обратилась к Государыне, как женщина к

женщине, умоляя ее услышать голос людей, желающих счастья Родине.

- Со времен Павла ничего подобного не бывало! Как они не понимают, что такими мерами они лишь подливают масло в огонь! - закончил Кривошей свой рассказ.

- Я еще напишу царице письмо! Пусть и меня высылают! - горячилась хозяйка. Весь завтрак прошел в разговорах о "событиях", по согласному нашему убеждению, предвещавших катастрофу. Выйдя от Кауфмана, мы продолжали происходивший за столом разговор.

- Разве можно так играть на верноподданнических чувствах? Всем нам дорог царь. Но царь для Родины, а не Родина для царя! И если придется делать выбор между тем и другим, - кто согласится пожертвовать Родиной? говорил Кривошей. На углу Морской и площади Мариинского Дворца мы расстались.

- Когда представится случай, скажите Государю, что мы все его любим, страдаем с ним и хотим ему помочь, - сказал, прощаясь со мной, Кривошей.

{245} 4-го декабря я выехал из Петрограда, прибыв в Могилев 5-го. В этот же день вернулся и царь в Ставку.

- Ну и сели же вы в лужу, побеседовавши с Вырубовой! - сказал, здороваясь со мной, проф. С. П. Федоров. - Когда мы уезжали из Царского, я говорю ей: "О. Георгию прикажете поклониться"

А она отвечает: "Берите себе своего о. Георгия, - он нам не нужен". "Что ж нам брать. Он и так наш", - сказал я ей. Хороших врагов вы нажили себе! - многозначительно добавил Федоров.

- Я совершенно спокоен: противного совести я ничего не сделал, напротив, - исполнил свой долг. Не понравилось им, - это дело их вкуса, сказал я.

6-го декабря, в день тезоименитства Государя, митрополит Питирим был пожалован исключительной наградой, какую из последних митрополитов только трое имели, митрополиты Исидор, Филарет (московский) и Флавиан (киевский), - предношением креста при богослужении. По существу, - вещь безразличная эта награда, однако, подчеркивала чрезвычайное благоволение к нему Государя: предношение креста являлось наградой после Андрея Первозванного, а митрополит Питирим не имел еще Александра Невского с бриллиантами. Меня же она сильно задевала, так как ровно месяц тому назад я аттестовал царю Питирима, как лжеца и вообще негодного человека.

У меня являлась мысль: не есть ли эта награда ответ на мои обвинения, и я серьезно раздумывал, как мне реагировать на этот удар. Сидя за обедом рядом с профессором Федоровым, я заговорил с ним о питиримовской награде.

- Мне думается, что я должен теперь просить Государя об отставке, сказал я.

- Почему? - с удивлением спросил Федоров.

- Как же иначе? Разве я могу оставаться при {246} Государе, когда он не верит мне?

Вы же знаете, что 6-го ноября я аттестовал ему Питирима, как негодного человека, а он сегодня отличает его беспримерной наградой. Значит, он меня считает лжецом и клеветником, - ответил я.

- Ничего подобного это не означает! Разве вы не знаете нашего Государя? Нажали на него, - вот он и наградил. Вы должны игнорировать этот факт. Если же вы подадите прошение об отставке, этим вы покажете, что вам хотелось, чтобы Государь поступал по вашей указке. Это будет не в вашу пользу, - возразил профессор.

Раздумав, я решил последовать совету профессора и, не прибегая к служебному "самоубийству", выждать естественного конца своей протопресвитерской службы, ибо для меня теперь не оставалось никаких сомнений, что дни моего пребывания на занимаемом месте уже были сочтены. Как в 1915 году Распутин хвастался: "утоплю Верховного", так теперь возвеличенный Питирим откровенничал со своими приближенными: "Скоро мы свернем шею Шавельскому".

С 9-го декабря министр двора известил П. М. Кауфмана, что он освобождается от обязанностей при Ставке. Увольнение свалилось неожиданно, как снег на голову. Ежедневно

присутствовавшему на высочайших обедах и завтраках Кауфману Государь даже намек не сделал на возможность его удаления. А Кауфман ведь был первым чином двора. Государь его любил и уважал. В Свите мне объяснили, что Кауфман так неожиданно уволен по требованию из Царского, где нашли, что он своими разговорами очень нервнрует Государя.

Кажется, 10-го декабря, после обеда, Государь подошел к стоявшему рядом со мной генералу Н. И. Иванову и заговорил с ним. Говорили обо "всем". Генерал Иванов неожиданно обмолвился: "В стране и на фронте, ваше величество, настроение очень неспокойное".

{247} - Что за причина? Недостаток продовольствия? - спросил Государь.

- Никак нет! Внутренние настроения, - ответил генерал Иванов. Государь резко повернулся в сторону, соображая что-то, а потом, опять обратившись к генералу Иванову, спросил:

- А какая в прошлом году в это время была погода на Юго-западном фронте?

- Холодная, - ответил генерал Иванов.

- До свиданья! - сказал вдруг Государь, протягивая генералу руку.

Итак, Кауфмана за его честную и откровенную беседу 9-го ноября расцеловали, а 9-го декабря уволили; генерала Иванова, бывшего главнокомандующего, кавалера св. Георгия 2-ой степени, оборвали, а потом отвернулись от него.

И то, и другое было весьма симптоматичным. По указанию из Царского, Государь взял твердый курс и теперь, во избежание волнений, попросту отклоняет всякий разговор, могущий так или иначе обеспокоить его. Мера достаточно действительная для многих, кто, служа царю верой и правдой, хотел бы сказать ему горькую, но нужную правду...

Какой же смысл говорить правду, когда ты знаешь, что, в лучшем случае, не дослушав, отвернутся от тебя, и в худшем, - как беспокойного или даже революционера, выгонят тебя? И всё же, находились люди, которые, рискуя и тем, и другим, продолжали попытки раскрыть Государю глаза. К числу таких лиц принадлежал временный заместитель генерала Алексеева, генерал В. И. Гурко.

Хотя в Ставке он был калифом на час, но держал он себя чрезвычайно смело, совершенно независимо. Даже, когда он говорил с великим князем, чувствовалось, что говорит начальник Штаба, первое лицо Ставки после Государя. И перед Государем он держал себя с редким достоинством. Вот он-то, как передавали мне тогда близкие к нему люди, а после и он сам, не раз настойчиво {248} говорил с Государем и о Распутине, и о всё разрастающейся, грозившей катастрофой, внутренней неурядице. Но выступления Гурко, как и выступления всех лиц этого лагеря, были бесплодны. Государь всецело подчинился влиянию Царского Села и упрямо шел по внушенному ему оттуда пути. Увольнение Кауфмана взбудоражило, было, Ставку. Но за время войны и не такие неожиданности и передраги приходилось переживать обитателям Ставки и, однако, они успокаивались от тяжких переживаний. Успокоились скоро и на этот раз. Жизнь в Ставке потекла обычным порядком. Ни с фронта, ни из Петрограда чрезвычайных известий не приходило. Так продолжалось до 18 декабря. Этот день не забыть всем, кто был тогда в Ставке!

Было воскресенье. Как всегда, Государь с Наследником и свитой присутствовали на литургии в штабной церкви. Я не заметил ничего особенного в настроении Государя. Но ктитор церкви после литургии сказал мне:

"Что-то Государь сегодня мрачен и как будто рассеян". После обедни я завтракал за высочайшим столом. И тут я не заметил, чтобы Государь был взволнован или обеспокоен. Он держал себя за столом как всегда, разговаривал обо всем. Меня несколько удивило неожиданное сообщение, что в этот день в 4 часа Государь уезжает в Царское Село. Обыкновенно об отъездах Государя мы узнавали за несколько дней, а тут объявляется об его отъезде всего за несколько часов. Всех интересовало: что за причина столь неожиданного отъезда? Свитские упорно молчали.

Когда, возвращаясь с завтрака, я проходил мимо служебного кабинета дежурного генерала П. К. Кондзеровского, последний окликнул меня, попросив на минуту зайти.

- Величайшая новость! - радостно сказал генерал, когда я закрыл за собою двери кабинета. - Распутин {249} убит. Его убили великий князь Дмитрий Павлович, князь Юсупов и Пуришкевич во дворце Юсупова, куда они завезли его якобы для пирушки.

- Верно ли это? - спросил я.

- Да уж чего вернее! Я только что слышал это от командира корпуса жандармов графа Татищева, несколько часов тому назад прибывшего в Ставку, очевидно, для доклада Государю об убийстве.

И генерал дальше рассказал мне подробно об убийстве.

Когда Кондзерский в числе убийц назвал великого князя Дмитрия Павловича, мне вспомнился мой коротенький разговор с последним в половине ноября этого года, - вскоре после моей беседы с Государем. После высочайшего завтрака я спускался по лестнице в нижний этаж дворца; великий князь Дмитрий Павлович остановил меня на нижней площадке, у выхода. Мы заговорили с ним о "настроениях", о "событиях". Между прочим мы коснулись моего разговора с Государем 6-го ноября, при чем я заметил:

- Как видите, ваше высочество, я исполнил свой долг, теперь очередь за вами.

- Услышите!.. Может быть, и я исполню, - как-то загадочно ответил Дмитрий Павлович. Не намекал ли он тогда на подготовлявшееся убийство Распутина?

Привезенная гр. Татищевым весть с быстротой молнии распространилась по Ставке. Гр. Татищев сообщил ее в штабной столовой во время завтрака. И высшие, и низшие чины бросились поздравлять друг друга, целуясь, как в день Пасхи. И это происходило в Ставке Государя по случаю убийства его "собинного" друга! Когда и где было что-либо подобное?!

Такая же картина наблюдалась и повсюду в России, куда только долетала весть об убийстве "старца".

{250} Один из чинов Ставки рассказал мне, что, возвращаясь из Архангельска, он на одной из станций в Вологодской губернии наблюдал точно такую же картину, когда пассажиры из газет узнали, что Распутин убит. Началось всеобщее ликование. Знакомые и незнакомые обнимали и поздравляли друг друга.

Поезд Государя должен был выйти из Могилева ровно в 4 часа. Обыкновенно, Государь приезжал за несколько минут до отхода. В этот же раз, когда мы с ген. Кондзеровским и Ронжиным в 3 ч. с четвертью прибыли к поезду, Государь уже был там. Точно ему хотелось теперь, хоть на три версты, но ближе быть к Царскому, которое так остро переживало смерть "старца".

Погода стояла отвратительная: дул пронизывающий холодный ветер, моросил дождь, со снегом. Мы все, чтобы укрыться от стужи, зашли в соседний барак. К нам подошел командир конвоя гр. Граббе.

- Почему такой экстренный отъезд? - спросил я его.

- Не знаю, - ответил он.

- А верно ли, что "старец" убит? - Тот же ответ.

- Да вы не прячьтесь за свое: не знаю! Секрета не выдадим. Да и секрета нет. Если убит, - уже весь Петроград говорит об этом - настаивал я.

Граббе лукаво улыбался и твердил:

- Не знаю, не знаю.

Отогревшись немного, мы вышли к поезду. В это время Государь, с палкой в руке, возвращался с прогулки. Несмотря на резкий холод, он был в одной гимнастерке. Сопровождавшие его: Воейков, Долгоруков и, кажется, Мордвинов тоже, насколько помню, были в гимнастерках. Лица Свиты даже в костюмах старались подражать Государю. Как раз в этот момент к поезду {251} подъехал ген. Гурко. Он сразу подошел к Государю, и они вдвоем начали прохаживаться вдоль поезда. Как сейчас представляю фигуру Гурко: левую руку он заложил за спину, а правой размахивает, что-то доказывая Государю. Царь держится ровно, часто заглядывает в лицо Гурко. Я продолжаю следить за Государем, пытаюсь разгадать, как он переживает известие. Мои усилия напрасны: ни одно слово, ни одно движение Государя не выдают его беспокойства. Умел он скрывать свои мысли и чувства!

На следующий день я выехал в Петроград.

Убийство Распутина заслонило там все другие события, все интересы. Газеты были полны подробностей об убийстве "старца", о розысках его трупа. В гостиных и салонах только и говорили о Распутине. Факт убийства не подлежал сомнению, труп уже был вытаскен из реки, и все же находились маловерные, которые продолжали настаивать, что все слухи и газетные сообщения - выдумка, пущенная, чтобы успокоить общество: что Распутин жив и скрывается тут, или же инкогнито выехал на родину и т. п.

Заехавший ко мне 21 декабря ген. Иванов уверял меня, что ему известно из самого достоверного источника, которого, он, к сожалению, не может назвать, что Распутин жив и здоров. Все мои доводы не смогли разубедить старика.

Что в это время происходило в Царском? Мне рассказывали, что Императрица, получив первую весть об убийстве, прямо обомлела, потом взяла себя в руки и до самых похорон сохраняла наружное спокойствие.

Труп "старца", по извлечении из реки, поздно вечером был перевезен в Чесменскую богадельню (за Московской заставой), где было произведено вскрытие. В 4 часа утра викарий Вятской епархии, еп. Исидор! (Колоколов), в последнее время друживший с Распутиным и чрез это пользовавшийся большим вниманием Царского (Еп. Исидор по длинному ряду скандальнейших походов был "притчею" в нашем святительстве. Скандалы не раз приводили его к отрешению от викариата и к заточению в монастырь. Это, однако, не помешало ему в последнее время пользоваться особым вниманием Царского. Там близость к Распутину покрывала какие угодно согрешения и даже преступления.), совершил литургию и отпевание. Затем тело было перевезено на грузовике в Царское Село, где, возле устраивавшегося Вырубовой приюта для инвалидов, было погребено духовником их величеств, протопресвитером А. П. Васильевым. Царь, царица, Наследник и царевны присутствовали при погребении.

В то время, как можно сказать, вся Россия ликовала по случаю избавления от Распутина, при Дворе росло беспокойство. Незадолго до смерти "старец" будто бы предсказал, что его вскоре не станет. Когда исполнилось первое пророчество, стали припоминать другие. Вспомнили, что он же предсказывал, что в двадцатый или в сороковой день, - точно не помню, после его смерти тяжело заболит Наследник; и еще, - что Царская Семья, чуть ли и не Россия, будут безопасны только до тех пор, пока он жив. Эти предсказания беспокоили, как оказалось, не только Императрицу, Вырубову и других, потерявших голову, поклонников и поклонниц Распутина, но и гораздо более уравновешенных людей.

24-го февраля 1917 года (После 2-х месячного пребывания в Царском, Государь вернулся в Ставку.), после обеда, когда Государь обходил гостей, я, стоя рядом с проф. Федоровым, спрашиваю его:

- Что нового у вас в Царском? Как живут без "старца"? Чудес над гробом еще нет?

{253} - Да вы не смейтесь! - серьезно заметил мне Федоров.

- Ужель начались чудеса? - опять с улыбкой спросил я.

- Напрасно смеетесь! В Москве, где я гостил на праздниках, так же вот смеялись по поводу предсказания Григория, что Алексей Николаевич заболит в такой-то день после его смерти. Я говорил им: "Погодите смерься, - пусть пройдет указанный день!" Сам же я прервал данный мне отпуск, чтобы в этот день быть в Царском: мало ли что может случиться! Утром указанного "старцем" дня приезжаю в Царское и спешу прямо во дворец. Слава Богу, Наследник совершенно здоров! Придворные зубоскалы, знавшие причину моего приезда, начали вышучивать меня: "Поверил "старцу", а "старец"-то на этот раз промахнулся!" А я им говорю: "Обождите смеяться, - иды пришли, но иды не прошли!" Уходя из дворца, я оставил номер своего телефона, чтобы, в случае нужды, сразу могли найти меня, а сам на целый день задержался в Царском. Вечером вдруг зовут меня: "Наследнику плохо!" Я бросился во Дворец... Ужас, - мальчик истекает кровью! Еле, еле удалось остановить кровотечение... Вот вам и "старец"...

Посмотрели бы вы, как Наследник относился к нему! Во время этой болезни матрос Деревенько однажды приносит Наследнику просфору и говорит: "Я в церкви молился за вас; и вы помолитесь святым, чтобы они помогли вам скорее выздороветь!" А Наследник отвечает ему: "Нет теперь больше святых!.. Был святой - Григорий Ефимович, но его убили. Теперь и лечат меня, и молятся, а пользы нет. А он, бывало, принесет мне яблоко, погладит меня по больному месту, и мне сразу становится легче"... Вот вам и "старец", вот и смейтесь над чудесами! - многозначительно закончил профессор.

Я опускаю всем известные рассказы о том, как Распутин много раз исцелял Наследника, когда врачи оказывались бессильными остановить кровотечение, как он многократно предсказывал его болезнь. Сторонники

{254} Распутина видели в этом чудеса, противники его подозревали обман и мошенничество, в которых "старцу" будто бы помогали Вырубова, Бадмаев и другие. Как же объективно отнестись к Распутину?

Уже то обстоятельство, что Распутин заставлял задумываться над ним таких, отнюдь не склонных ни к суеверию, ни к мистицизму, - напротив, привыкших на всё смотреть прежде всего с позитивной точки зрения, людей, как проф. Федоров, - уже это одно вызывает серьезный вопрос: что же такое был Распутин?

Начало "карьеры" Распутина связывается с его набожностью. Епископы Феофан и Гермоген пленились "высокою" его религиозной настроенностью, узрев в нем Божьего человека, при том весьма оригинального.

На людей экзальтированных, или не обладающих острой наблюдательностью, Распутин, действительно, мог производить сильное впечатление. От всей его фигуры, слов и речей веяло какой-то особой таинственностью: острые, можно сказать, страшные, засевшие в глубоких впадинах глаза; узкий лоб, нависшие волосы, оригинальная борода; отрывистая, туманная, загадочная речь; непрерывные упоминания Бога; резкие движения. Суждения его смелы, дерзновенны, повелительны. Он их высказывал авторитетно, не считаясь ни с личностью, ни с положением своего собеседника. Всё это изумляло одних, ошеломляло других и совсем покоряло третьих.

Распутин выделялся из толпы, - его нельзя было не заметить.

Был ли на самом деле набожен Распутин?

В последние годы, - о прежних не говорю, ибо раньше я не знал Распутина, - его набожность была своеобразной и примитивной. Распутин посещал церкви, ежедневно молился у себя на дому, при беседах часто взывал к Богу, а в промежутках между молитвами и религиозными беседами творил всевозможные гадости {255} и пакости, им же несть числа. Беспутство его всем известно.

Его половая распущенность была ненасытной, вакханалии были его стихией. При этом, все гадости он творил не стесняясь, не скрывая их, не стыдясь их безобразия. Более того, - он их прикрывал именем Божиим: "Так, мол, Богу угодно", или "Это необходимо для усмирения плоти". Подобные Распутину фрукты нередко вырастали на нашей девственной почве. Я сейчас наблюдаю одного субъекта, который ежедневно по целым часам утром и вечером простаивает на молитве при непременно возженной лампадке, не пропускает ни одной церковной воскресной и праздничной службы, зачитывается духовными книгами, а всё остальное время отдаёт непрерывной лжи, шантажу, клевете и прочим гадостям, обирает и разоряет доверчивых людей.

Вспоминается четверостишие:

Во имя Божье Тит

Иконы золотит

Из грабленного злата,

Что силой взял у брата.

У таких типов набожность уживается с религиозным цинизмом, как она уживалась в грязной душе старика Карамазова.

Но главное у Распутина было - совсем не его набожность.

Не подлежит никакому сомнению, что Распутин обладал чрезвычайной магнетической силой. Поклонники и поклонницы указывали источники ее в его необыкновенной вере и святости. Конечно, они ошибались, ибо у Распутина не было ни веры, ни святости подлинного праведника! Серьезнее другое объяснение, что причину ее надо искать не в религиозной, а в физиологической области. Интересно мнение изучающего личность Распутина ученого, профессора-медика К. Он пришел к {256} выводу, что сила Распутина, его необыкновенная, граничащая с прозрением чувствительность, его способность воздействовать на других развились на половой почве, вследствие присущей ему феноменальной половой энергии. Тайну распутинской силы должна раскрыть наука.

Несомненно также, что Распутин обладал совсем незаурядным умом, дававшим ему возможность ориентироваться в самой сложной обстановке и высказывать суждения, совсем не обычные для неграмотного мужика. Его поклонникам такие суждения казались вещаниями свыше, своего рода откровениями. К ним прислушивались, внимая каждому слову; в туманном видели иносказание, в неясном искали высшего смысла. А умный и не менее хитрый мужик иногда намеренно затемнял мысль, облекая ее в туманные формы. Самый тон распутинской речи был весьма оригинален: Распутин не просто говорил, а изрекал, вещал; не советовал, а приказывал, требовал. На уже поработанную волю всё это действовало подавляюще.

Распутин не был ни сребролюбцем, ни стяжателем. Он мог получать сколько угодно средств: от царя и царицы, от поклонников и поклонниц, просителей и просительниц, наконец, от разных, пользовавшихся его услугами, лиц. Он и получал много. Но зато он щедрой рукой и раздавал получаемое: в его приемной, у ворот его дома толпились нуждающиеся, и Распутин одарял их. Не слышно, чтобы он оставил своей семье безмерное богатство.

Во время войны раздавались по адресу Распутина обвинения в измене. Что Распутин царицей и Вырубовой посвящался в военные тайны, это не подлежит сомнению. У этих лиц не было тайн от него. А царица всегда была в курсе военных и государственных дел. Также несомненно, что от Распутина без всякого труда могли выведывать эти тайны разные предатели, с {257} которыми он бражничал. В выборе собутыльников Распутин был неразборчив, а в хмелю чрезвычайно хвастлив и болтлив. Тогда от него можно было выведать, что угодно. И этой его слабостью ловко пользовались его бесчестные собутыльники. В данном случае Распутин наносил вред Родине, не отдавая себе отчета. На сознательную измену он, по моему мнению, не был способен. Для русского мужика подобный грех представлялся безгранично тяжким.

Своей печальной карьерой Распутин был обязан гораздо менее самому себе, чем болезненному состоянию тогдашнего высшего общества, к которому, главным образом, и принадлежали его поклонники и почитатели.

Спокойной, здоровой религиозностью в этом обществе тогда не удовлетворялись; как вообще в жизни, так и в религии тогда искали острых ощущений, чрезвычайных знамений, откровений, чудес. Светские люди увлекались спиритизмом, оккультизмом, а благочестивейшие епископы, как Феофан и Гермоген, всё отыскивали особого типа праведников, вроде Мити Гугнивого, Дивеевской "провещательницы", Ялтинской матушки Евгении и т. п. Распутин показался им отвечающим требованиям, предъявляющимся к подобного рода праведникам, и они, даже не испытав, как следовало бы, провели его сначала в великокняжеский, а потом и в царский дворец. В великокняжеском дворце скоро поняли, что это фальшивый праведник, а в царском - проглядели.

Там Распутин сумел пленить экзальтированно-набожную царицу. Она более многих других искала в религии таинственности, знамений, чудес, живых святых, а ее материнское чувство всё время ожидало помощи с Неба для ее несчастного, больного сына, которого бессильны были исцелить светила медицинской науки. Распутин вошел в царский дворец с уже установившейся репутацией "Божьего человека", {258} санкционированной тогда несомненными для Царского Села авторитетами - епископами Феофаном и Гермогеном.

Надо еще принять во внимание, что к этому времени царица окончательно разочаровалась в нашем высшем обществе и все свои симпатии отдала простому народу. Естественно, что она сразу с особым интересом и доверием отнеслась к выходцу из этого народа, всё возраставшими по мере того, как она приглядывалась к новоявленному праведнику. В последнем для нее всё было ново: и наружный вид, и смелость, с которой он наставлял царя с царицей и критиковал вельмож, и загадочно-туманная речь, и дерзновенность его движений. Когда же он несколько раз, после оказавшихся бесплодными усилий врачей-профессоров, исцелил ее больного сына, она окончательно уверовала в его особое избранничество, увидев в нем посланного Господом для ее семьи святого человека.

Если бы не оказалось ни одного распутинского сторонника, умевшего влиять на царицу и поддерживать ее веру в богоизбранничество Тобольского мужика, то и тогда царица не изменила бы своего отношения к Распутину: она была слишком независима в своих суждениях и настойчива в действиях. Но тут оказалась целая плеяда апологетов Распутина, всё крепче утверждавших царицу в ее вере. Тут были митрополиты Питирим и Макарий, целый сонм архиепископов и епископов, генералов, членов Государственного Совета, сенаторов, министров и прочих сановных лиц. Искренних почитателей Распутина было очень мало: Вырубова, Горловина и еще несколько женщин, - женщины легче поддавались его чарам. Из мужчин же я не решаюсь назвать ни одного, который бы искренно верил в его святость. Даже царский духовник, так горячо до 1914 г. отстаивавший Распутина, не был, думаю я, - искренним. Прочие же подмазывались к Распутину по явно корыстным побуждениям, надеясь при его поддержке {259} сделать карьеру или получить иные блага. И они не ошибались: маленький (во всех отношениях) Томский архиепископ Макарий и опальный Владикавказский Питирим, - оба ничем не выделявшиеся, - при помощи Распутина выросли в митрополитов Московского и Петербургского; опальный Псковский епископ Алексей (Молчанов) сразу стал экзархом Грузии; неуч, полуграмотный архимандрит Варнава за три года вырос в Тобольского архиепископа; дававший Распутину приют в своей квартире, серенький кандидат богословия Даманский стал товарищем обер-прокурора Св. Синода, а затем сенатором и т. д. Это было в духовном ведомстве. Подобное же происходило и в других ведомствах.

Почти все эти возвеличенные лица затем, благодаря тому же Распутину, становились близкими к царице. Митрополит Питирим, например, был так к ней близок, как ни один из предшествовавших митрополитов. Митрополит Макарий также стал для нее авторитетом. Даже и Даманский начал появляться в Царском. Все эти лица должны были, ради собственного же благоденствия, превозносить своего благодетеля. Получился заколдованный круг: Распутин вознес на высоту своих ставленников, а те превозносили его. В пользу Распутина говорили его "чудотворения"; ставленники Распутина теперь были сильны своим саном и положением. Царица из уст двух митрополитов и многих епископов слышала подтверждения своей веры, что Распутин - Божий избранник. Что могли теперь для нее значить изредка раздававшиеся противоположные голоса? Царица окончательно запуталась в сетях.

Влияние Распутина на царицу было неограниченным. Тут всякое его слово было всесильно. Царь был менее очарован Распутинным, но и он часто прислушивался к его голосу и поддавался его влиянию.

Но влияние Распутина не ограничивалось царем {260} и царицей. Называли длинный ряд министров и иных сановников: Штюрмера, Протопопова, Саблера, А. Н. Хвостова, Раева, кн. Шаховского, ген. Беляева, Белецкого, митрополита Питирима и др., на которых несколько каракуль, выведенных рукой Распутина, производили магическое действие: просителю, принесшему записку Распутина, оказывался самый милостивый прием, и просьба его, как бы она трудна ни была, немедленно исполнялась. Все эти лица запросто бывали у Распутина, как и он у них, с ним лобызались, пировали и пр. Сановным подражали их подчиненные. Таким путем разрасталась слава Распутина. Отсюда пошли разговоры, что Распутин всё может, что все министры послушны ему, что он правит государством.

Естественно, что после этого, с одной стороны, приемная Распутина стала заполняться просителями всех рангов: от добивавшихся министерских, генерал-губернаторских, митрополичьих и др. постов до действительно угнетенных и обремененных, чаявших найти у него защиту и помощь, а с другой, - начало расти, особенно в высших кругах, возмущение тем, что государством правит развратный, грязный и продажный мужик.

Если царь и царица оказывали Распутину особое внимание потому, что уверовали в него и прониклись особым почтением к нему, то все эти сановники раболепствовали перед Распутиным, спешно, исполняли все его требования, воскурляли перед ним фимиам исключительно по низким побуждениям. В душе все они ненавидели и презирали грязного мужика, наружно же всячески старались польстить и угодить ему, надеясь через него снискать себе царскую милость и все последующие блага. Поведение этих прислужников Распутина тем большего заслуживает осуждения, что оно диктовалось исключительно эгоистическими соображениями.

Ряд других министров, как П. А. Столыпин, С. Д. Сазонов, {261} В. Н. Коковцов, А. В. Кривошеин, А. А. Хвостов и др. сторонились Распутина и никогда не исполняли его просьб. Ко мне только однажды обратился с письмом Распутин, и я категорически отверг его просьбу, даже не ответив ему. И никто из действовавших таким образом не подвергся немедленной царской каре за свои действия.

Итак, представители верхов нашей аристократии сами же расширяли влияние Распутина и увеличивали его славу. А в это самое время, главным образом, в аристократических же сферах, началось будирование по поводу слухов о захвате Распутиным власти, которые, всё разрастаясь и переплетаясь с самыми гнусными нелепостями, расплзались во все стороны и перед революцией наполнили всю Россию. Получался новый заколдованный круг: одна часть "гнилой", как выражалась царица, аристократии закрепляла славу Распутина, а другая, возмущенная этой славой, борясь с Распутиным, одновременно, хоть и не желая, но привела к тому, что восстановила народ против царской семьи.

Если бы Распутин жил в царствование Императора Александра III, когда все в России, в том числе и в особенности, высшее общество, было более здоровым, он не смог бы нажить себе большей славы, как деревенского колдуна, чаровника. Больное время и прогнившая часть общества помогли ему подняться на головокружительную высоту, чтобы затем низвергнуться в пропасть и в известном отношении увлечь за собой и Россию.

В судьбе России Распутин сыграл огромную и роковую роль. Его свышедесятилетняя близость к царской семье, его постоянное невежественное и нечистое вмешательство в государственные дела, его покровительство всяким бездарностям и проходимцам восстанавливали и озлобляли не только против него, но и против царской семьи все слои населения, расслабляли {262} духовную связь, соединявшую народ с царем, давали обильную пищу искавшим развала врагам старого строя.

Трагичны роли царя и царицы в истории Распутина: слабовольный фаталист царь и нервнобольная царица. Не будь такой царицы, не было бы и Распутина-временщика. Тобольский мужик, - "Божий человек", - в самом счастливом случае привлек бы не надолго внимание нескольких неграмотных монахов, нескольких наивных священников и двух-трех неумных архиереев, а скорее всего прослыл бы за колдуна или, еще проще, занялся бы опять тем, чем занимался до "Божьечеловечества",

т. е. конокрадством или чем-либо подобным. Другой царь нашел бы способ положить предел опасным для государства увлечениям своей жены и не позволил бы невежественному мужику вмешиваться в государственные дела.

К несчастью для России, наш Государь не находил сил, чтобы пойти против воли царицы, а болезненная царица не могла стать выше материнского чувства и своих мистических увлечений.

Если хозяйничанье Распутина в государственных делах всех раздражало и озлобляло, то, с другой стороны, его всеильное влияние на царицу и царя укрепляло их в направлении,

по которому они упорно шли, не считаясь ни с общественным и народным настроением, ни с нуждами страны, ни со всё ярче вырисовывавшимися зловещими признаками надвигавшейся катастрофы. И то и другое ускоряло развязку.

Гибель Распутина всколыхнула Россию, но не могла уже остановить надвигавшейся грозы.

Во-первых, - было поздно: развал власти и развал верноподданнических чувств в обществе зашли очень далеко. А во-вторых, распутинщина с гибелью Распутина не умерла, но продолжала действовать. Обстановка же в Царском Селе была такова, что она не исключала {263} возможности появления новой, еще горшей распутинщины.

Интересная мысль высказана известным артистом Московского Художественного Театра Н. О. Массалитиновым: около Распутина теснились бесчестные люди, обдeldывавшие при его помощи свои грязные делишки; а почему не подошли к нему ближе, не завладели его сердцем люди честные, умные, государственные, чтобы воспользоваться его положением при царском дворе для высоких целей, для блага государства? Мысль красивая. Но практически она не могла осуществиться по многим причинам.

В лучших кругах нашего тогдашнего общества имя Распутина пользовалось крайней одиозностью, которая переносилась и на всех, связывавшихся с ним. Это неминуемо ожидало и того, кто решился бы с тайной благой целью сблизиться с Распутиным.

У нас умели совершать подвиги, жертвуя жизнью, открыто и смело говоря сильным мира правду, но на подобный подвиг могло не найтись "подвижника", ибо по существу такой подвиг сложнее, труднее и мучительнее жертвы жизнью. Жертвовавший жизнью, как и выступавший с правдивым словом, шли прямым путем и создавали себе имя, а сблизившийся с Распутиным, с тайной высокой целью, мог навсегда остаться неразгаданным и потерять доброе имя. Министр внутренних дел А. Н. Хвостов уверял, что он сошелся с Распутиным с целью: или обезвредить, или совсем устранить его. Возможно, что Хвостов говорил настоящую правду. Но он и доселе слывет за распутинца.

Другая трудность заключалась в том, что, оставаясь чистым, нельзя было быть близким к Распутину. Он всё время жил в атмосфере кутежей и распутства, в которых должны были принимать участие его "друзья"; "друзьям", с другой стороны, приходилось выслушивать разные нелепости, которые он изрекал, льстить ему, {264} пресмыкаться перед ним, целовать его руки и вообще всячески унижаться перед ним. Кто из чистых в силах был пойти на такой подвиг?!

А чистыми мерами нельзя было повлиять на него. Благочестивые епископы Феофан и Гермоген пытались достичь этого, но им пришлось отрясти прах от ног своих. Наконец, "чистые люди", сумевшие подойти к Распутину, наверное оказались бы бессильными что-либо сделать, ввиду массы "нечистых", окружавших его.

{267}

Х

Перед революцией

С самого начала войны ни для кого не составляло секрета, что наша армия в техническом оборудовании чрезвычайно уступает противнику, и что этот недостаток у нас компенсируется усиленным расходом живой силы, т. е. людского состава.

Несомненно, что почти в каждом бою наша убыль превышала убыль противника. За время войны некоторые наши полки потеряли 300-400 проц. своего состава. Большое расходование живой силы вызывало необходимость подготовки новых кадров для восполнения убыли. В 1916 году необходимость образования запасных кадров усилилась, в виду подготовлявшегося решительного наступления, которое предполагалось начать весной 1917 года. Ввиду указанных причин запасные батальоны зарождались и росли с невероятной быстротой. Ими была усеяна вся Россия. Состав запасного батальона, постепенно возрастая, в начале 1917 года доходил до 18-20 и даже до 25 тысяч человек. Такое колоссальное скопление людей в одной части создавало весьма благоприятную почву для всякой пропаганды, предупредить которую можно было лишь особо внимательным и серьезным

отношением командного состава этих батальонов не только к военному обучению, но и к духовному воспитанию вверенных ему чинов.

Я не имею достаточно данных, чтобы сказать решительное слово о том, насколько командный состав запасных батальонов сознавал свой долг духовно воспитывать своих солдат, и еще более - насколько успешно он выполнял этот долг. В общем, в последние годы {268} перед войной во взгляде на обязанности русского офицера произошла перемена огромной значимости. Раньше офицер был, прежде всего - военный инструктор, а потом начальник, каравший и миловавший. Офицер-воспитатель, в широком смысле этого слова, представлял явление редкое, случайное. Самая идея о необходимости не только обучать солдата, как воина, но и воспитывать его, как человека, как будто была чужда военной среде. Когда на завтраке во 2-ой Гвардейской дивизии в Красном Селе, летом 1911 года, в своей застольной речи я бросил фразу: Вы, г.г. офицеры, должны быть не только инструкторами, но и учителями и воспитателями не воспитанных ни нашей жизнью, ни нашей школой, попадающих в ваши руки молодых людей, - то в офицерской массе обедавших начался шум, раздались голоса: "Многого вы требуете от нас!".

Данный случай заставил меня развить эту мысль в печати. Ответом на мои думы явилась в "Русском инвалиде" статья ротмистра Богаевского, всецело поддержавшего меня. С тех пор толки об усилении воспитательного элемента в обучении солдат не сходили со страниц печати, а отзвуки их то и дело слышались в речах и приказах военных начальников.

Итак, сознание обязанности воспитывать солдатскую массу в 1916 году не было чуждым для командного состава запасных батальонов, но оно одно не могло обеспечить воспитательного дела по целому ряду причин. Во-первых, в состав офицерства за время войны вошло не мало людей случайных, не усвоивших традиций и духа военной среды, не проникшихся идеями военной службы.

Во-вторых, сильно изменился в сравнении с мирным временем и состав солдатской массы, состоявшей теперь преимущественно из запасных чинов, в значительной части из фабричных и заводских рабочих, оторванных от своих семейств и от своих занятий, шедших на военную службу часто с недовольством, иногда - с озлоблением. Если, таким образом, {269} воспитательский состав в армии теперь, в сравнении с мирным временем, был слабее, а солдатская масса в воспитательном отношении неподатливее и черствее, - то внешние обстоятельства до крайности осложняли дело воспитания. Краткость периода обучения запасных, не оставлявшая почти времени для культурно-просветительных занятий; перегруженность их разными чисто военными упражнениями; всё больше захватывающая страну усталость от войны; продовольственные затруднения; чрезвычайно тяжелые материальные условия жизни во многих батальонах: скученность, недостаток постельных принадлежностей и др., всё усиливавшаяся, шедшая с разных сторон пропаганда и пр. - всё это создавало тревожную, опасную для войск атмосферу, для рассеяния которой требовалось приложить какие-то исключительные усилия.

Естественными помощниками командного состава в деле духовного воспитания войск являлись священники. Большинство священников запасных батальонов назначались епархиальными архиереями и фактически оставались в их ведении. Хороший священник мог принести батальону большую пользу. Но и самые лучшие священники не могли дать всего, что требовалось для батальона, - ведь иные батальоны, как я уже заметил, насчитывали в себе по 18-25 тысяч человек.

Недостаточность наличных духовных сил для воспитания в запасных батальонах в особенности сильно ощутилась во второй половине 1916 года, когда усталость от войны дала себя чувствовать сильнее, и когда одновременно с этим сильнее выявились симптомы разлагающей пропаганды. Последняя отчасти касалась и флота, главным же образом, она разрасталась в тылу: в запасных госпиталях, в санитарных поездах и больше всего в запасных батальонах. Во фронтовой полосе работали неприятельские шпионы-агитаторы, в тылу же пропаганда шла и еще из двух центров: из {270} пораженческого лагеря наших политиков и от сектантов. Происходивший под председательством главного священника

фронта, прот. В. Грифцова, в августе 1916 года, в г. Киеве, Съезд военного духовенства Юго-западного фронта с несомненностью установил факт разлагающего влияния киевских и других сектантов на дух наших войск. Более того, он обратил внимание на вызывающее поведение некоторых сектантских вожаков, открыто проповедывавших близость революции и грозивших православным священникам теми ужасами, какие они переживают ныне.

- Недалеко то время, - говорил, например, один сектант Киевскому миссионеру прот. Савве Потехину, убитому потом большевиками, - когда вы, как древний пророк, будете скрываться в расселинах скал и дуплах деревьев, а вас будут потом перепиливать пилами.

Для усиления, в противовес таким влияниям, здорового духовного воспитания войск была сделана попытка в помощь офицерам и священникам запасных батальонов привлечь другие культурные силы. Первый опыт был сделан протоиереем В. Грифцовым в Жмеринке, где стояла чуть ли не целая запасная бригада. Там был составлен кружок из местных священников, учителей гимназий, судебных деятелей и других интеллигентов, организовавший для солдат лекции по разным отраслям знаний. Опыт очень удался.

Совокупность всех этих условий побудила меня представить в декабре 1916 года ген. Гурко докладную записку, в которой я доказывал необходимость принятия экстренных мер для духовного воспитания и укрепления армии, в особенности запасных частей ее. При этом я рекомендовал: во всех городах, где стоят запасные части, организовать подобные Жмеринскому культурно-просветительные кружки и обратить особенное внимание на сектантскую пропаганду в войсках тыла. Ген. Гурко отнесся к моей записке с полным {271} сочувствием, но вместо того, чтобы сразу же перейти к делу, к организации, он направил мою записку в Главный Штаб. Результат моей докладной записки удивит читателя. Попав в Главный Штаб, моя записка была передана, - как мне потом рассказывали, - в Комиссию. Комиссия признала полезными проектируемые мною культурно-просветительные кружки, а для прекращения сектантской пропаганды сочла необходимым воспретить нижним чинам посещение всяких сектантских собраний, наблюдение же как за сектантскими собраниями, так и за сектантскими проповедниками, поручить жандармской полиции.

Не успели еще сделать какие-либо распоряжения для приведения в исполнение решений комиссии, как вспыхнула революция. Революционные "товарищи" бросились в канцелярии и архивы отыскивать контрреволюционные документы. И вот, в Главном Штабе наткнулись на мою записку со всей разросшейся около нее перепиской. В начале: "Докладная записка протопресвитера по поводу пропаганды"; в конце - поручение пропагандистов жандармскому надзору и попечению... Вчитываться "товарищам" было некогда. Конечно, они нашли вопиющую контрреволюцию, после чего последовал приказ арестовать меня.

С 1 часа дня 9-го марта до 10 ч. вечера 10 марта 1917 года я просидел под арестом в Таврическом Дворце. Как бы по злой иронии судьбы моими товарищами по несчастью, - а их было до 3-х десятков, - были исключительно жандармы, - правда, всё крупных рангов. Исключение составляли лишь дворцовый комендант ген. Воейков и Петроградский градоначальник ген. Балк, но и их должность была сродни жандармской.

Должен, при этом, заметить, что "товарищи" при моем аресте всё же оказали мне, хоть и своеобразную, честь, выслав для моего ареста чуть ли не целый эскадрон кавалерии и поручив арестовать меня {272} неизвестному Ник. Вас. Чайковскому (книга его у нас в плане - ldn-knigi) , социал-революционеру, или народному-социалисту не помню точно, - с редкой деликатностью исполнившему данное ему поручение.

На фронте, как я уже сказал, пропаганда была менее чувствительной и заметной. Более всего страдал от нее Рижский фронт. Немцы избрали г. Ригу базой для своих шпионов и пропагандистов. Город кишел теми и другими. Пропаганда велась осторожно, но ловко и действенно. Высшему командованию приходилось то и дело перемещать с этого фронта воинские части и заменять их новыми, не тронутыми пропагандой, которых вскоре ожидала участь первых. Между тем, близость этого фронта к Петрограду делала его особенно ответственным.

В декабре 1916 года на Рижском фронте начались бои. В начале их мы имели некоторый успех, а потом произошла заминка. Начальник Штаба посоветовал мне проехать туда, чтобы подбодрить нуждавшиеся в моральной поддержке войска. 23-го декабря я выехал из Петрограда в Ригу, прибыл туда 24-го после полудня. Рижский фронт тогда занимала 12-ая армия, командующим которой был известный болгарский герой ген. Радко-Дмитриев, а начальником Штаба ген. Беляев, б. профессор Академии Генерального Штаба.

Прежде всего я направился к ген. Радко-Дмитриеву. Последний чрезвычайно обрадовался моему приезду, ознакомил меня с положением занимаемого его армией фронта и просил меня при посещении воинских частей обратить особое внимание на 5-ую Сибирскую стрелковую дивизию и главным образом на 17-й Сибирский стрелковый полк, отказавшийся несколько дней тому назад идти в наступление и теперь, как больной, изолированный от других. Я попросил генерала известить кого надо, что завтра, в день Рождества Христова, я совершу литургию в церкви этого полка.

Рано утром 25 декабря в сопровождении {273} штаб-офицера Генерального Штаба я отправился в штаб Сибирского корпуса, в состав которого входила 5 Сибирская стрелковая дивизия, а оттуда с командиром корпуса ген. Гандуриным выехал в расположение полка. Нас встретил выстроенный около церкви шпалерами полк с командиром во главе. Церковь помещалась в огромной землянке, которая теперь внутри была очень красиво декорирована ельником и искусственными цветами. Помещение было настолько обширно, что весь полк мог поместиться в нем. Простой, но изящный иконостас, самодельные из проволоки и патронов люстры, уставленные множеством горящих свечей подсвечники свидетельствовали о заботливой руке, устраивавшей эту церковь, а самой церкви придавали особую задушевность и уютность. Вслед за мною вошли в церковь встречавшие меня офицеры и солдаты. В настроении всех чувствовалось и смущение, и тревога. На прославившийся в Русско-японскую войну полк только что легло пятно измены. Теперь один его батальон, как заразный больной, был отделен, обезоружен и под караулом помещался верстах в трех от полка. С остальными тремя батальонами не общались другие полки дивизии. Тяжело было смотреть на офицеров, особенно на старших, - многих из них я знал по Русско-японской войне. Они были живыми свидетелями прежней славы полка, участниками его радостей и побед. Теперь лица их горели от стыда за родной, опозорившийся полк. Мое прибытие и служение в их церкви в другое время увеличило бы торжество праздника. Теперь же для всех было ясно, что мое появление среди них вызвано изменой полка своей воинской чести.

Печально-торжественно прошла великопраздничная служба. На обоих клиросах стройно и мощно пел многолюдный солдатский хор. Горячо молились присутствовавшие.

В конце литургии я обратился с поучением. Я {274} говорил на слова: "Слава в вышних Богу и на земле мир"... Говорил о том, что в настоящее время во всем мире нет мира, но что может быть мир в нашей душе, в нашей совести от сознания каждым из нас честно исполненного долга через христиански-терпеливое и мужественное перенесение для блага Родины, для счастья наших близких, разных трудов, лишений и страданий; что может быть мир в душе от чистой совести перед Богом, перед Родиной, перед ближними своими. Затем коснулся я прошлого полка, когда он покрывал свои знамена славой, удивляя других мужеством и доблестью. Наконец, заговорил о страшном несчастье, постигшем и опозорившем полк, о последней измене полка своему долгу. Я не могу воспроизвести слов, в которых я изображал ужас измены, позор перед миром, преступление перед Родиной. Помню, что во время моей речи слышались всхлипывания, потом рыдания. Опустились на колени сначала первые ряды, потом все. Все плакали, начиная со старых полковников, кончая молодыми солдатами. "Кайтесь!" - раздался чей-то голос. "Простите! Будем верны! Исправимся!" - отовсюду отвечали голоса. Картина была потрясающая. Мерцавшие свечи, кадилый дым, низкая крыша храма, как крышка гроба, спускавшаяся над этой массой склоненных, кающих голов, еще более усиливали впечатление...

Кончилась служба. Молящиеся все до одного приложились ко кресту. Из церкви я, в

сопровождении командира корпуса, командира полка, священников и нескольких офицеров, отправился в изолированный батальон.

К нашему приезду солдаты без оружия, - как я уже заметил, они были обезоружены, - стояли, выстроившись, около небольшой походной церкви. Командир корпуса предупредил меня, что настроение в батальоне дурное. Я поздоровался с выстроенными и затем {275} пригласил их войти в церковь, где облачившись начал служение молебна о ниспослании Божией помощи. В конце молебна, когда души воинов умиротворились молитвою, я обратился к ним со словом. Я начал осторожно с разъяснения высоты воинского подвига, представил ряд примеров самоотверженного исполнения воинского долга, потом коснулся славной истории полка, принесшего в течение этой войны множество жертв, обязывающих всякого, кто остался в живых, продолжить подвиг павших, чтобы не обесценить пролитой ими крови. Когда я заметил, что внимание моих слушателей достаточно напряжено, а сознание виновности уже возбуждено, - я взял тогда более решительный тон, заговорив об измене, как величайшем преступлении. Я не жалел красок, чтобы ярче представить тяжесть и гнусность совершенного батальоном проступка.

- Вы послушались врагов Родины, немецких шпионов, наполняющих Ригу, и разных предателей, которые хотят погубить нашу державу. Вы, доверившись им, изменили присяге; вы не поддержали в бою братьев своих, которые за вашу измену заплатили лишними жертвами, лишней кровью. Вы опозорили свой родной, славный полк. Чего достигли вы? Враги наши скажут о вас: "какие-то изменники, негодяи пробовали своей изменой помочь нам, но другие, честные русские полки устояли и не позволяли нам достичь успеха". Родина жестоко осудит вас. Ваши же родители, с благословением отпускаящие вас для честной службы, ваши близкие родные могут лишь проклятием ответить вам на вашу измену. Ваши павшие доблестные товарищи, когда вы там на небе встретитесь с ними, с отвращением отвернутся от вас. Ужель с изменой на лицах, с проклятием на головах ваших вы сможете спокойно жить на земле? Ужель радости и счастье могут быть уделом изменника, проклятого? Поймите, что сделали вы! Кайтесь в своем тяжком грехе! Загладьте его!

{276} Сопровождавшие меня офицеры потом говорили мне:

- Мы боялись за вас, как бы они за вашу слишком прямую и резкую речь не набросились на вас.

Но мой расчет оказался верным. Речь моя задела моих слушателей за живое. Слезы их были ответом на мои резкие укоры и обвинения.

- Что же скажу я о вас Государю, когда вернусь и увижу его? Могу ли я сказать, что вы сознали свой грех, раскаиваетесь в нем и не повторите его? - обратился я к ним.

- Скажите, скажите! - слышалось со всех сторон.

- Это не слова? Обещаете вы быть добрыми воинами?

- Обещаем, обещаем!

- А не изменниками, не трусами?..

- Нет, нет!

- Помните, что в храме перед крестом даете вы такое обещание! Идите же и в знак обещания целуйте крест!..

Один за другим, тихо и молча, с серьезными лицами, иные - с заплаканными глазами стали подходить воины ко кресту. У меня самого сердце разрывалось на части от такого покаянного зрелища. Вообще, бесконечно тяжела обязанность пастыря звать других на подвиг смерти. В данном же случае мне приходилось звать к усиленному подвигу, которым провинившиеся должны были загладить преступление.

Мне рассказывали, что через два дня этот батальон доблестно участвовал в атаке, во время которой многие, несомненно, смертью искупили свой грех.

Объявившаяся в славном 17-м Сибирском {277} стрелковом полку измена была своего рода *memento mori* (Помни о смерти.) для последующего времени.

Но быстрота, с которой она была потушена, показывала, что можно было тогда найти доступ к сердцу русского солдата. Замечательный подвижник этот русский солдат! Каждый

поручик мог вернуться с войны генералом; никому неизвестный до войны офицер мог сделаться знаменитым полководцем. Для солдата же высшей наградой могло быть: - остаться живым и здоровым вернуться к семье. И этой возможностью, этой мечтой он должен был жертвовать в каждую минуту своего пребывания на фронте. У офицера на войне одним из стимулов могло служить и честолюбие; у солдата - почти исключительным - совесть. Как же глубока и прочна была солдатская совесть, когда наш дореволюционный солдат бескорыстно, терпеливо и самоотверженно переносил все ужасы войны, прощал окупаемые солдатской кровью многие ошибки старших и покорно умирал за других. Одним из первых дел революции было то, что у солдата засорили его совесть, внушив ему, что нет Судьи человеческой совести, т. е. Бога, что он должен жить для себя, а не для других, помнить о земле и забыть о небе.

Я часто вспоминаю 25 декабря 1916 года, свое посещение 17-го Сибирского стрелкового полка.

(В конце мая 1917 г., когда революционные "мудрецы" уже успели развратить фронт, я посетил 63 Сибирский стрелковый полк. Полк митинговал и отказывался идти в окопы. Я попробовал заговорить тем языком, что в декабре 1916 г. говорил в 17 Сибирском стрелковом полку. Результат получился совершенно обратный: разъяренная толпа чуть не растерзала меня. Я спасся, только благодаря старослужащим солдатам, которые задержали напор озверевших и этим дали мне возможность сесть в автомобиль. На следующий день подобный же сюрприз постиг меня во 2-ой Гренадерской Кавказской дивизии, также не желавшей идти в окопы. Начальник дивизии прямо предупредил меня: "Будьте осторожны в каждом слове, иначе я ни за что не ручаюсь!" Моя беседа сопровождалась выкриками и издевательствами со стороны солдат.).

{278} В следующие дни я объезжал другие полки Рижского фронта. Между прочим я побывал в 3-ей Сибирской стрелковой дивизии, которою тогда командовал доблестный ген. Триковский, а начальником штаба дивизии был только что произведенный в генералы профессор Военной Академии Балтийский. Последний сопровождал меня в поездке по полкам дивизии. На пути он показал мне взятую несколько дней тому назад у немцев так называемую "пулеметную горку", причем объяснил мне значение этой горки для проведенной операции, систему ее укреплений и самый процесс занятия ее нашими войсками после предварительной подготовки артиллерией, произведшей поразившие меня и размерами, и меткостью, и планомерностью стрельбы разрушения.

Закончив посещение полков, мы зашли в устроенную за пулеметной горкой землянку, к моему знакомому по Русско-японской войне, ген. Ивашкевичу, теперь командиру бригады 3 Сибирской дивизии. Мы просидели всего несколько минут, как ген. Триковский потребовал по телефону, чтобы Балтийский немедленно вернулся в штаб дивизии. А в это время неприятель начал усиленный обстрел. Снаряды, перелетая горку и нашу землянку, падали по обеим сторонам дороги, по которой мы должны были возвращаться.

- Поедем! - обратился ко мне Балтийский.

- Как же вы поедете, когда снаряды падают по вашей дороге? - сказал ген. Ивашкевич.

- Что же такое, что падают? Надо еще, чтобы в {279} нас попали, а это совсем не так легко, - ответил, смеясь, Балтийский.

- Поедем!

Мы сели в автомобиль и быстро покатали по обстреливаемой дороге. Несколько снарядов упало вблизи нас, не причинив нам вреда, и мы благополучно прибыли в штаб дивизии.

С Рижского фронта я возвращался в Петроград с довольно отрядным чувством. Положение на этом фронте было напряженным. Оно требовало большого внимания и усилий со стороны командного и офицерского состава. Но чрезмерного страха фронт не внушал: войска были еще достаточно патриотичны и сильны духом, чтобы отражать происки агитаторов и выдерживать натиск неприятеля: командный состав, во главе с героем ген. Радко-Дмитриевым, бодро и смело смотрел на дальнейшую борьбу.

Вернувшись в Петроград, я решил задержаться тут на некоторое время, чтобы принять участие в нескольких послепраздничных заседаниях Св. Синода.

9-го или 10-го января ко мне заехал духовник их величеств прот. А. П. Васильев. После мая 1914 года о. Васильев ни разу не был у меня. Средостение (Распутин.), разделявшее нас, теперь уничтожено, - иначе я не умел объяснить его визита. Конечно, в беседе мы не могли не коснуться Распутина. - Пожалуй, лучше, что человек этот навсегда отстранен от царской семьи, - признавался о. Васильев. - Вы не представляете, до какой степени доходило у нас преклонение перед ним, - продолжал он. - 5-го ноября 1916 года происходила закладка строящегося А. А. Вырубовой церкви-приюта для инвалидов. Для совершения чина закладки был {280} приглашен викарий Петроградской епархии, епископ Мелхиседек (Сын священника Литовской епархии, служившего в 1916 г. в одном из запасных батальонов в Финляндии и весьма плохо заявившего себя.). Ему сослужили: я, настоятель Федоровского Государева собора, протоиерей Афанасий Беляев и два иеромонаха. Ждем, стоя в облачениях, в подготовленном шатре Императрицы с детьми.

Но раньше приезжает Распутин и становится на назначенном для царицы месте. В два часа дня прибыла царица с четырьмя дочерьми и с Вырубовой. Подойдя к епископу, она поцеловала поднесенный последним крест, а затем обменялась с епископом принятым в таких случаях приветствием, т. е. Императрица поцеловала руку епископа, а епископ руку Императрицы. То же сделали и все четыре великие княжны. От епископа Императрица направилась к Распутину, который продолжал стоять, как стоял, небрежно, отставив вперед одну ногу. Распутин протянул царице руку, а та почтительно поцеловала ее и отошла в сторону. (Епископы и митрополиты при приветствиях обменивались с царем, царицей и прочими высочайшими особами взаимным целованием рук, а Распутин подставлял только свою руку. Несоблюдение каким-либо митрополитом этой церемонии никогда не простилось бы, а Распутину это сходило, как должное. Что же такое после этого представлял Распутин в глазах царской семьи?).

Вслед за царицей к Распутину подошли ее дочери и также приложились к его руке. И это произошло на глазах не только духовенства, но и собравшегося народа: офицеров, придворных, инженеров, солдат, рабочих и посторонней публики! После закладки, - продолжал о. Васильев, - ко мне подошел один офицер из присутствовавших тут. "Батюшка! Что же это такое? обратился он почти со слезами ко мне. - У меня было две святыни: Бог и царь. Последней теперь не стало... Пойду пьянствовать!"...

{281} - Перед отъездом царицы, - рассказывал дальше о. Васильев, Вырубова обратилась к Распутину: "В 4 часа мы будем ждать вас, непременно приходите!" - "Приду", - ответил тот. Уехала царица с детьми и Вырубовой, а духовенство и некоторые из гостей отправились на завтрак, устроенный Ломаном в "Трапезе" возведенного им около собора церковного дома. Явился, конечно, сюда и Распутин. Всего было вдосталь. Столы ломились от яств и напитков. "Старец" усердно угощался. В 4 часа я говорю ему: "Пора тебе, Григорий Ефимович, уходить, - ждут там". "Ничаво! Пушай обождут!" - ответил он и продолжал бражничать. В половине 5-го, ушел, наконец. Царица уже ждала его в квартире Вырубовой. "Аннушка, вели вина подать!" - крикнул Распутин Вырубовой, входя в ее комнату. "Лучше бы чаю выпили!" - сказала последняя, видя, что "старец" и без того уже "на взводе". "Говорю: вина! Так давай вино!" - уже грозно обратился он к ней. Тотчас принесли бутылку белого вина. Опустившись в кресло, он залпом - стакан за стаканом осушил ее и опустошенную бутылку бросил в противоположный угол. Императрица после этого подошла к его креслу, стала на колени и свою голову положила на его колени. "Слышь! Напиши папаше, что я пьянствую и развратничаю; развратничаю и пьянствую", - бормотал ей заплетающимся языком Распутин.

(Закладка происходила 5 ноября 1916 года. В этот день царица писала Государю: "закладка церкви Ани прошла хорошо, наш Друг был там и милый епископ Исидор, епископ Мелхиседек и наш батюшка и т. д. были там... Только что видела нашего Друга - скажи ему по хорошему привет. Он был очень весел после обеда в Трапезе, - но не пьян". (Письма. Т. II,

стр. 229-230).).

Меня так поразила тогда нарисованная о Васильевым картина, что я забыл спросить, кто, именно, {282} рассказывал ему о происходившем в квартире Вырубовой. Но и виденного самим о Васильевым при закладке приюта было достаточно, чтобы навести ужас на всякого, кто еще не потерял смысла и разума. Самые заядлые злые враги царской власти не смогли бы найти более верного средства, чтобы уронить престиж, дискредитировать положение царской семьи, так открыто, всенародно выраженное царицей и ее дочерьми в столь неудачной, лучше сказать - в отвратительной и опасной форме - преклонение перед презренным, ненавистным для России "старцем". Что видели даже слепые, то было скрыто от глаз царской семьи.

Quem vult perdere dementat (Кого Бог хочет погубить. Он сперва лишает разума.).

В конце января вернулся из Севастополя в Ставку оправившийся после тяжелой болезни ген. Алексеев. Генерал Гурко уехал из Ставки.

Прошло больше месяца, как Ставка жила без Верховного. Из Царского, из Петрограда прилетали всё новые, неутешительные вести.

1-го января был выслан в свое имение Грушевку в Херсонской губернии великий князь Николай Михайлович, как беспокойный. Это было знаменательней, чем отставка Кауфмана и высылка княгини Васильчиковой.

В связи с этим, в Ставке усиленно заговорили о высказанном Императрицей решении взять управление государством в свои руки, так как Государь "слабоволен и легко поддается влияниям". Диктаторство царицы никому не улыбалось. Потом пришла новая весть. Несговорчивый председатель Совета Министров А. Ф. Трепов поставил перед царем ребром вопрос: я или Протопопов. И был уволен. Его место занял князь Н. Д. Голицын, человек чрезвычайно мягкий и честный, но совершенно не подготовленный к тому делу, которое ему вручалось: добрый русский барин, но не государственного ума человек. Кн. Н. Д. Голицын служил {283} губернатором в Архангельске, потом в Калуге и, наконец, в Твери, откуда был назначен сенатором. Теперь он состоял председателем Комитета Императрицы помощи раненым и увечным воинам и был очень близок к ней. Протопопов подал мысль царице назначить Голицына председателем Совета Министров, рассчитывая воспользоваться его безволием и забрать управление в свои руки.

Императрица, которая в данное время была увлечена внушенной ей тем же Протопоповым мыслью - взять на себя крест Екатерины Великой и искоренить крамолу, ухватилась за предложение сделать председателем Совета Министров кроткого, во всем ей покорного человека. И Голицын получил назначение. Двоюродная сестра кн. Голицына, очень дружная с ним Е. И. Мосолова рассказывала мне, что, сознавая полную свою неподготовленность к работе в таком масштабе, кн. Голицын упорно отказывался от назначения. Императрица потребовала его согласия, и он, не смоги устоять, согласился. Самые близкие его родственники, весьма любившие его за многие чудные качества его сердца, ужаснулись такому назначению и открыто высказывались, что добра от этого не выйдет, так как милый князь совершенно не годен для навязанного ему поста.

Под влиянием всех переживаний атмосфера в Ставке всё более сгущалась. В отношении Государя в Ставке всё заметнее нарастало особое чувство - не то недовольства им, не то обиды за него. Усилились критика его действий, некоторое отчуждение от него. Кончался второй месяц, как он уехал из Ставки. Ставка должна была бы соскучиться без своего Верховного, а, между тем, создалось такое настроение, точно чины Ставки отдыхают от переживаний, которые будились пребыванием среди них Государя и его действиями. И когда в половине февраля стало известно, что 23 февраля Государь возвращается в Ставку, чины Ставки, особенно старшие совсем не обрадовались, - приходилось слышать:

{284} - Чего едет? Сидел бы лучше там!

Так спокойно было, когда его тут не было.

Узнав, что Государь 23 февраля прибывает в Ставку, я решил через день после его приезда уехать на фронт и там задержаться насколько возможно дольше. Моя поездка к тому

же вызывалась необходимостью. Уже в это время шли усиленные приготовления армии к наступлению, которое должно было начаться ранним летом и быть решающим. Предупрежденный об этом, я должен был оживить и усилить работу духовенства на фронте. Не имея возможности объехать все части и переговорить с каждым священником, я решил на каждом фронте созвать съезд духовенства с непременным участием в нем всех дивизионных благочинных и представителей от духовенства госпиталей, санитарных поездов, запасных батальонов и пр.

Съезды должны были собраться: 1) на Северном фронте 26 февраля в г. Пскове; 2) на Западном - 8 марта в г. Минске; 3) на Юго-западном - 17 марта в г. Бердичеве и 4) на Румынском - 26 марта в г. Кишиневе. Тут, сообщая с духовенством, я должен был пересмотреть нашу прошлую работу, выяснить настроение войск, их духовные нужды и запросы и, соответственно этому, определить задачи и план нашей работы в ближайшее время. Участники съездов должны были затем ознакомить с принятыми решениями и указаниями прочих, не участвовавших на съездах, священников. Ген. Алексеев, которому я доложил о своих намерениях, одобрил мой план и, с своей стороны, сделал некоторые распоряжения для беспрепятственного осуществления его.

23-го февраля, в четверг, в 3 часа дня Государь прибыл в Ставку. На вокзале обычная встреча. Как и прежде, Государь ласков и приветлив. Но в наружном его виде произошла значительная перемена. Он постарел, осунулся. Стало больше седых волос, больше морщин, {285} - лицо как-то сморщилось, точно подсохло. С ним приехали министр двора и прежние лица Свиты.

Вечером, как и прежде, я был приглашен к высочайшему обеду. По одну сторону меня сидел адм. Нилов, по другую - проф. Федоров. Старик Фредерикс занимал свое обычное место, против Государя, и запивал обед вином. Дома жена и дочь, опасаясь за его здоровье, лишали его этого удовольствия. В Ставке никто не стеснял его. В конце обеда он приказал лакею подать ему фрукты. Лакей поднес на тарелке грушу.

- Это яблоко или груша? - спросил гр. Фредерикс, глядя в упор на лакея.

- Слышите! - обратился ко мне адм. Нилов. - Дожить до такого состояния, что не уметь отличить яблоко от груши... И это министр двора, первый советник Государя!.. Хорош советник?..

Когда пили кофе, я обратился к проф. Федорову:

- Я хочу задать вам, Сергей Петрович, один щекотливый вопрос. Если найдете почему-либо неудобным ответить на него, скажите прямо.

- Пожалуйста! - сказал Федоров.

- Вы, Сергей Петрович, знаете, что в вашей придворной семье я являюсь почти случайным гостем. То вы уезжаете в Царское Село, а я остаюсь здесь, то я уезжаю либо на фронт, либо в Петроград, когда вы находитесь в Ставке. Я чаще вдали от вас, чем с вами. И, однако, я начинаю задыхаться в вашей атмосфере - фальши с одной стороны, безумия - с другой. Мне страшно становится, когда я вижу, как люди с закрытыми глазами несутся к пропасти, оставаясь наружно спокойными и жизнерадостными. Но вы всегда в этой среде. Вот я и не могу понять: как это вы - человек широко образованный с прогрессивными взглядами, умный и чуткий, можете мириться со всем происходящим, как вы уживаетесь с этой средой? Еще раз повторяю: {286} если почему-либо неудобно вам ответить на мой вопрос, - пожалуйста, не отвечайте.

- Почему же не ответить? - спокойно сказал Федоров, - Не вы первый задаете мне такой вопрос. В Москве мои знакомые часто задавали его. Я коротко отвечаю вам. Я - врач: лечу Алексея Николаевича, прекрасно знаю его организм, он привык ко мне, - я не имею права его оставить. Вы, может быть, думаете, что мне выгодно оставаться тут. Совсем нет! В Петрограде я зарабатывал 40 тысяч рублей в год; тут я получаю крохи. По долгу врача, а не из-за выгоды я живу здесь. Относительно же всего происходящего... Оно меня не касается... Помочь делу я бессилён...

После обеда я доложил Государю о своем намерении созвать съезды духовенства в

Пскове, Минске, Бердичеве и Кишиневе и о цели этих съездов. Государь отнесся с большим сочувствием к моему желанию расшевелить духовенство для усиленной работы и разрешил мне выехать из Ставки в Псков в субботу 25 февраля.

25 февраля за завтраком я в последний раз видел своего Государя.

После приезда Государя в Ставке начали усиленно говорить о готовящихся каких-то серьезных мерах, в связи с работой Думы. Поговаривали о роспуске Думы, об усилении административных строгостей и пр. Предполагая, что подобные разговоры идут и на фронте, и что в Пскове меня начнут осаждать разными вопросами и расспросами, насколько можно придавать значение таким разговорам, я перед своим отъездом старался узнать у ген. Войекова, проф. Федорова и других лиц Свиты: не готовится ли в государственном управлении что-либо серьезное и неожиданное. Они уверяли меня, что все разговоры не имеют решительно никакого основания. И я, успокоенный ими, вечером 25-го февраля выехал из Ставки в Псков через ст. Дно.

{287} Поезд прибыл в Псков с огромным опозданием, около 9 час. веч. 26 февраля. С вокзала я проехал прямо на собрание военного духовенства и тотчас открыл заседание. На собрании присутствовало до 60 военных священников, - большинство из них военные благочинные, - и несколько ктиторов военных церквей.

Прежде всего, я поставил вопрос о настроении фронта. Ответ получился совершенно успокоительный: настроение твердое; дух войск хороший; утомления не заметно; пропаганда не достигает своей цели. Одно лишь беспокоит фронт, - это слухи о роспуске Думы. Не дай Бог, - Думу распустят, тогда нельзя поручиться, что не произойдет волнений. Когда я категорически заявил, что слухи о предстоящем роспуске Думы ни на чем не основаны, некоторые священники перекрестились, облегченно вздохнув: "Слава Богу!"

До половины 2-го ночи мы успели разрешить главные вопросы предстоявшей нам на фронте работы, и я с собрания прямо проехал на вокзал к отходившему в Петроград в 2 часа ночи поезду.

Во время нашего собрания Главнокомандующий генерал Рузский через начальника Штаба ген. Ю. Н. Данилова передал мне приглашение на другой день завтракать у него, но я отказался, так как спешил в Петроград, чтобы в понедельник, 27 февраля, принять участие в заседании Св. Синода.

В Петроград я прибыл 27 февраля в 10-м часу утра. К моему крайнему удивлению, на вокзале не оказалось ни одного извозчика, и я, оставив вещи в вагоне, с маленьким саквояжем в руках отправился с вокзала пешком. Встретившийся около Троицкого собора извозчик, к которому я обратился с просьбой довезти меня до угла Воскресенского проспекта и Фурштатской, точно не заметив меня, молча проехал дальше. Я шел по совершенно безлюдным улицам. Стены домов и заборов {288} пестрели воззваниями командующего войсками Петроградского округа, ген. Хабалова, с призывом граждан к порядку и с угрозами забастовщикам и бунтовщикам. Тут только я понял, откуда выросли распространившиеся и в Ставке и по фронту тревожные слухи. И еще раз я подивился поразительному спокойствию и Государя, и его Свиты, не нарушенному даже начавшейся бурей.

Когда я с Бассейной ул. повернул на Знаменскую, послышались звуки Марсельезы, крики "ура", раздались ружейные выстрелы. Это с Кирочной на Знаменскую ул. выступал лейб-гвардии Волынский полк с флагами, в боевом порядке, сопровождаемый множеством народа. Одни неистово кричали, беснуясь от радости; другие плакали. Один молодой человек со слезами на глазах подбежал ко мне: "Батюшка, что же это такое?" - крикнул он. - "Доигрались до бунта!" - с горечью ответил я. Полк скоро по одному из переулков повернул на Литейный проспект. Кирочная улица около церкви Св. Косьмы и Демьяна была запружена солдатами. Посреди улицы были расставлены ружья в козлы. Подошедши, я спросил унтера: можно ли мне перейти через улицу, чтобы попасть в свой дом, находившийся рядом с церковью? Унтер очень вежливо разрешил мне, и я протискался сквозь толпу. Через минуту я был в своей квартире.

На следующий день я хотел выехать в Ставку, но из Государственной Думы мне было объявлено, что до особого распоряжения я должен оставаться в Петрограде. Что произошло в это время в Ставке, а потом во Пскове вокруг Государя, об этом много писали.

Я закончу свое повествование слышанным мною от проф. Федорова рассказом о дне отречения Государя от престола.

Роковой день 2-го марта был проведен Государем так же, как и прочие. "И бысть вечер, и бысть утро, - еще один день", - можно сказать об этом дне. Вопрос {289} об отречении Государя к этому дню уже был решен. Тем не менее, не только порядок дня, но и настроение Государя, в сравнении с обычным, как будто ни на йоту не изменилось. 2-го марта Государь встал в обычное время; потом занимался утренним туалетом, молился Богу; со свитой пил кофе, причем говорили обо всем, кроме дел государственных и переживаемых событий. Потом занятия в кабинете, прогулка, затем завтрак, Государь спокоен, разговорчив, точно ничего не происходит. Потом опять прогулка с приближенными и после нее чай.

Около 6 час. вечера Государь приглашает к себе в вагон проф. Федорова и просит присесть. Затем между ними происходит следующий разговор:

- Скажите мне, Сергей Петрович, откровенно: может ли совсем выздороветь Алексей Николаевич? - обращается Государь к проф. Федорову.

- Если ваше величество верите в чудо, то для чуда нет границ. Если же хотите знать слово науки, то я должен сказать, что наука пока не знает случаев полного исцеления от этой болезни. Может быть, лишь вопрос о продолжительности болезни. Одни из таких больных умирали в детском возрасте, другие семи лет, иные двадцати, а герцог Абрुцкий дожил до 42 лет. Дальше никто не жил, - ответил проф. Федоров.

- Значит, вы считаете болезнь неизлечимой?

- Да, ваше величество!

- Ну что ж! Мы с Алексеем Николаевичем поселимся в Ливадии. Крымский климат очень благотворно действует на него, и он там, Бог даст, окрепнет.

- Выше величество ошибаетесь, если думаете, что после вашего отречения вам позволят жить с Алексеем Николаевичем, когда он станет Государем.

- Как не позволят! Этого не может быть!

- Да, не позволят, ваше величество.

{290} - Я без него жить не могу. Тогда я и за него отрекись. Надо выяснить вопрос!

После этого были приглашены гр. Фредерикс, начальник походной канцелярии полк. Нарышкин и еще, кажется, Воейков, которые сообща разрешили вопрос в том же смысле, как говорил проф. Федоров.

Государь решил отречься и за Наследника.

В 7 ч. 30 м. вечера обед, а за обедом - обычные, совершенно спокойные разговоры, точно ничего не случилось, ничего не происходит.

В 10 час. вечера приехали Гучков и Шульгин. Государь вел с ними беседу, закончившуюся подписанием им акта отречения в пользу великого князя Михаила Александровича. В 12-м часу ночи Государь, отпустивши их обоих, вошел в столовую, где свита сидела за чаепитием.

- Как долго они (Т. е. Гучков и Шульгин.) меня задержали! - сказал Государь, обратившись к свите, и затем началась беседа о разных разностях, как вчера и третьего дня. Государь был совершенно спокоен...

{293}

XI

Царь и царица в заточении

(Эта глава написана в июле 1931 года.)

Итак, политическая слепота и непреклонная самоуверенность Императрицы Александры Федоровны, безволие, фаталистическая покорность судьбе и почти рабское подчинение Императора Николая Александровича своей жене были одною из не последних причин, приведших великое Российское государство к неслыханной катастрофе.

Но их духовные образы оказались бы незаконченными, если их рассматривать только на фоне и в пору их царственного величия и не вспомнить, какими они оказались в пору унижения и страданий, когда Российский Самодержец и его Царственная Супруга обратились в узников.

В моем собственном сознании образ Императрицы Александры Федоровны двойтся, представляясь в двух совершенно различных очертаниях. Царица Александра Федоровна на троне и она же в заточении, в изгнании - это как бы две разные фигуры, во многих отношениях не похожие друг на друга.

Царица на троне - властная, настойчивая и непреклонная, царица в изгнании - смиренная и кроткая, незлобивая и покорная. Даже вера в Бога и Его святой Промысел у заточенной царицы становится иною - более спокойной, проникновенной и глубокой, нежной и чистой.

{294}

Императрица на троне

Высокая и стройная, всегда серьезная, с постоянным оттенком глубокой грусти, с выступающими на лице красноватыми пятнами, свидетельствовавшими о ее нервно-повышенном состоянии, с ее красивыми и строгими чертами лица. Впервые видевшие ее восторгались ее величием; ежедневно наблюдавшие ее не могли отказать ей в редкой царственной красоте.

Вера ее всем известна. Она горячо верила в Бога, любила Православную Церковь, тянулась к благочестию и непременно к древнему, уставному; в жизни была скромна и целомудренна.

В отношении политики она была истой монархисткой, видевшей в лице своего мужа священного Помазанника Божия. Став русской царицей, она сумела возлюбить Россию выше своей первой родины.

Она была чутка, отзывчива на людское горе и сердобольна, в устроении разных благотворительных учреждений изобретательна и настойчива. Множество новых, весьма крупных благотворительных учреждений возникли по ее инициативе, благодаря ее заботам и поддержке.

И однако, несмотря на все ее добродетели, она не снискала в России должной любви к себе.

Правда, любовь и ненависть иногда бывают слепы и пристрастны: нередки случаи, когда сверх заслуг или совсем без заслуг любят и превозносят, сверх вины и {295} даже совсем без вины ненавидят и поносят. Но тут бросается в глаза почти всеобщее нерасположение к Императрице. Российские ее родственники, лица Российского царствовавшего дома, почти все ее не любили. В последнее время в стороне от нее держалась даже родная ее сестра, благороднейшая и святая великая княгиня Елисавета Федоровна. С царицей-матерью у нее не было ладу.

Высшее общество, за незначительными исключениями, было ей враждебно. Даже среди лиц свиты она почти не имела сторонников. И это тем более обращало на себя внимание, что все лица свиты обожали Государя.

Толпа судила о ней по разным слухам и сплетням, с каждым днем разрастающимся, и в общем не питала любви к ней.

У ней было много противников и мало друзей. Нельзя скрыть того факта, что огромное большинство лучших государственных людей предреволюционного времени не было с нею. Ее окружали, вернее - около нее пресмыкались способные ползать, а не летать: лагерь ее сторонников составляли или наивные, или корыстные, лицемерные, продажные. Исключений было не так много.

Похвалы по ее адресу раздавались редко, а обвиняли ее во всем, причем нередко перетолковывались и извращались ее, действительно, чистые намерения и несомненно добрые дела. Ее восторженную веру, например, называли ханжеством, кликушеством. Когда она, заботясь о жертвах войны, следуя влечению своего христианского сердца, перенесла

свои материнские заботы и на пленных германцев и австрийцев, - тотчас поползли слухи об ее тяготении к немцам, а затем и об ее измене. Ее отношение к Распутину, в чудодейственную силу и святость которого она слепо верила, вызвало нелепые, широко потом распространившиеся толки об ее нечистой связи с "старцем", в чём она совершенно не была {296} повинна. Ее обвиняли во вредном влиянии на царя, ее считали тормозом для российского прогресса и пр., и пр.

Во всех этих и многих других обвинениях было много пристрастного, одностороннего, неверного и даже нелепого. Но всё же такая, можно сказать, всеобщая неприязнь не могла быть случайной, беспричинной. Такая неприязнь без участия самой Императрицы не могла развиваться.

Действительно, в настроении нашей Императрицы, в ее взглядах, в целом ее мирозерцании было много такого что отдаляло ее и от близких, и от общества, и, в известном отношении, от всего народа. Начнем с ее религиозной веры.

Императрица была очень религиозна, крепко любила Православную Церковь, старалась быть настоящей православной. Но увлекалась она той, развившейся у нас в предреволюционное время, крайней и даже болезненной формой православия, типичными особенностями которой были: ненасытная жажда знамений, пророчеств, чудес, отыскивание юродивых, чудотворцев, Святых, как носителей сверхъестественной силы.

От такой религиозности предостерегал Своих последователей Иисус Христос, когда дьявольское искушение совершить чудо отразил словами Св. Писания: "Не искушай Господа Бога твоего" (Мф. 4, 7). Опасность подобной веры воочию доказал пример Императрицы, когда, вследствие такой именно веры, выросла и внедрилась в царскую семью страшная фигура деревенского колдуна, проходимца, патологического типа - Григория Распутина, завладевшего умом и волей царицы и сыгравшего роковую роль в истории последнего царствования. Увлечение царицы Распутиным было совершенно благонамеренным, но последствия его были ужасны. Зловещая фигура Распутина высокой стеной отделила царицу от общества и расшатала ее престиж в народе, к которому, вследствие болезненного состояния, она не смогла близко подойти и которого она не сумела как следует узнать.

{297} С течением времени, в особенности в последние предреволюционные годы в характере Императрицы стали всё ярче выявляться некоторые тяжелые черты.

При всё возраставшей экзальтированной набожности, у ней, под влиянием особых политических обстоятельств и семейной обстановки, как будто всё уменьшалось смирение. Раньше Распутин, между прочим, пленил ее независимостью и смелостью своих суждений. Еще перед войной царица говорила своему духовнику: "Он (Распутин) совсем не то, что наши митрополиты и епископы. Спросишь их совета, а они в ответ: "Как угодно будет вашему величеству!" Ужель я их спрашиваю затем, чтобы узнать, что мне угодно? А Григорий Ефимович всегда свое скажет настойчиво, повелительно".

Но в последние годы самостоятельные мнения, высказывавшиеся ей открыто, вызывали ее гнев и раздражение, в особенности, если они касались заветных, уже ею решенных, вопросов. Это имело пагубные последствия: независимые в суждениях, честные и прямые люди стали сторониться от нее; льстецы и честолюбцы, люди с сожженной совестью - находить к ней доступ. Незадолго до революции у царицы создалось особое настроение. Инстинктивно чувствуя надвигающуюся грозу, она дрожит за Россию. Ее особенно пугает мысль, что злые люди хотят ограничить власть монарха. Она всё более страшится, что не сможет передать своему сыну всю царскую власть над великим и могущественным царством. Чтобы предупредить опасность, она собирается править жезлом железным, причем жезл ее обрушится на всех не согласных с нею, которых она считает крамольниками и бунтовщиками. Она уже верит только своему окружению, возглавляемому Распутиным, а других относит к своим врагам, не отличая таким образом действительных крамольников от мнимых и причисляя к первым иногда самых верных и преданных слуг царя и Родины.

{298} Царица постепенно всё дальше отходит от высшего общества, которое она считает маловерным, осутившимся, пустым и прогнившим, от своей родни - лиц царской

фамилии - и почти порывает общение с родною сестрой. Неприязнь всё усиливается. Растет обоюдная вражда. А в это самое время влияние царицы на Государя становится всё более сильным, решительным, деспотичным. Дело доходит до того, что царица собирается взять в свои руки управление Империей. В таком положении застаёт нас революция.

{299}

Царица-узница

Революция всё перевернула вверх дном. Российский Самодержец и его семья стали узниками, подверженными всем ужасающим случайностям своего нового положения. Прежнее всеобщее преклонение теперь сменилось пренебрежением, прежняя лесть и низкопоклонство - грубостью, насмешками и издевательствами приставленных к ним. Скоро им стали известны недоедание, голод и нищета. Возможность дикой расправы всё время висела над ними.

В этой новой удручающей обстановке быстро зреет царица и вырисовывается совсем новый ее образ. Этот новый образ ярко выступает в письмах Императрицы, написанных из заточения, а также в переписанных ее рукою выдержках из святоотеческих писаний и разных стихотворений (Изданы в Нью-Йорке в 1928 г. под названием "Скорбная памятка"). Если в письмах вылились переживания, чувства и думы царицы, то и в выдержках отразилась ее душа, соответственно настроению и стремлениям которой царица извлекала из богатейшей сокровищницы святоотеческих писаний и русской поэзии отдельные мысли и выражения.

Выдержки дают характеристику религиозных идеалов царицы, касаясь преимущественно одного вопроса: о причине, смысле и цели человеческих страданий и {300} должном отношении к ним христианина; письма же рисуют фактическое отношение несчастной царицы к своим оскорбителям, обидчикам, угнетателям, показывая, какие чувства волновали ее тогда, к чему стремилась тогда ее скорбная душа.

Каково же было тогда настроение царицы? Начну с выписанных ею слов Св. Григория Богослова: "Религия в душе человека не есть философская теория, успокаивающая ум, она для человека есть вопрос жизни и смерти, и при том вечных". Это означает, что религия должна захватывать всё существо человека: и настоящее, и будущее, и жизнь и смерть, - всё должно расцениваться человеком с религиозной точки зрения. Религия должна быть для человека не идеей, а реальностью, не отвлеченной теорией, а действительной жизнью. Дальше царица выписывает слова Кассиана Римлянина: "хорошо изучить истины небесного учения, углубить их в свое сознание, утвердиться в них духом".

Первая среди истин - бытие Бога. Главная основа религиозной жизни живая вера в Бога. "Живая вера - крепкий столп. Христос для верующего в Него такую верою - всё", - выписывает царица слова Марка Подвижника. "Душа, которая любит Бога, в Боге и в Нем едином приобретает себе успокоение", наставляет Св. Исаак Сирианин.

Христианин верует в Бога живого, бодрствующего над миром. "Веруй, приводит царица слова Аввы Дорофея, - что всё, случающееся с нами, до самого малейшего, бывает по Промыслу Божию, и тогда ты без смущения будешь переносить всё, находящее на тебя". "Без Бога ничего не бывает, подтверждает Св. Тихон Задонский, - поэтому и язык злоречивый нападает на нас по попущению Божию. Терпи, убо, что Бог посылает. Клевету слышит Бог и совесть твою знает".

В страданиях есть высший смысл. "В невольных страданиях скрыта, говорит Марк Подвижник, - {301} милость Божия, привлекающая терпящего к покаянию и избавляющая его от муки вечной". "Всё, - по слову преп. Серафима, - происходящее от Бога, мирно и полезно приводит человека к самоосуждению и смирению". Поэтому, христианин всё случающееся с ним должен принимать молчаливо, со смирением и благодарностью. "Когда придет напасть, - говорит Марк Подвижник, - не изыскивай, для чего и от чего она пришла, а ищи того, чтобы перенести ее с благодарностью Богу, без печали и без памятозлобия". "В молчании переноси, когда оскорбляет тебя враг и единому Богу открывай свое сердце... Надобно всегда терпеть и всё, что бы ни случилось, Бога ради, с благодатию" (Серафим Саровский).

Смирение и терпение - это путь христианина. "Путь Божий есть ежедневный крест" (Исаак Сир.). "Христиане должны переносить скорби и внешние, и внутренние брани, чтобы, принимая удары на себя, побеждать терпением. Таков путь христианства" (Св. Марк Вел.). "Без смирения никто не внидет в небесный чертог... Где нет смирения, там все дела наши суетны" (преп. Серафим Сар.). "Ибо великие награды и воздаяния получаются не только за то, что делаешь добро, но и за то, что терпишь зло" (Св. Иоанн Зл.). "Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью", - учит Псалмопевец (Пс.125).

Христианин должен почерпать силу и мудрость в молитве. "Научить людей истинно молиться - значит научить их по христиански жить". "Когда молимся и Бог медлит услышать нас, то делает это к пользе нашей, дабы научить нас долготерпению, а посему, и не надобно унывать, говоря: "мы молимся и не были услышаны". "Бог знает, что человеку полезно" "Буде же Господу Богу угодно будет, чтобы человек испытал на себе болезни, то он подает ему и силу терпения" (Серафим Сар.).

Выписки из стихотворений дополняют {302} святоотеческие мысли. Страдалица ищет ответа на вопрос: зачем страдания? И находит его у поэта:

Зачем живем, зачем страдаем,
В чем смысл и тайна бытия,
Мы, ослепленные, не знаем,
От нас сокрыта цель Твоя.
Но чтоб металл возник лучистый,
Палить в огне его должно;
Но чтобы хлеб испечь душистый,
Должно быть смолото зерно.
Но в целом - горе то ж горнило...
Светлеет дух, как золото в нем,
В нем есть чудесная та сила,
Что искупленьем мы зовем...

Тайна страданий - это тайна премудрости Божией, и страдальцу остается покорно склониться перед нею.

И дум исполненный высоких и чудесных
Я горячей молюсь и слезы лью,
И мудрости земной пред мудростью небесной
Печальную ничтожность познаю.
Смерти нет - и всё живущее
Вечной жизнью живет.
Мгла исчезла, нас гнетущая,
Свет немеркнущий взойдет...
Всё друг с другом тесно связано,
Смерть рождает жизнь собой.
Всё, что здесь нам недосказано,
Мы постигнем в жизни той.
Пока же тайна не открылась, долг христианина смиряться и молчать.
Кому с небес удел суровый
Ниспослан, - перед ним смиришь,
Кому назначен крест тяжелый,
Неси, надейся и молись...

{303}

Склонись пред Всемогущей Волей,
Себя сомненьем не губи
И, примиришь с тяжелой долей,
Надейся, веруй и люби.
Когда позор, проклятья

На голову спадут,
Молись ты у Распятыя,
Замолкнут, побегут...
Пусть мир в ожесточеньи
Отнимет всё, - отдай
И что сказал в лишеньи
Муж Иов, - вспоминай.
У страждущего христианина есть надежда на иной мир.
Есть мир иной - мир упований,
Где успокоится наш дух.
Когда же, скорбей и мук пройдя через горнило,
Свой путь она (душа) свершит, нетронута, чиста
Она вернется в край, где блещут лишь светила,
Живут лишь истина, добро и красота.
Все, кто в жизни жестоко страдали,
Там найдут безмятежный приют,
Позабудут земные печали,
От ударов судьбы отдохнут.
Пока же страдальца находит радость и в страданиях.
Я радуюсь тому, что все страданья жизни,
Вся боль душевных мук и тяжкого креста,
Достойным сделают меня иной отчизны
И сопричастником Христа.

Страдания всё же переполняют душу царицы. Ее мысли то устремлялись к страдающей России, то останавливались на собственной семье. Неизвестность {304} будущего мучила ее. И царица 12 января 1918 года взывает к Божией Матери:

Царица неба и земли,
Скорбящих утешенье!
Молитвам грешников внимли,
В Тебе надежда и спасенье
Святая Русь! Твой светлый дом
Почти что погибает!
К Тебе, Заступница, зовем,
Иной никто из нас не знает!
О, не оставь Твоих детей,
Скорбящих упованье!..
Не отврати Твоих очей
От нашей скорби и страданий!..

А за себя и свою семью царица 11 января 1918 года молится:

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейства ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и оскорбленья,
Христос Спаситель, помоги!
Владыка мира, Бог вселенной,

Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый смертный час!
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.

{305} И среди всех ужасов, унижений и страданий продолжает верить царица вместе с поэтом, что

Еще настанет день...
Вдохнет и жизнь, и силу
В наш обветшалый мир учение Христа....

Теперь обратимся к письмам Императрицы, писанным ею в заточении, выражающим ее собственные тогдашние переживания, мысли и чувства.

Была всесильной царицей, стала беспомощной и беззащитной узницей.

Правда, она и раньше знала, что у нее есть недоброжелатели, которые ненавидят, поносят ее, клеветают на нее, но тогда она утешала себя, что они только среди аристократии, в простой же народ она верила без колебаний. Совсем недавно, осенью 1916 г., по совету ген. Иванова, она предприняла путешествие по Новгородской губернии и вернулась оттуда восхищенной: ее встречали толпы народа, ее забрасывали цветами, встречали и провожали восторженными кликами. Это окончательно укрепило ее в мысли, что народ с нею, что он ее любит и чтит.

Еще больше она верила в армию, откуда, как уверяла А. А. Вырубова, и офицеры, и солдаты слали ей бесчисленные верноподданнические письма. А теперь такая перемена: одни из близких изменили, другие трусливо спрятались за революционные спины, армия стала революционной; народ обезумел. Друзья, молчат, враги издеваются... Издеваются не только над нею, которая старалась быть матерью своего народа, но и над Помазанником Божиим, и над ни в чём не повинными их детьми. Им отказывают в самом необходимом. Ежедневно грубо и дерзко оскорбляют их. Только что конвойные солдаты разорили снежную горку, которую для катанья заботливо устроили сами дети. Все они теперь лишены права свободно посещать церковь и там молиться за Россию. А оттуда, из России, вместо прежнего "Осанна!" то и дело несется: "Распни, распни их!"

{306} Каждый день может быть последним. Страшный призрак мученической смерти всё время витает около них.

При таких условиях как легко человеку озлобиться, ожесточиться! И надо стоять на необыкновенной высоте, надо иметь несокрушимую веру и благороднейшее сердце, чтобы в таком положении сохранить равновесие духа, незлобие и нежность сердца.

А Императрица 10 декабря 1917 года пишет из своей темницы: "Больно, досадно, обидно, стыдно, страдаешь, всё болит, исколото, но тишина на душе, спокойная вера и любовь к Богу, Который своих не оставит и молитвы усердных услышит и помилует и спасет".

Царицу поддерживает укрепляет и вдохновляет несокрушимая, как скала, вера в Промысел Божий, властвующий над миром. Она твердо верит, что в мире и в жизни человеческой нет случайного, что всё там совершается по высшему плану, не без воли Божией, что всё, не исключая и переживаемых человечеством ужасов, может содействовать человеческому благу, и только современники происходящего не в силах бывают постичь в нем мудрость Божию, которая становится ясной только уже потомкам.

"Всё, - пишет она 28 мая 1917 года, - можно перенести, если Его близость чувствуешь и во всем Ему крепко веришь. Полезны тяжкие испытания, они готовят нас для другой жизни, в далекий путь" "Иногда Господь Бог по иным путям народ спасает". "Те, кто в Бога веруют, тем это годится для (вот, слова не могу найти) опыта совершенствования души, другим для опыта... Господь наградит их". "Поэтому - советует она в письме от 17-го мая 1918 года, -

всё, и везде, и во всем борьба, но внутри должна быть тишина и мир, тогда всё переносить можно и почувствуешь Его близость. Не надо вспоминать огорчения - их столько! - а принять их, как полезное испытание для души. Зло великое в нашем мире царствует теперь, но Господь выше этого".

{307} В эти тяжелые минуты у царицы Спаситель пред глазами. Она с Ним несет крест. А укрепляет ее молитва. "Вашу молитву часто читаю... В молитве утешение: жалею я тех, которые находят немодным, ненужным молиться. Не понимаю даже, чем они живут", - пишет она 28 ноября 1917 года.

Спокойствием и тишиной веет от всех писем страдальцы. Нет в них ни одного слова возмущения, ни одного слова ропота. Напротив. "Надо Бога вечно благодарить за всё, что дал, - советует она, - а если и отнял, то, может быть, если без ропота переносить, будет еще светлее".

Лишившись всего в этом мире, она устремляет свой взор в иной мир. "Если награда не здесь, - пишет она, - то там, в другом мире, и для этого мы и живем. Здесь всё проходит, там - светлая вечность"

Особенность настроения праведника в том, между прочим, выражается, что он острее переживает чужие страдания, чем свои собственные. И это мы видим у Императрицы.

Для себя и своей семьи она считает великою Божией милостью и то, что они в саду бывают, на свободе. "А вспомните, - пишет она, - тех других (заключенных в тюрьмах), о, Боже, как за них страдаем, что они переживают невинные... Венец им будет от Господа. Перед ними хочется на коленях стоять, что за нас страдают".

Но в особенности ее угнетают несправедливости в отношении Помазанника Божия. "Когда про меня гадости пишут - пускай, это давно начали травить, мне всё равно теперь, а что Его оклеветали, грязь бросают на Помазанника Божия, это чересчур тяжело. Многострадальный Иов".

Самое же трогательное в письмах Императрицы - это ее глубокая, возвышенная, ничем не удерживаемая любовь к России, ее отвергшей, отдавшей ее и ее семью на поругание. "Не для себя живем, а для других, для {308} Родины, - пишет она. - Слишком сильно я свою Родину люблю... Милосердный Господь, сжался над несчастной Родиной, не дай ей погибнуть, под гнетом "свободы"!

Эта молитва всё время срывается с ее уст. Враги раньше считали ее сторонницей немцев, сепаратного мира. А она теперь пишет: "Боже мой - эти переговоры о мире! Позор величайший! А по моему глубокому убеждению, Господь этого не допустит". Но мир в Бресте заключен. Это потрясает Императрицу. "Что дальше? - пишет она. - Позорный мир! Ужас один, до чего в один год дошли!.. Ведь быть под игом немцев - хуже татарского ига".

Казалось бы, - теперь царице одного желать, - чтобы вырваться из заточенья и подальше уйти из России. А у ней совсем другое. "Как я счастлива, - пишет она, - что мы не за границей, а с ней (Родиной) всё переживаем. Как хочется с любимым больным человеком всё разделить, вместе пережить и с любовью и волнением за ним следить, так и с Родиной. Чувствовала себя слишком долго ее матерью, чтобы потерять это чувство - мы одно составляем, и делим горе и счастье. Больно нам она сделала, обидела, оклеветала и т. д., но мы ее любим всё-таки глубоко".

Вся Россия - эта любимая Родина, по взгляду царицы, больна: она страдает от влияния зла, "беса", по другим словам, запутал он умы, искусил заблудших. Но пройдет это в свое, нам смертным неизвестное время. Вера в воскресение Родины не покидает ее: она верит в милосердие Божие и справедливость Божию, по которой правда должна победить после того, как будет выстрадан большой грех, искуплена вина. Верит она и в силы родного народа. "Родина молодая перенесет эту страшную болезнь, и весь организм окрепнет".

Можно было бы продолжать чтение выдержек из писем Императрицы Александры Федоровны. {309} Но думается, что и из приведенного ее образ в пору ее заточения уже достаточно вырисовался.

Вспоминаются слова поэта: "Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат". Несчастия со

страданиями бывают пробным камнем для душ человеческих. Духовно слабые в горе начинают роптать на людей и Бога, озлобляются, нравственно опускаются, падают и нередко погибают. Сильные же крепнут, очищаются, совершенствуются, возрастают - и верой и духом.

Императрица принадлежала к числу этих сильных. В страданиях она духовно выросла, на высоту поднялась. Религиозное сознание ее углубилось; вера прояснилась и стала еще крепче; сердце наполнилось настоящею христианскою сострадательною, всепрощающею любовью. Земные блага: власть, слава, богатство как будто утратили для нее всякую цену. На всё она смотрит теперь с точки зрения вечности, к которой старается приготовить свою душу. Свой тяжкий крест она несет с героической покорностью, без ропота и упреков.

Образ страдальцы Императрицы воскрешает в памяти образы величайших христианских праведников, которые могли говорить вместе с Ап. Павлом: "Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим" (1 Кор. 4, 12-13), "Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе" (Фил. 4, 13).

Изучая предшествовавшую революции эпоху русской жизни, историки, может быть, скажут не одно горькое слово по адресу властной Императрицы. Может быть, они поставят ей в большую вину, что она не сумела разграничить область религиозной веры и область государственной политики, отличить здоровую веру от религиозного шарлатанства, настоящих государственных деятелей от низкопробных и продажных честолюбцев и льстецов, друзей от врагов. Может быть, они обвинят ее, что она своим неразборчивым вмешательством в управление государством, своим настойчивым выдвиганием {310} на высшие посты разных льстивших ей или поддельывавшихся под ее настроение неудачников и ничтожеств, своим одиозным отношением ко всем, не разделявшим ее взглядов и привязанностей, своим крайним мистицизмом, которым она заразила Государя, - что всем этим она расстраивала государственную жизнь и ускорила катастрофу, помешав безболезненно разрешиться назревшему кризису. Но они не осмелятся обвинить ее в неискренности или в нечистоте ее намерений. В государственной же обстановке того времени и в царской-семейной они найдут многое, что значительно извинит ее увлечения и даже роковые ошибки. Образ же ее в заточении, в унижении и страданиях будет удивлять своим величием и красотой не только ее друзей, но и ее врагов.

Императрица Александра Федоровна на троне, в величии, не удалась; в унижении она оказалась великой.

{311}

Царь-узник

Император Николай Александрович и в темнице остался тем же, чем он был на царском престоле: Иовом многострадальным, стойчески переносившим удары судьбы и не перестававшим надеяться на светлое лучшее. Чрезвычайные для монарха унижения, каким он подвергался, после своего отречения, в Царском Селе, Тобольске и Екатеринбурге, не вынудили его поступиться ни одним из принципов своей благородной души и не ослабили его любви к своему народу. Простой, деликатный, добрый, отзывчивый, благородный, как человек, он не мог не возбуждать самых горячих симпатий; как царю, ему не доставало непреклонной воли и боевого темперамента.

{315}

XII

Добровольческая армия. Поездка к великому князю Николаю Николаевичу

30 сентября 1918 г., спасаясь от террора, я после трехнедельного, полного всевозможных приключений и опасностей, путешествия, пешком, на лошадях, на пароходе и по железной дороге, в одежде оборванца, с паспортом давно умершего крестьянина Скобленка, прибыл из Витебска в гетманский Киев.

В конце октября К. И. Ярошинский, А. И. Пильц и ген. В. П. Никольский убедили меня отправиться в Дюльбер (в Крыму) к великому князю Николаю Николаевичу, чтобы

ознакомить его с политическими настроениями общественных и правящих кругов, настоящих и бывших. В Румынии на днях должны были начаться переговоры между союзниками и представителями наших политических партий. Там было сильное течение в пользу объединения Добровольческой Армии, Дона и Украины под главенством великого князя Николая Николаевича.

Только я собрался в путь, как в Киев прибыл б. член Государственного Совета, Ф. А. Иванов, с приглашением великого князя, узнавшего, что я в Киеве, чтобы я немедленно с Ивановым прибыл к нему в Дюльбер. 2 ноября, в штатском костюме, с паспортом "Киевского дворянина Г. И. Шавельского", я и отправился с г. Ивановым в путь через Одессу и Ялту.

В Дюльбер я прибыл 6 ноября, в день рождения великого князя. Только что кончился завтрак с множеством гостей, главным образом, офицеров, накануне, по приказанию ген. Деникина, прибывших в Дюльбер для охраны великого князя. Когда доложили великому князю {316} о моем приезде, он стремглав выбежал ко мне и со слезами обнял меня. То же сделал и великий князь Петр Николаевич. Встреча наша была трогательнейшей. Тотчас великий князь увел меня в отдельную комнату, где в интимной беседе мы провели около получаса. Наша беседа была прервана приездом Императрицы Марии Федоровны, прибывшей поздравить великого князя.

Вместо четырех дней, как предполагалось, великий князь задержал меня у себя шесть дней. Во все эти дни настроение в великокняжеской семье было повышенное. Все, в особенности братья-князья и их жены, с нетерпением ждали разрешения в Румынии вопроса, ждали, что вот-вот А. В. Кривошеин, возглавлявший русские партии на совещании в Румынии, привезет благоприятное для великого князя решение. При всем умении скрывать свои мысли великие князья и княгини не могли скрыть, что им очень хочется увидеть великого князя возглавляющим освободительное движение. Еще более это было заметно на младших особах этой семьи. Наиболее спокоен был князь Роман Петрович.

Но герцог Сергей Георгиевич Лейхтенбергский (пасынок великого князя Николая Николаевича) и отчасти граф Тышкевич (женатый на дочери великой княгини Анастасии Николаевны) не умели скрыть своего настроения. Сергей Георгиевич уже вел интригу против Романа Петровича, как естественного наследника при успехе противобольшевистской борьбы и возможном затем приглашении Россией на Всероссийский престол великого князя Николая Николаевича, как возглавителя этой борьбы. Еще более он вел интригу против своей тетки, великой княгини Милицы Николаевны, которая мечтала о короне на голове своего сына Романа.

Духовная атмосфера Дюльбера поразила меня. Сам великий князь Николай Николаевич выглядел бодро. После долгого сиденья под властью большевиков 6-го ноября он в первый раз надел военную форму. Политически {317} он возмужал. Пережитые ужасы не вызвали в нем никакого озлобления и не подорвали любви к народу. Он стал либеральнее. Но был и минус.

Великий князь всегда был склонен к мистицизму.

Под влиянием же последних переживаний его мистическое настроение еще более усилилось. Чем для мистически настроенной царицы был Распутин, тем теперь стал для великого князя живший со своей семьей на полном содержании у последнего капитан I ранга А. А. Свечин, женатый на дочери адмирала Чухнина. Мистик, а может быть, и ханжа - он, после пережитых при большевиках в Севастополе ужасов, впал в крайнее суеверие и кликушество. Во всем он искал знамений и чудес и эти знаменья старался навязывать каждому встречному. В данное время он находился под обаянием какой-то расслабленной, лежавшей в Ялте, матушки Евгении, всё время пророчествовавшей, и одного иеромонаха Георгиевского монастыря, удивлявшего одних своими пророчествами, других своими чудачествами.

Со Свечиным познакомил великого князя герцог Лейхтенбергский, сослуживец Свечина. Мистически настроенный великий князь сразу подпал под влияние Свечина.

Последний сумел зачаровать великого князя пророчествами матушки Евгении, вещавшей о близко ожидающей великого князя роли спасителя России и в экстазе чуть ли не видевшей его уже с венцом на голове.

Как только я прибыл в Дюльбер, мой старый приятель по Ставке в Барановичах, доктор Б. З. Малама, ознакомил меня с настроением в великокняжеской семье и с ролью Свечина. В первый же вечер великий князь и Свечин сами выдали себя. Вечером, после обеда и кофе, великий князь пригласил меня в кабинет. Сначала мы говорили об общих делах, вспоминали прошлое. Но скоро пришел Свечин, и беседа наша сразу приняла особый характер. Великий князь с экзальтацией начал мне рассказывать, как Господь через дивную матушку Евгению {318} открывает о нем Свою волю, кою он не может противиться, но должен подчиниться, раз она узнается из такого высокого источника, как обладающая даром прозрения матушка.

Свечин вставлял свои замечания, дополнявшие рассказ великого князя. Я слушал этот бред, стиснув зубы, но по временам не выдерживал и охлаждал увлекавшихся, советуя не искушать Господа, не требовать знамений и чудес, не верить слепо каждому пророчеству, ибо оно может быть от человека, а не от Бога, и ждать одного знамения - волеизъявления тех, кто ныне берется спасти Россию, и, если они позовут, идти, надеясь, что это глас Божий. Мои замечания не понравились моим собеседникам. Великий князь понял, что его излияния не встречают во мне сочувствия, быстро переменял разговор и скоро предложил идти спать, так как я устал с дороги. А Свечин на другой день обмолвился, что я более похож на протестантского пастора, чем на православного священника.

Ошеломленным ушел я от великого князя. Выслушанные откровения произвели на меня потрясающее впечатление. Новой распутищиной повеяло от них. Разве не на почве крайнего мистицизма разрослась ужасная распутинская история? А чем она кончилась? И теперь с такого же мистицизма хотят начать стройку новой России и у матушек Евгений, подозрительного качества иеромонахов и сумасшедших Свечиных ищут указаний и наставлений. Как в бреду, я метался в постели и только к утру смог уснуть. Ни великий князь, ни Свечин больше не заводили разговора на прежнюю тему, очевидно, признав это бесполезным. Но я сам решил поговорить с великим князем по поводу выслушанного мною.

Погостив 4 дня, я хотел отправиться в обратный путь, но великий князь задержал меня. Причина была ясна для меня. Великий князь с нетерпением ждал приезда А. В. Кривошеина, участника Яского совещания, надеясь, что тот привезет ему приглашение стать во {319} главе войск Добровольческой Армии, Украины и Дона. Конечно, тотчас последовало бы согласие, и великий князь пригласил бы меня остаться при нем. В приезд А. В. Кривошеина все так верили, что во дворце шли уже разговоры: кому из князей ехать с великим князем, некоторые опасались, как бы и великие княгини не поехали с ним и т. п. Но Кривошей не ехал. На шестые сутки я решил ехать, но не иначе, как предварительно переговорив по душе с великим князем.

12 ноября, после обеда, я попросил великого князя уделить мне несколько минут. Он тотчас пригласил меня в кабинет. Кроме нас двоих, там никого не было. Я сказал ему приблизительно следующее:

- Если бы вы не знали меня, не знали, что я не стану говорить неправду, и если бы я не любил вас и не дорожил вами, я не сказал бы вам того, что сейчас скажу, ибо знаю, что оно не будет приятно для вас. Но вы должны знать мое мнение. В вашем доме творится что-то неладное. Вы знаете мой взгляд на религию: мы должны верить в Бога и надеяться на Него, но мы не должны искушать Его.

Крайний мистицизм - болезненное чувство, а не религия, и, когда люди, очертя голову, погружаются в него, нельзя ждать добра. Вы помните первый вечер-ваш и Свечина разговор о знаменьях, пророчествах, чудесах и пр.? На меня он произвел потрясающее впечатление. Вы должны помнить, что с мистицизма началась распутинская история, что через ваш дом вошел в царскую семью Распутин! Вы знаете, к чему привела распутинщина! Наше общество еще не успело забыть распутинщины и вдруг оно услышит, что в вашем доме, при вашем участии начинается нечто подобное. В вас очень многие верят, многие на вас надеются, но

тогда они отшатнутся от вас и т. д.

Поблагодарив за откровенность, великий князь начал уверять меня, что дело обстоит совсем не так страшно, что я вынес неверное впечатление. Я всё же просил {320} его отстранить от себя Свечина, человека доброго, но болезненно настроенного и своею близостью и ночными посещениями смущающего многих, как из окружающих великого князя, так и прибывших для охраны офицеров. Великий князь обещал мне.

Когда, распрощавшись с великим князем и его присными, я ушел в свою комнату, ко мне зашел доктор Малама и вручил от великого князя пакет с шестью пятисотрублевками, заявив при этом, что я жестоко обижу великого князя, если не возьму их. Всё же я отправился к великому князю и стал просить его взять деньги обратно.

- Голубчик, - ласково сказал великий князь, - вы же нуждаетесь, а для меня это - капля в море, - в Банке у меня 200 тысяч рублей. Я вас очень прошу взять, - когда-нибудь сочтемся. Вы не это для меня делали.

Я вынужден был взять. Они и теперь хранятся у меня, ни одной копейки из них я не израсходовал.

За время пребывания у великого князя я успел побывать: у Императрицы Марии Феодоровны, у великого князя Александра Михайловича и у великой княгини Ольги Александровны.

(см. Великий Князь Александр Михайлович "Книга Воспоминаний" ldn-knigi.narod.ru)

Императрица прислала за мною пару своих лошадей. Я просидел у нее (в Хараксе) около часу. Была очень ласкова, внимательна; о Государе говорила: "бедный мой сын", но верила, что он жив; несколько раз с насмешкой отозвалась об увлечениях царицы Александры Федоровны разными юродивыми и, между прочим, Дивеевской Пашей, произведшей на нее впечатление грязной, злой, сумасшедшей бабы.

Великий князь Александр Михайлович, живя в Ай-Тодоре, весь отдался виноделию и, как рассказывали, в один год выручил около двух миллионов рублей.

Великая княгиня Ольга Александровна со своим {321} мужем полк. Куликовским жила в маленьком домике в Хараксе чрезвычайно просто, всецело посвятив себя семье: сама нянчила сына, сама и стряпала. Опростилась до пес plus ultra. Меня приняла запросто; угощала кофеем с печеньями собственного ее изделия. И раньше мало было в ней царственного, а теперь и помину от него не осталось.

13-го ноября я выехал из Дюльбера.

В Добровольческой Армии

Едучи в Дюльбер, я 5-го ноября отправил ген. Лукомскому телеграмму: "Примите в армию, хоть солдатом". Теперь я хотел проехать в Киев, чтобы там ждать ответа. По частным слухам, довольно достоверным, в Киев должна была прибыть депутация, чтобы пригласить меня в Добровольческую Армию. От Ялты до Севастополя я проехал на автомобиле, заплатив за место 300 рублей, а из Севастополя, не надеясь дождаться парохода, направился поездом на Харьков.

Путь был не безопасный, ибо около г. Александровска оперировала шайка Махно, учинявшая невероятные зверства.

До Харькова я добрался благополучно, но дальше на Киев не смог двинуться, так как Харьков уже был в руках Петлюровцев, и путь на Киев был отрезан. Просидев в Харькове несколько дней и потеряв всякую надежду пробраться в Киев, я двинулся на Новочеркасск, выехав, кажется, 20 ноября. Поезд, с которым я выехал, оказался последним поездом, вышедшим из Харькова в Ростов. Следующие поезда с полпути возвращались в Харьков, а нас лишь 8 часов продержали на одной из станций. В Новочеркасске я задержался на несколько дней у своего приятеля В. К. С., а 25-го утром выехал в Екатеринодар, прибыв туда 26-го утром. Оставив вещи на вокзале, я пешком отправился в собор, где должна была идти парадная служба по случаю Георгиевского праздника, и где я надеялся найти многих своих знакомых.

Я не ошибся. Около собора стояли войска. Собор {323} был наполнен военными. Пели

херувимскую. Трудно передать чувства, охватившие меня, когда я увидел ген. Деникина, Драгомирова, Романовского, Лукомского и многих других, с которыми меня связывала служба в царской армии. Я не смог сдержать слез. Как ни странен был мой вид: я был коротко острижен, в потрепанной рясе, но меня узнали. Комендант Ставки, ген. Белоусов, почтительно поздоровавшись, предложил мне пройти дальше. Я отказался. Ко мне то и дело подходили генералы, полковники. Я был для них как бы выходцем с того света, как и они для меня. Служил штабной священник, прот. Д. Вардиев, а на молебен вышел еп. Иоанн, сказавший нескладную, бессвязную проповедь о геройстве. Во время причастного ко мне подошел начальник Штаба, ген. И. П. Романовский, мой старый добрый знакомый, и сердечно расцеловался со мной.

- Вы получили наши телеграммы? - спросил он меня.

- Нет, - ответил я.

- А мы три телеграммы послали в Киев, приглашая вас к себе.

После молебна я подошел к ген. А. И. Деникину. Он также расцеловался со мной, сказав при этом:

- Поздравляю вас, протопресвитер Добровольческой Армии и Флота!

Ген. Драгомиров и Лукомский также приветливо встретили меня. Утром 27 ноября ген. Деникин подписал приказ, коим ведено мне вступить в должность протопресвитера воен. и мор. духовенства. В этот же день я представился ген. Деникину в его квартире. Он встретил меня очень приветливо. Помню его слова:

- Вам я отдаю всё духовное дело, оставляя себе земное, и в ваше дело не намерен вмешиваться.

Я вступил в должность.

{324} В первое же воскресенье (3 дек.) я служил литургию и молебен о даровании победы. На молебен явился ген. Деникин и все старшие чины.

Прямого дела по моей должности было очень мало. Число священников в Армии не превышало 50. Ездить по фронту не представлялось никакой возможности, так как части были очень разбросаны и раздроблены. Но косвенного дела оказалась уйма. Я в Добровольческой Армии стал единственной инстанцией, которую знали, с которой считались и к которой обращались со всеми недоразумениями, сомнениями, неурядицами, касавшимися церковного дела. С другой стороны, моя прежняя деятельность была известна и общественным кругам, которые теперь тоже старались втянуть меня в свое дело. Тогдашний Екатеринодар уже успел собрать стекавшихся отовсюду, как в шутку тогда называли, "недорезанных буржуев". Образовались тут разные политические группы-кружки, от кадет до крайних правых.

И так как Добровольческая Армия тогда еще не выявила своего политического лица, то каждая группа лелеяла мысль, что она именно может занять господствующее положение.

Очень скоро, по прибытии в Екатеринодар, я был приглашен на "учредительное собрание" одною группою, как я потом разглядел, группою крайних правых. В этой группе роль заправил разыгрывали два молодых человека: капитан Хитрово и другой штабс-капитан, оба с очень подозрительной репутацией, как многие отзывались о них. Среди участников были: два брата генерал-лейтенанты Карцевы, полковник Кармалин, овцевод Бабкин и др. Имелось в виду образовать "русскую государственную партию". Прислушавшись к их разговорам, я понял, что у них вся государственность сводится к восстановлению всех помещичьих прав и сословных привилегий.

На второе заседание я не пошел, а на первом сказал им; .

{325} - Затеваеете вы, господа, безнадежное дело: не течет река обратно, не вернуть, что невозможно.

Мое замечание обидело заправил и восстановило их против меня. Поддержал меня только один из участников, ген. Левшин. Скоро я примкнул к другой организации - к Обществу Государственного Объединения, избравшему меня членом своего Совета.

Приглядевшись к настроению и поведению собравшейся в Екатеринодаре

интеллигенции, я вынес прочное убеждение: ничему она не научилась. Всё происшедшее очень отразилось на ее горбе и кармане: прежние богачи стали нищими и те, коих раньше не вмещали дворцы, и не могло нарядить никакое обилие одежд, теперь зачастую жили в подвалах и ходили почти в лохмотьях, но сердца и умы их остались прежними. Революция, по их мнению, бунт, а задача "государственной партии" - вернуть пострадавшим благоденственное и мирное житие, достойно наказав при этом бунтовщиков. Перестройка, обновление жизни, устранение накопившейся в прежнее время гнили, пересмотр жизненных норм, порядков государственных и т. п., необходимость всего этого чувствовалась только очень немногими, а большинством или ставилась под подозрение или совсем отрицалась.

Одновременно с этим политиканство работало вовсю. Все, кому было что и кому нечего было делать, обсуждали и критиковали и стратегию, и политику, при чем, каждый хотел, чтоб Деникин, Драгомиров и другие, стоящие у власти, мыслили и поступали так, как ему казалось лучшим. Драгомиров был заброшен проектами, как надо устраивать Россию. В Екатеринодаре шаталось без дела множество генералов, старших по службе Деникина и большинство его сотрудников. Каждый из них считал, что он заслуженнее и потому не хуже, умнее Деникина, - это еще более усиливало и без того сложный {326} и бурный аппарат этой говорильни, приносившей много зла и едва ли дававшей какие-либо добрые плоды.

Насколько я разобрался в отношениях старших чинов Добровольческой Армии между собою, они были таковы.

Наибольшим влиянием на ген. Деникина пользовался начальник Штаба, ген. И. П. Романовский, в свою очередь, очень прислушивавшийся к "кадетам", среди которых первую роль играли Н. И. Астров и М. М. Федоров. Драгомиров и Лукомский боялись влияния на Романовского "кадетов" и не одобряли влияния последнего на Деникина. Лукомский прямо говорил про себя, что он не в чести у Главнокомандующего, который считает его слишком правым.

В Особом Совещании - своего рода Государственном Совете при ген. Деникине - главную роль играли кадеты благодаря своей сплоченности и политической грамотности. Как я узнал после, ген. Романовский на поставленный ему вопрос: почему он с кадетами? - ответил :

- Да, я прислушиваюсь к голосу кадет и пользуюсь ими, но кто ж в этом виноват? Когда нам нужна была поддержка, кто ее нам оказал? И правые, и левые только травили нас. Кадеты же были с нами. Я знаю недостатки кадетской партии, я сам совсем не кадет, но в данную пору кадетская партия наиболее государственно мыслит, и мы не можем не пользоваться ею.

К сожалению, надо сказать, что ни в гражданских, ни в военных кругах ген. Деникин особой любовью не пользовался.

Кроме его замкнутости, этому в сильной степени способствовало следующее обстоятельство. И офицерство, и все чины Добровольческой Армии, и сам ген. Деникин влачили нищенское существование. Жизнь вздорожала, ценность денег упала, - требовались для приличного существования большие оклады.

Кубанский Атаман в конце 1918 г. получал 5 тысяч рублей в месяц, {327} при всем готовом, а ген. Деникин в это самое время имел тысячу с небольшим в месяц, без всего готового. Его помощники - еще меньше. Чиновники и офицеры получали крохи. Нужда всюду остро заявляла о себе. В феврале 1919г. жена ген. Романовского говорила мне:

- Вот отнесу серебряный чайник, продам его, а потом не знаю, как будем жить.

Жена ген. Лукомского терялась в догадках: где добыть денег, чтоб сшить новый костюм сыну, который вырос из старого. Сам ген. Деникин летом 1919 г. ходил в теплой черкеске. Когда его спросили, почему он это делает, он ответил:

- Штаны последние изорвались, а летняя рубаха не может прикрыть их.

Все обвиняли ген. Деникина в скупости. Между тем, скупость Деникина вызывалась его поразительной честностью и опасением, как бы потом не обвинили его в расточительности. Но толпа видела крохотные оклады, особенно заметные при сравнении их

с Донскими и Кубанскими окладами, испытывала нужду и не замечала чудной души, прекрасных порывов, кристальной честности Деникина. Кроме того, к нему - солдату, ранее стоявшему далеко от государственных дел и теперь сразу столкнувшемуся со всеми областями и отраслями государственной жизни, предъявляли самые строгие требования: чтобы он был в курсе всего и всегда принимал безошибочные решения.

Вот, вследствие всего этого, все, кому не лень было, критиковали Деникина. Одни вздыхали по Корнилове; другие тосковали по Алексееве; третьи, как ген. Г. М. Ванновский, всех ругали, очевидно - не договаривая, что они устроили бы всё, если б дали им всю власть; четвертые указывали на Колчака: его бы, мол, сюда! А когда у последнего начались удачи, тогда все заговорили: вот кто спасет Россию! Нашему теляти волка не поймати. У нас ничего не выйдет. Помог бы хотя Бог отбиться, а то припрут большевики к морю, - куда {328} тогда денешься? И был момент, когда многие бросились изучать карту: куда и как бежать? От желающих же пробраться к Колчаку отбою не было.

Несомненно, все эти толки и пересуды доходили до Деникина и, конечно, не могли радовать его: страдал он от своего тыла не меньше, чем от неприятеля. Тыл всегда один и тот же: малодушный, трусливый, корыстный и завистливый, жалкий фразер и сплетник. Всё это, однако, не мешало Деникину оставаться полным распорядителем судеб территории, занятой его войсками. Диктаторская власть находилась в его руках. Особое Совещание фактически было только совещательным органом при нем. Окончательные решения принимались им.

{329}

Церковное дело. Собор в Ставрополе. Высшее Церковное Управление

Как я уже заметил, высшей церковной власти в крае не было. Связь с Патриархом порвалась. Каждая епархия жила своею жизнью. Вопросы, превышающие компетенцию епархиальной власти, или решались на свой страх епископами, или оставлялись без разрешения. Некоторые церковные вопросы восходили до Деникина. Тогда спрашивали мое мнение. Я стал юрисконсультom по всем духовным делам. Получилось странное явление: огромная территория, почти весь юго-восток России, с несколькими епархиями оказалась без высшей церковной власти, которая одна могла бы и направлять, и исправлять церковную жизнь. Необходимость ее была очевидна. Но одни из архиереев не замечали такой необходимости, а другие даже довольны были тем, что они теперь полновластные, никому не подчиненные владыки. Я решил приложить все усилия, чтобы положить конец этой ненормальности.

В начале февраля 1919 г. я доложил Деникину о необходимости организовать высшую церковную власть. В конце февраля мне удалось убедить его. Кажется, 2 марта было подписано Деникиным письмо на имя Донского архиепископа Митрофана, которого Деникин просил: созвать совещание из епископов территории и членов епархиальных советов, по два от каждой епархии. Одновременно с этим Деникин послал телеграмму Одесскому митрополиту Платону, приглашая его прибыть в Новочеркасск на совещание. Письмо архиеп. Митрофану было {330} послано почтой, а я 3-го марта выехал в Новочеркасск, чтобы убедить архиеп. Митрофана в необходимости такого совещания. Я опередил письмо. В личной беседе со мной архиеп. Митрофан к идее совещания отнесся очень сочувственно. Мы назначили 20 марта днем созыва совещания. Я уехал уверенным, что моя миссия удалась.

Между тем, по странной причине, посланная 3-го марта, бумага Деникина пришла в Новочеркасск только 14-го, и вместо согласия на созыв совещания, Деникин получил от арх. Митрофана сообщение, что 20-го марта совещание не может быть созвано, за поздним получением бумаги, и его надо отложить до Фоминой недели. Я же, по возвращении из Новочеркасска, с согласия Деникина, сообщил арх. Митрофану, что, кроме указанных в бумаге от 2 марта лиц, следует вызвать на совещание еще всех, пребывающих в Одессе, архиереев и членов Всероссийского Церковного Собора, находящихся на территории, занятой Добровольческой Армией.

Я был убежден, что и тех, и других окажется не так уж много, а авторитет совещания от

участия их увеличится. Архиеп. Митрофана увеличение членов совещания испугало: он решил, что может съехаться до 200 членов (по-моему, их не могло набраться более 60). А тут еще начались сторонние влияния. На архиеп. Митрофана в это время сильно влиял архим. Григорий. Это влияние объясняли тем, что архим. Григорий помог единственному сыну архиеп. Митрофана выбраться из Советской России. По характеристике газеты "Великая Россия", архим. Григорий был "известный спекулянт по вину и сахару, предавший своего друга, прот. Восторгова и миссионера Варжанского". Это же я слышал от митр. Платона и Таврического архиеп. Димитрия. Некоторое время архим. Григорий служил в армии, под моим начальством.

Я вынес убеждение, что это человек низкий, нахальный, продажный, беспринципный. В данное время {331} он занимал должность ректора Донской Духовной семинарии. В начале марта архим. Григорий лебезил передо мной, надеясь при моей помощи устроить какие-то свои делишки, и тогда он доказывал архиеп. Митрофану необходимость совещания. Когда же поддержки с моей стороны в устройстве его дел он не встретил, он сразу стал противником совещания.

После Пасхи архиеп. Митрофан известил ген. Деникина, что на Фоминой неделе совещание не может быть созвано, так как в Новочеркасске свирепствует тиф и нет свободных помещений для членов совещания, и просил отложить созыв совещания на неопределенное время. Всё мое начинание, казалось, рухнуло, но случай поправил дело.

Пала Одесса. Вслед за этим потянулись в Екатеринодар архиереи, спасая животы свои. Приехал Одесский митр. Платон, а раньше его - Димитрий Таврический, Агапит Екатеринославский и, пытавшийся пробраться на восток, Гавриил Челябинский. Решив использовать присутствие митр. Платона, я пригласил его на одно из заседаний Церковно-просветительного Отдела Совета Государственного Объединения.

26-го апреля состоялось это заседание в помещении Кубанского еп. Иоанна. Кроме митр. Платона, в нем участвовали: архиепископы: Димитрий и Агапит, еп. Иоанн, проф. Петроградской Духовной Академии, прот. А. П. Рождественский, члены Всероссийского собора: свящ. Г. П. Ломако, кн. Е. Н. Трубецкой, А. И. Ивановский и много других духовных и светских лиц. Сюда же втесался пресловутый В. М. Скворцов, который и секретарствовал. Я кратко изложил историю попыток образовать Высшую церковную власть и необходимость такой власти, а митр. Платон предложил созвать Собор для учреждения такой власти.

Собрание приняло следующие положения: 1) от имени этого собрания {332} просить старейшего, Ставропольского архиеп. Агафодора созвать в г. Ставрополе Поместный Собор. 2) Собор этот составить из всех находящихся на территории Добровольческой Армии епископов и членов Всероссийского Церковного Собора, присоединив к ним по 4 члена от каждого Епархиального Совета, как уже выбранных епархиями для вершения церковных дел. Последнее было сделано, чтобы не производить новых, сложных по процедуре и затяжных выборов.

3) Немедленно командировать в г. Ставрополь: архиеп. Димитрия, меня и гр. В. В. Мусина-Пушкина для переговоров с архиеп. Агафодором о созыве собора. 4) Просить Главнокомандующего ассигновать на расходы 50 тысяч рублей.

1 мая мы выехали в Ставрополь и прибыли туда в 6 часов вечера.

Я хорошо знал архиеп. Агафодора по Московскому Собору. Тогда он поражал свою беспомощностью: его водили, ему подсказывали, за него решали. Все его желания и заботы тогда сводились к одному: как бы получить белый митрополичий клубок. Однажды и мне предложили подписать лист, в котором было изложено заявление группы членов Собора о необходимости, в виду заслуг и продолжительной службы архиеп. Агафодора, возвести его в сан митрополита. Я ответил, что с удовольствием дам свою подпись, если к этому заявлению будет приложено другое - прошение архиеп. Агафодора об увольнении его на покой. Так из этого листа ничего и не вышло.

Предупрежденный моей телеграммой о цели нашего приезда, архиеп. Агафодор принял нас, как милый, гостеприимный хозяин: для встречи нас выслал на вокзал своего викария, еп.

Михаила и эконома, иеромонаха Серафима, угощал по-архиерейски.

(Каково же было наше удивление, когда финансовой комиссии собора экономом, иереем Серафимом, был предъявлен длинный счет, почти на 1.500 р. за угощение нас 1-2 мая. Там не были забыты и извозчики, на которых нас привозили с вокзала и отвозили на вокзал - и тогда не позволили нам уплатить им, и редиска с архиепископского огорода и консервы. Оказалось, что консервов за сутки мы втроем съели почти на 500 р. Епископ, возглавлявший комиссию, рассматривавшую этот счет, ядовито заметил: "Если бы три человека за день съели консервов на 500 р., они, наверное, не выжили бы". А я обратился к иерею Серафиму:

"Очень жалею, что мы тогда остановились у вас, а не в гостинице. Там нам больше, как 15 р. на человека не пришлось бы платить". Конечно, в этой истории архиепископ не участвовал, - это его жадный эконом хотел поживиться. Комиссия произведенный на наше угощение расход отнесла за счет архиерейского Ставропольского дома.). Ужинать с ним было {333} легко и приятно, беседовать же о деле куда труднее.

Когда мы изложили ему свою просьбу, он запротестовал: нельзя открывать собор, не снесшись с Патриархом, - надо сначала с ним снестись. Мы объяснили ему, что потому-то собор и открывается, что нельзя сноситься с Патриархом, что Патриарх ничего не будет иметь против этого доброго и необходимого дела. В конце концов, он согласился. Чтобы старец не передумал или не переубедили его, мы сейчас же принялись за писание бумаг Главнокомандующему и архиереям, с целью тут же немедленно заставить старца подписать их и отсюда же их разослать. Положиться на слово старца нельзя было: после Московского Собора он еще более одряхлел, - плохо соображал, всё путал, забывал. Сидя за чаем, он серьезно спросил меня:

- А К. П. Победоносцев (? в 1906 г.) помер?

- Умер, владыка, умер, давно умер! - ответил я.

- А-а, помер!.. Хороший был человек. Царство ему небесное! перекрестился архиепископ.

Когда на следующий день я стал читать архиеп. Агафодору написанные бумаги, он с удивлением начал спрашивать меня:

{334} - Разве надо собирать Собор? А как же без благословения Патриарха? и т. п. Словом, за ночь всё было забыто или перепутано. Пришлось убеждать снова и, слава Богу, опять удалось убедить. Бумаги были подписаны (Собор назначен на 18 мая), большую часть их я взял с собою, чтобы разослать из Ставки, другие тут же отправил на почту. В 2ч. дня мы выехали из Ставрополя.

Сейчас же по возвращении нашем в Екатеринодар начала работу, под моим председательством Предсоборная Комиссия. Ее задачей было: подготовить весь материал для соборной работы, наметить вопросы, составить такой план, чтобы Собор мог выполнить свою задачу в течение шести дней, с 19 по 24 мая.

Только Комиссия начала свою работу, как я получил от начальника Штаба телеграмму: "Главнокомандующий, согласно ходатайству архиеп. Агафодора, в виду некоторых затруднений, приказал приостановить созыв Собора". Потом выяснилось, что приближенные Агафодора, как архим. Антоний (Марченко) и др., внушили ему, что созыв Собора вызовет гнев Патриарха, что можно обойтись и без Собора и т. п. Послушавшись их, архиеп. Агафодор и телеграфировал Главнокомандующему, прося отложить созыв Собора. К счастью, нашлись и другого рода советники, как ректор семинарии,

прот. Н. Иванов и др., которые разъяснили ему всю неосновательность опасений и всё неудобство отмены решенного, после чего он телеграфировал мне:

"Препятствия к созыву Собора устранены. Собор состоится".

Предсоборная Комиссия работала очень усердно и успела подготовить вопросы: о порядке соборных работ, о Высшем Церковном Управлении на юго-востоке России, об организации прихода, о духовно-учебных заведениях и др. Одни из вопросов были {335} разработаны ею детально, другие - в общих чертах. Комиссию, под моим председательством,

составляли: проф. прот. А. П. Рождественский, свящ. Г. П. Ломако, граф В. В. Мусин-Пушкин, гвардейский генерал Дм. Фед. Левшин, член Кубанского епархиального Совета Терещенко. Секретарствовал Начальник моей канцелярии Е. И. Махараблидзе.

17 мая я выехал на Собор, чтобы, заблаговременно прибыв, наладить его открытие. На ст. Кавказской я встретился с едущими на Собор донцами, во главе с архиеп. Митрофаном и его викарием, еп. Гермогеном. Я неосторожно обмолвился по поводу их промаха, выразившегося в их отказе устроить Собор у себя и повлекшего к тому, что честь открытия Собора падет теперь на долю Ставропольского архиепископа. А могла бы она принадлежать донцам. Мой укор сильно задел представителей Всевеликого Войска Донского. Побеседовавши дальше с ними о Соборе, я ужаснулся: они ехали в Ставрополь с желанием провалить Собор и не допустить организации высшей церковной власти, по их разумению, совсем не нужной. Темперамент толкал меня по адресу нежелания их понять очевидное, наговорить им неприятных вещей, но благоразумие помогло мне соблюсти безупречную корректность, чтобы не ухудшить дела. Особенным упрямством и противодействием начатому делу заявил себя новоиспеченный протоиерей Вас. Чернявский, "донец" больше всех настоящих донцов. Мой земляк (Витеб. губ.) и однокашник по семинарии - он всегда отличался не столько умом, сколько лукавством. Директор гимназии, в которой Чернявский законоучительствовал, однажды сказал ему:

- Лицо у тебя, о. Василий, Христово, а душа Иудина.

Чернявский был сильно настроен против меня, так как в марте в Новочеркасске я основательно отчитал его.

{336} Почти всю дорогу от Кавказской до Ставрополя я просидел в вагоне донцов и вышел оттуда совсем обескураженным: если и другие приедут с таким же настроением, - тогда пропало дело.

Архиеп. Агафодор встретил нас чрезвычайно приветливо, - к нему, в архиерейский дом мы приехали втроем - архиеп. Митрофан, еп. Гермоген и я. Оставив первых двух, Агафодор повел меня в свою спальню: "Вот это ваша комната, а рядом будет Митрофан". Я отказался занять эту комнату, ссылаясь на то, что архиепископы Димитрий и Агапит, как и другие епископы, которым придется занять худшие комнаты, могут обижаться.

- Обижаться? На кого? - спросил Агафодор.

- На вас, - ответил я.

- Пусть обижаются! Я хозяин. Кому хочу, тому и даю.

Всё же я отказался и поселился у ректора семинарии, прот. Н. Иванова.

Плохо провел я ночь, волнуясь за исход дела, и, в частности, за исход совещания, которое 18-го в 10 час. утра должно было состояться в покоях архиепископа, для предварительного обсуждения вопросов, связанных с открытием Собора.

С большим смущением шел я на это совещание. Больше всего опасался я, что не выдержат мои нервы, и я наговорю донцам неприятных им слов. На совещании присутствовали: архиепископы Агафодор и Митрофан, епископы: Макарий (Владикавк.), Гермоген и Михаил; представители от епархий Ставропольской, Донской и Владикавказской, а также успевшие прибыть члены Всероссийского Собора в Москве, - всего более 20 человек.

Более трех часов продолжалось совещание, и я один должен был защищать идею созыва Собора, как и необходимость единой высшей церковной власти. Точно это {337} было мое личное дело и точно шло оно вразрез с интересами остальных присутствующих. Особенно совопросничали донцы: зачем Собор; имеем ли мы право назвать предстоящее собрание Собором; почему "канонически", путем выборов, не составили его (как будто мы могли располагать месяцами для подготовки к собору); как отнесется Патриарх; имеем ли мы право без согласия Патриарха начинать такое дело; зачем высшая власть, когда можно обходиться и без нее.

(Донцам, пожалуй, и излишня была высшая церковная власть: все вопросы они решали на свой страх, а в отношении наград никакая церковная власть не дала бы им того, что они

теперь получали. Атаман уже успел разукрасить их: архиепископа Митрофана и епископа Гермогена орденом Александра Невского, архимандрита Григория Анной I ст., начальницу духовного училища орденом св. Екатерины, протоиереев и священников Владимирами и Аннами и т. д. Ничего подобного в старой России не бывало.).

Таковыми и другими вопросами забросали меня участники совещания, главным образом, донцы. Мне пришлось отвечать на вопросы, освещать положение дела, доказывать необходимость единой высшей власти здесь на юге, в эту исключительную пору и т. д. Слава Богу, я ни разу не повысил даже голоса, стараясь казаться совершенно спокойным, хоть внутри у меня кипело. В начале 2-го ч. мы разошлись, достигнув, наконец, полного единомыслия по всем вопросам. У меня отлегло на душе.

Утром в этот день я застал архиеп. Агафодора сидящим за столом с ректором семинарии, прот. Н. Ивановым. Пред ними лежала записка, и ректор что-то втолковывал архиепископу. В этом же положении я несколько раз заставал их и после обеда. Оказалось, - старец заучивал составленную ректором речь пред открытием Собора.

- Надежен ваш ученик? - спросил я вечером ректора.

{338} - Боюсь, что не выдержит экзамена, - ответил ректор.

Вечером съехались остальные члены Собора, а 19-го открылся Собор. Торжество началось совершением литургии. Служили: архиепископы - Агафодор, Митрофан и Димитрий, епископы - Макарий и Гермоген со множеством духовенства. Агафодор еле двигался, возгласы произносил по подсказке, вообще, участие его в богослужении придавало последнему более похоронный, чем торжественный характер. Причастившись, Агафодор сел в кресло. К нему подошел Кубанский еп. Иоанн, 12-й год состоявший его викарием.

- А вы кто такой? - спросил его Агафодор.

- Разве не узнаете меня? - с удивлением спросил Иоанн.

- Нет, нет, не узнаю!

- Я же викарий ваш, Кубанский еп. Иоанн.

Агафодор внимательно посмотрел на Иоанна:

- Да, да! Похожи, похожи! Здравствуйте!

После литургии и молебна, совершенных в архиерейской крестовой Андреевской церкви, состоялось открытие Собора. По церемониалу, открыть Собор должен был архиеп. Агафодор речью, которую накануне он так усердно заучивал. Но ученье не пошло в прок. Начал он бодро:

- Приветствую вас, отцы и братия, приветствую тебя, доблестный рыцарь русской земли (ген. Деникин с начальником Штаба присутствовали тут)... Дальше память старцу изменила и он, беспомощно оглянувшись по сторонам, закончил речь:

- Ну что ж, откроем заседание!

Преждевременно и нежданно оборвавшаяся речь председателя всех сбила с толку. Воцарилось молчание. Наконец, подсказали ген. Деникину, что от него ждут {339} слова. Деникин, как всегда, ярко и выпукло, в кратких, но сильных выражениях приветствовал Собор. Ему ответил архиепископ Митрофан. Снова должен был сказать несколько слов Агафодор. Но старец всё перезабыл. Поднявшись с места, он, как и в первый раз, беспомощно поглядел во все стороны, а потом прошамкал старое:

- Ну, что ж? Приступим к делу!

И больно и стыдно было...

Переживший самого себя, совершенно одряхлевший, всё забывающий, ни к какой работе не способный, архиеп. Агафодор был характерной фигурой в нашей церковной жизни старого времени. Когда-то он был очень работоспособен, деятелен, в известном отношении талантлив, но теперь он всё перезабыл, всё перепутал, не в силах был разобраться в самых простых вещах; помнит и разбирается легко лишь в одном: у него черный клубок, а у некоторых белые; он - архиепископ, а есть митрополиты. Почему же он не митрополит?

Жажда белого клубука у него превышает жажду жизни. Он скорее движущийся труп, чем живой человек. И всё же этот одряхлевший ребенок правит большой епархией! И не

один он такой в Церкви. Такой порядок, такой взгляд установились у нас, что архиерей, до какого беспомощного состояния ни дожил бы он, может оставаться на своей кафедре и "управлять" епархией. Жизнь протестовала против таких порядков, являя примеры развала, неустойчивости, застоя епархиальной жизни от немощности епархиальных владык, но архиерейская благодать, как шапка-невидимка, скрывала от власти имущих всю ненормальность и весь вред такого положения, - господствовал принцип: владыку - а особенно заслуженного - нельзя уволить на покой. Вот и изобиловала, к сожалению, наша иерархия такими владыками, которым, по совести, нельзя было бы поручить и прихода.

Взять хотя бы юг России. В Ставрополе - Агафодор. В Новороссийске еп. Сергей, возрастом совсем не преклонный, {340} но сумбурный, безвольный, подчас шальной, не разбирающийся в самых простых вопросах. Сами архиереи зовут его "петух с вырезанными мозгами"! В Тифлисе еще более сумбурный, бесхарактерный, недалекий, то жалкий и трусливый, то невпопад решительный и храбрый, бестактный и беспутный Феофилакт. В Екатеринодаре еп. Иоанн, добрый и благочестивый, но тоже очень недалекий и безгласный, ничьим уважением не пользующийся, совершенно неспособный к какой-либо активной деятельности и едва ли чем-либо интересующийся. В обществе он слывет за глупца, у архиереев - за благочестивого святителя.

И т. д. И все они, несмотря на очевидную неспособность их управлять епархиями, прочно сидят на своих местах и будут сидеть, пока Господь не уберет их...

Кончилась церемониальная часть. После предложенного архиеп. Агафодором завтрака, к которому был приглашен и ген. Деникин со своей свитой, и на котором резко чувствовалось отсутствие хозяина, Деникин со свитой уехал, а Собор, после небольшого перерыва, занялся деловой работой. Прежде всего, был избран президиум: председателем - архиепископ Митрофан товарищами председателя - архиеп. Дмитрий, я и князь Г. Н. Трубецкой. Архиеп. Агафодора избрали почетным председателем Собора.

Заседания Собора окончились в пятницу 24 мая. Если принять во внимание, сколько времени отняли у Собора выборы президиума, членов Временного Высшего Церковного Управления, наконец, церемониально-богослужебная часть (в четверг были торжественные богослужения в храмах, на площади, куда сошлись все архиереи и всё духовенство, и на братской могиле погибших в гражданской войне), то на соборную ушло не более трех дней. В эти три дня Собор сделал чрезвычайно много: рассмотрел и принял проект Временного Высшего {341} Церковного Управления на юго-востоке России, одобрил ряд соборных воззваний, рассмотрел вопрос о приходе, о духовно-учебных заведениях, о церковной дисциплине и пр. (См. "Церковный Кубанский Вестник",

1919 г., ном. 6 и 7). (В Высшее Церковное Управление Собором были избраны: председателем архиепископ Митрофан, товарищем председателя архиепископ Дмитрий, членами: я, проф. прот. А. П. Рождественский, гр. В. В. Мусин-Пушкин и проф. Павел Вас. Верховской. Замечательно, что Ставропольский Собор 1919 г. проявил удивительную солидарность с Томским Собором 1918 г., хотя об этом последнем Соборе стало известно на юге России лишь в июне 1919 г., значит, после Ставропольского Собора. Томский Собор тоже учредил высшую церковную власть, наименовав ее, как и Ставропольский Собор, Временным Высшим Церковным Управлением, составив это Управление из трех архиереев, двух пресвитеров и двух мирян.

Учрежденное Собором Высшее Церковное Управление было облечено всей полнотой власти, какая принадлежит Патриарху с его Св. Синодом и Высшим Церковным Советом, до восстановления связи с Патриархом, когда оно немедленно должно было бы сложить все свои полномочия).

Работа шла быстро, продуктивно, несколько спешно, но и эта спешность скорее помогала делу, сдерживая словоизвержения, чем вредила ему.

Соборная работа не обошлась без шероховатостей и курьезов.

1) Между прочим, на Соборе долго рассуждали о разделении епархий: Ставропольской - на Ставропольскую и Кубанскую, Екатеринославской и Ростовской, Сухумской - на

Сухумскую и Черноморскую.

Вопрос о первых двух епархиях, казалось бы, не подлежал спору: и Кубанский (Иоанн), и Ростовский (Арсений) епископы правили викариатствами самостоятельно, при участии своих Епархиальных советов. Оставалось только оформить создавшееся положение. Но архиеп. Агафодор в окончательном отделении Кубанской {342} епархии увидел личную обиду, а Екатеринославский Агапит протестовал против отделения Ростова из-за Ростовской часовни, приносившей ему от 18 до 20 тысяч рублей в год.

Первое дело всё же прошло гладко, если не считать обморока с архиеп. Агафодором, когда ему сообщили о разделе его епархии.

Всё это дело вел председатель Кубанского епарх. Совета, свящ. Григорий Ломако, докладывавший Собору сжато, дельно, убедительно. Протест, но очень слабый, был вызван лишь Ставропольскими членами Собора. Архиеп. Агафодор на заседании, на котором рассматривалось это дело, не присутствовал. Вообще, архиеп. Агафодор приходил на Собор не часто, а когда и приходил, - не принимал никакого участия в соборной работе. Появляясь, иногда смешил своей забывчивостью. Однажды, когда он взошел на возвышение, где помещались архиереи (их было 11) и члены президиума, он благословил архиереев, а не членов Собора. Очень странным было поведение Кубанского еп. Иоанна: как на пленарных заседаниях, так и в комиссиях он не проронил ни одного слова. И при решении этого вопроса, более всего его касавшегося, он остался верен себе. Я как-то спросил свящ. Ломако:

- Советовались ли он и другие члены Собора - кубанцы с еп. Иоанном, когда шел вопрос об отделении епархии; давал ли епископ им какие-либо указания по этому вопросу?

- О чем с ним советоваться? Что он мог нам сказать? - с горечью сказал о. Ломако. - Ни мы с ним ничего не говорили, ни он с нами.

Но архиеп. Агапит протестовал бурно. Однажды даже заявил, что он не подчинится решению Собора, если таковое состоится. После сильного отпора со стороны некоторых членов Собора, он сбавил тон, но продолжал требовать, чтобы и после отделения Ростовской епархии {343} была оставлена за ним "хлебная" Ростовская часовня. Еп. Арсений, в свою очередь, протестовал против оставления часовни за Екатеринославским архиереем. Этот вопрос о доходной часовне отнял у Собора много времени и остался не вполне решенным, так как архиеп. Димитрий, друг Агапита, внес своею рукою в соборный протокол, уже после подписания его председателем и членами президиума, добавление, что часовня остается за Екатеринославом. Эта приписка потом послужила предметом долгих суждений и больших споров в В. В. Ц. Управлении, решившим дело в пользу Ростовского епископа.

Екатеринославо-Ростовское дело, неожиданно для всех, вызвало другой инцидент. Ни у кого из членов Собора не могло возникнуть вопроса: кому же быть Ростовским епископом? Ростовской епархией уже более года правил еп. Арсений. Но этот вопрос поднял Донской викарий, еп. Гермоген.

- А кто же будет епископом Ростовской епархии? - спросил он Собор. Когда же ему ответили, что там есть уже епископ, он, не церемонясь, предъявил свои права:

- А я при чем останусь? Мне четыре года тому назад обещана была эта епархия, четыре года ждал я ее. Меня в Ростове знают и любят. Я протестую против оставления там Арсения. Пусть назначат выборы! Я ставлю свою кандидатуру.

Такая откровенность на пленарном заседании Собора удивила многих и заявление Гермогена было оставлено без внимания.

2) Странно вели себя на Соборе донцы. Всякий вопрос общего порядка они старались направить в свою пользу. Когда решался вопрос: где быть В. В. Ц. Управлению, они категорически заявили, что единственное для него место Новочеркасск, столица {344} Всевеликого Войска Донского и местопребывание Сената, что избрание другого места будет оскорблением для Всевеликого Войска Донского.

Они даже грозили оставить Собор, если этот вопрос решится не в их пользу. После всеобщего возмущения членов Собора по поводу этой выходки, они стали просить войти в их положение: им нельзя будет вернуться на Дон, если они не добьются желанного решения,

и, кроме того, Донское Правительство откажет духовенству в содержании от казны, уже обещанном.

Пока решался этот вопрос, донцы всё время заявляли, что только они смогут, как следует, материально обставить В. В. Ц. Управление. И у них, действительно, были большие деньги. Их свечной завод располагал наличностью и материалами, по крайней мере, на десять миллионов рублей. Когда же вопрос решился не в их пользу, и когда затем стали изыскивать средства из местных источников на содержание В. В. Ц. Управления, донцы заявили, что их епархия ничего не может дать

В. В. Ц. Управлению, ибо не располагает никакими для этого средствами.

Поведение донцов особенно бросалось в глаза при сравнении их с кубанцами. Последние при решении всех вопросов проявляли удивительные спокойствие, бескорыстие, отзывчивость и политическую зрелость. А, между тем, все члены собора - донцы были с высшим образованием, а из кубанцев его имели только двое.

3) Между прочим, на Соборе обсуждался вопрос:

предоставлять ли В.В.Ц.У. право награждать архиереев и клириков. Явившиеся на собор архиепископы Димитрий и Агапит, с бриллиантовыми крестами на клобуках, живо напомнили жаждущим наград о деяниях "Синодов" Киевского и Одесского, последний из которых, кажется, только тем и занимался, что засыпал духовных лиц разными высокими наградами, наградив прежде всего своих членов. Бывший в 1918 году еще {345} епископом Агапит теперь стал архиепископом и украсился высокой архиепископской наградой бриллиантовым крестом на клобуке, хотя тому Синоду не могло не быть известно, что за Агапитом числилось много тяжких прегрешений и вообще удельный вес его был очень мал. Чтобы предупредить возможность повторения позорной одесской практики, некоторые члены энергично настаивали: не давать В.В.Ц.У. права награждать, ибо не время теперь думать о наградах. Защитником, наград выступил тот же епископ Гермоген. - "Как так не награждать?" - почти с ужасом воскликнул он. - "Я буду говорить о себе. Я уже десять лет епископом. Мои сверстники архиепископы. А я что же? Так и оставаться мне?"

Вопрос был решен так: В.В.Ц.У. может награждать клириков, награждение же епископов оставить до восстановления связи с Патриархом.

4) Предсоборной Комиссией были составлены послания от собора: ген. Деникину, казачьим войскам - Донскому, Кубанскому и Терскому, восточным Патриархам, Папе и архиепископу Кентерберийскому. Собор принял все послания, кроме трех: Войску Донскому и инославным. Первое было опротестовано Донцами, потребовавшими составления нового послания, ибо представленное недостаточно восхваляло Войско. А послания к инославным были отвергнуты, ибо "не к лицу Собору якшаться с еретиками".

5) Много шуму внес в Собор священник В. Востоков, начавший обвинять и духовенство, и Собор, и даже Патриарха в ничегонеделании и теплохладности. Он настаивал, чтобы Церковь выступила открыто и резко против "жидов и масонов", с лозунгом: "за веру и Царя!" Этот, несомненно, одаренный словом иерей всегда отличался бестактностью, резкостью, часто неуместною прямолинейностью (ибо она у него не {346} сообразовалась ни с чем: ни с моментом времени, ни с условиями и требованиями жизни). Теперь же он говорил особенно вызывающе, чрез головы членов Собора обращаясь к толпе. Его выступление носило митинговый характер и вызвало резкий отпор со стороны кн. Е. Н. Трубецкого, архиепископа Дмитрия и епископа Михаила, назвавших его клеветником, бунтовщиком, человеконенавистником. Кроме отдельных черносотенных членов, Собор, можно сказать, в полном составе отнесся крайне отрицательно к выходке о. Востокова.

6) Странную роль на Соборе играли два графа: Апраксин

(б. Секретарь императрицы Александры Федоровны) и Граббе, изображавшие ревнителей и защитников строгого, уставного православия, при решении всех вопросов старавшиеся отыскать сверхканоническую почву и восстававшие, под видом боязни новшеств, даже против здравого смысла и очевидной пользы церковной. Гр. Граббе являлся на вечерние заседания почти всегда в совершенно нетрезвом виде, не смущаясь выступал по

всем вопросам, вообще, держал себя до крайности развязно, а в пользовании историческими фактами и справками уже решительно ничем не стеснялся.

Граф же Апраксин собрал около себя значительную партию, которая выставила его кандидатом в члены В.В.Ц.У. Сам он очень домогался этого звания, однако, получил одинаковое число голосов с гр. В. В. Мусин-Пушкиным, хотя последний на Соборе и не присутствовал. Предстояла перебаллотировка. Партия Апраксина усилила агитацию, но один из членов Собора предложил решить дело жребием. Предложение было принято. Вынимал жребий архиепископ Митрофан. Жребий пал на гр. Мусина-Пушкина. Апраксин тотчас попросил слова, которое и было ему дано. Осенив себя крестным знаменем, он начал:

{347} - Господи! Благодарю Тебя, что Ты избавил меня от тяжкого жребия, который мог выпасть на мою долю. Я с ужасом думал о возможности быть избранным на дело, которое выше моих сил...

Вопль Апраксина произвел тяжелое впечатление на большинство соборян. Едва ли кто поверил в искренность его молитвы, ибо все видели, с какими усилиями его партия проводила его в члены В.В.Ц.У. и как он сам волновался во время выборов.

Все эти инциденты не могут, однако, ни умалить произведенной Собором работы, ни отнять у него огромного значения, какое он имел для последующей церковной жизни. В общем, работа на Соборе протекала спокойно, велась энергично, и историк отметит, что Собор в короткий срок разрешил множество вопросов самого разнообразного характера.

Собор спокойно обошел все подводные камни и, хотя о. Востоков, злословя, обзывал его в Екатеринодаре "еврейским синагогом", он проявил, при общей смуте, большое спокойствие, понимание церковных нужд и готовность идти им навстречу. При большем времени и лучших условиях Собор мог бы принять еще большие решения.

Номинальному инициатору этого Собора, архиеп. Агафодору, Собор принес много огорчений. На Соборе оформилось отделение Кубанской епархии от Ставропольской - событие, которого давно уже боялся престарелый, бессознательно цеплявшийся за власть архиепископ. Когда ему сообщили о соборном решении, он упал в обморок и при падении сильно ушиб голову и руку. Два дня после этого он почти без движения пролежал в постели. За этим последовали другие огорчения. Он мечтал, что Собор поднесет ему белый клобук.

Собор ограничился адресом, а вопрос о белом клобуке отложил до восстановления связи с Патриархом. Не дождавшись от Собора милости, старец впал в {348} страх, как бы Собор или учрежденное им В.В.Ц.У., не отстранили его, по старости, от кафедры. Под этим страхом, постоянно мучившим его, он жил всё время до самой своей кончины, 18 июля

1919 г., возможно, ускоренной пережитыми на Соборе волнениями.

Присутствовавший при кончине архиепископа Агафодора прот. Кир. Окиншевич рассказывал мне, что старец умирал спокойно, в полном сознании. Около него в момент смерти находились еп. Михаил и прот. Окиншевич. Последний, видя, что старец начинает дышать всё тяжелее, обратился к еп. Михаилу:

- Надо читать отходную. Владыка умирает.

Умиравший открыл глаза и, уставившись на Окиншевича, спросил его:

- А вам кто это сказал?

Потом снова закрыл глаза, начал еще тяжелее дышать и через несколько минут скончался.

Таким образом, старец-архиепископ, может быть, сокращением дней своих заплатил за то дело, которое, совершившись помимо его воли, вопреки его желаниям, вне его сознания, вплетет его имя в церковную историю. Историк должен будет отметить, что архиепископ Агафодор создал южнорусский Собор, давший краю высшую церковную власть, которая отсутствовала после перерыва сношений с Патриархом и которая затем церковно объединила разрозненные части разоренной русской земли. Историк скажет, что архиепископ Агафодор молитвою и речью открыл Собор и "почетно" возглавлял его. Иного, по всей вероятности, он и не сможет сказать, ибо всё, происходившее до созыва Собора и вызвавшее этот Собор, сводилось к разговорам отдельных лиц и частных групп, к кабинетным докладам

Главкомандующему и не зафиксировано на {349} бумаге. Эра же соборная начинается приглашениями за подписью архиеп. Агафодора, обращенными к архиепископам, епископам, атаманам и пр. Таким образом, архиеп. Агафодор, в пору полного своего одряхления, невзначай, но прочно и почетно попал в историю.

Временное Высшее Церковное Управление

Собор закончил свою работу. Теперь предстояло наладить работу В.В.Ц.У.

На Соборе самый вопрос о бытии В.В.Ц.У. вызвал несравненно меньше споров и трений, чем другой, попутный вопрос: где быть В.В.Ц.У. Донцы, упустившие из своих рук честь созыва и приема Собора, решили компенсировать себя за счет В.В.Ц.У. Плоско, не серьезно, иногда грубо и даже цинично, пускались ими в ход все приемы и доводы, что В.В.Ц.У. надлежит быть там, где действует власть Всевеликого Войска Донского и где уже восседает Сенат. Собор, однако, понял, что тут Донцами руководят только два чувства: мелкое, провинциальное честолюбие и желание играть роль в Церкви, для чего заблаговременно обеспечить себе митрополию с ее управлением. И Собор не пошел на их удочку. Собор сделал единственную уступку, сформулировав статью о местопребывании В.В.Ц. Управления так: "Местопребывание В.В.Ц.У. определяется самим В.В.Ц.У. по согласованию с Главкомандующим".

Я лично считал весьма важным, чтобы В.В.Ц.У. было там, где Главкомандующий. Это необходимо было для возвышения власти последнего, а следовательно, и для прочности ее. Принятая Собором формула удовлетворяла меня, ибо теперь ясно было, что В.В.Ц.У. будет там, где захочет Главкомандующий. А последнему, если он сам не оценит положения, можно будет подсказать нужное решение.

{351} 26 мая, в Троицын день, после обедни, я докладывал ген. Деникину о результатах соборной работы. Он с большим интересом выслушал мой доклад, но посетовал, что Собор скоро закончил занятия.

- Ужель ограниченность средств была тому причиной? Мы дали бы вам еще деньжонок, - сказал он.

Я успокоил его, что спешность несколько не повредила делу. Когда я упомянул о местопребывании В.В.Ц.У. он спокойно заметил:

- Ему надо быть там, где председатель. Я возразил: В.В.Ц.У. надо быть там, где Главкомандующий. Это придаст вес Главкомандующему. Самостийники понимают это и уже старались перетянуть В.В.Ц.У. во Всевеликое Войско Донское.

- А что такое Всевеликое Войско Донское? Что хорошего они сделали? спросил, повысив голос, Деникин.

- Я знаю, что ничего особого они не сделали. Так не надо же давать им и авансы, - ответил я. Потом мы снова заговорили о Соборе.

- Слушайте! - уже улыбаясь, сказал Деникин, - разве можно так суесловить? Начали расхваливать меня, что я поднял мысль о Соборе, о созыве его, об учреждении органа высшей церковной власти и пр., и пр. А я-то тут причем, когда всё это другие затеяли? Неудобно мне было обличать Собор во лжи, а то обличил бы. .

После этой беседы меня очень беспокоил вопрос о местопребывании В.В.Ц.У. Вдруг "сдаст" Деникин и согласится с архиепископом Митрофаном, если последний, следуя за своими донцами, станет настаивать на Новочеркасске. Чтобы усилить нашу позицию, я переговорил с ген. Драгомировым и Лукомским. Оба они сразу согласились, что В.В.Ц.У. надо быть при Главкомандующем. Драгомиров предложил мне: в понедельник 3-го июня, накануне приезда в Екатеринодар {352} архиепископа Митрофана, вместе побывать у Деникина и настоять на Екатеринодаре. В понедельник, в 12 ч. дня, я пришел к Деникину, где уже застал Драгомирова, успевшего сделать свой доклад относительно места В.В.Ц.У.

- Ну, что ж? Будем стоять на Екатеринодаре? - спросил меня Деникин.

- Непременно, - ответил я, - и не отступим! Сдадутся. А это нужно для вас, для престижа вашей власти, для дела.

- Ну, так и будет, - сказал Деникин.

После этого мы рассмотрели составленный мною церемониал открытия В.В.Ц.У. По этому церемониалу во вторник, 4 июня, в 9 часов утра выезжают на вокзал для встречи председателя, архиепископа Митрофана: пребывающие в Екатеринодаре архиереи, члены В.В.Ц.У., представители Кубанской епархии и генерал Драгомиров. Последний везет архиепископа в Войсковой собор, где его встречает духовенство. После соборной встречи все члены В.В.Ц.У. отправляются в покои Кубанского епископа и обсуждают вопрос о местопребывании В.В.Ц.У.

В 12 ч. дня все члены В.В.Ц.У. представляются ген. Деникину

5-го, в 10 ч. утра, открытие В.В.Ц.У. молебствием в Войсковом соборе, на котором присутствуют: генерал Деникин, высшие чины штаба и члены Особого Сопещания.

За несколько дней перед тем ген. Деникин чествовал обедом приезжего английского генерала. Во время обеда он совершенно неожиданно для всех провозгласил I тост за Верховного Правителя России, адмирала Колчака, которому он подчиняет себя. Тост тем более удивил всех, что, бывший недавно победоносным Колчак теперь терпел поражения, в то самое время, когда армия Деникина неудержимо неслась вперед. Благородный шаг Деникина не одинаково был встречен присутствовавшими: одни ответили на него дружным "ура", {353} другие, как дежурный генерал Ставки Главнокомандующего С. М. Трухачев и личный адъютант Деникина, полковник А. Г. Шапрон-дю-Ларе, оба прекрасные люди и добрые воины, увидев в этом акте унижение Добровольческой Армии, встали из-за стола и ушли. Тем удивительнее был шаг Деникина, что раньше все высказались против него: и Особое Сопещание, и общественные организации - Совет Государственного Объединения, Национальный Центр и др. В этом вопросе Деникин взял всецело на себя и инициативу и ответственность.

На следующий день по всему городу шли разговоры о тосте Деникина. Одни восторгались Деникиным, другие осуждали его. Я зашел к полк. Шапрону. Он, оказалось, вернувшись с обеда, подал Деникину докладную записку, в которой просил уволить его от должности личного адъютанта и от службы в Добровольческой Армии. Я решительно осудил его поступок, сказав ему, что он не имел права так обижать Деникина - он должен был поддержать его, если бы тот в данном случае и допустил ошибку. По моему же мнению, такой ошибки не сделано. В это время принесли записку Деникина: "Полковник Шапрон, по его просьбе, освобождается от должности моего личного адъютанта". Шапрон показал мне записку.

- Видите, всё кончено.

- Ничего не кончено. Идите к Деникину и исправляйте дело - сказал я, и Шапрон остался адъютантом. Если так действовали близкие, то бездельники пустословили, а враги рычали, обвиняя Деникина в превышении власти и пр. Ему нужна была поддержка. Вот, он теперь и говорит мне:

- Надо, чтобы архиепископ Митрофан сделал распоряжение о поминовении на богослужениях "Благоверного Верховного Правителя".

{354} - Зачем арх. Митрофан? Это сделает В.В.Ц.У., - возразил я.

- Это еще лучше, - сказал Деникин. В 12 ч. дня члены В.В.Ц.У. представлялись Деникину, причем был затронут вопрос о местопребывании В.В.Ц.У. Решили так: постоянное место В.В.Ц.У. при Ставке Деникина, но председатель может назначать заседания и в других местах. Такое решение удовлетворило всех.

Вечером состоялось заседание В.В.Ц.У., на котором между прочим было постановлено: "Поминать на всех богослужениях во всех церквях, после Богохранимой Державы Российской, Благоверного Верховного Правителя".

5 июня, в 10 ч. утра, состоялось открытие В.В.Ц.У. Рано утром я приказал составить протокол постановления о поминовении имени Колчака, а когда члены В.В.Ц.У. собрались в алтаре, я предложил им подписать его. У председателя же попросил разрешения прочитать этот протокол пред молебном после прочтения акта об учреждении В.В.Ц.У. Архиепископ Митрофан сначала заупрямился, а потом махнул рукой:

- Делайте, если находите нужным!

В Войсковой собор прибыли к молебну: Деникин, Драгомиров, все высшие чины Штаба, все члены Особого Сопещания и много народу. Архиеереи со множеством духовенства вышли на средину храма, а я с амвона прочитал акт об учреждении В.В.Ц.У. Архиепископ Митрофан произнес речь, посвященную открытию В.В.Ц.У., а затем я прочитал протокол о поминании Верховного Правителя. Никто этого акта не ожидал и потому впечатление получилось потрясающее. Драгомиров плакал, прослезились и другие. А на молебне по установленному чину уже поминали: Благоверного Верховного Правителя.

После молебна Деникин говорит мне:

{355} - Смотрите ж, не сдавайтесь, если самостийники начнут напирать!

- Будьте спокойны. Не сдадим! - ответил я.

Вечером этого дня в Зимнем театре происходило объединенное заседание общественных организаций: Национального Центра (кадеты), Совета Государственного Объединения и Союза Возрождения (социалисты), Выступали ораторы: Н. И. Астров, Н. В. Савич и проф. Алексинский. Все эти организации раньше были против признания адм. Колчака. Теперь же ораторы расхвалив вали самоотверженный подвиг Деникина. А я радовался, что Церковь опередила все общественные выступления: она первая поддержала Деникина.

7 июня. В обществе всё больше восхваляют шаг Деникина. А. В. Кривошей (Председатель Совета Государственного Объединения) сказал Анне Николаевне Алексеевой (вдове ген. М. В. Алексеева) :

- Отвергнув признание Колчака, мы поступили так, как должны были поступить, но и Деникин, оставаясь Деникиным, не мог поступить иначе, как он поступил. Мы все преклоняемся пред ним.

{356}

Недуги Добровольческой Армии

В первый же день своего пребывания в Добровольческой Армии я имел интересный разговор в доме генерала Лукомского. Еще в Крыму мне пришлось услышать много нареканий на гвардейцев, бравировавших своим положением и своими монархическими чувствами и сильно возбуждавших против себя и армию, и население. А им-то, теперь, в демократическое время, надо было бы присмиреть и не будировать.

На мой взгляд, восстановление гвардии было преждевременно, и для престижа Добровольческой Армии в глазах населения невыгодно. Добровольческая Армия должна была быть демократической. К этому надо прибавить, что новые полки, как Корниловский, Марковский, Алексеевский и Дроздовский, имели все основания считать себя по боевой доблести ни в каком случае не ниже гвардии; старый же принцип старшинства полков теперь не должен был приниматься во внимание. Я высказал мысль, что восстановление гвардии было большой ошибкой. Но мое мнение было встречено резким протестом.

Между тем, в марте 1919 г. посетивший меня толковый, честный и доблестный полковник лейб-гвардии Преображенского полка Кутепов, без всякого повода с моей стороны, повторил мне о гвардии буквально то же самое, что я в ноябре 1918 года говорил в семье Лукомского, признав восстановление гвардии большой ошибкой. (см. Генерал Кутепов "Сборник статей" ldn-knigi.narod.ru)

{357} Второе явление, о котором я еще в Киеве был осведомлен и которое воочию увидел, прибыв в Екатеринодар, это заносчивое отношение участников первого Кубанского похода, ко всем, не участвовавшим в этом походе, непомерные претензии их на исключительные права и преимущества и, наконец, крайняя нетерпимость ко всем, кто так или иначе приобщился к службе у большевиков.

В особенности эта нетерпимость проявлялась к лицам в генеральских чинах. Нетерпимость ко всем, служившим у большевиков, стала своего рода принципом Добровольческой Армии. На всех перебежчиков оттуда добровольцы смотрели только с точки зрения своей "чистоты", какую они считали верность союзникам и полную

непричастность к службе у большевиков, и совсем забывали о государственной пользе, о пользе своего же дела, которое страшно страдало от такого взгляда; как не хотели они понять и тех сложных условий, которые заставляли офицеров царской армии служить у большевиков.

С первых же дней своего пребывания в Добровольческой Армии я начал внушать и высшим, и низшим добровольцам мысль, что отношение к служившим в Советской России офицерам требует большой осторожности, исключаяющей всякую нетерпимость, заносчивость, мщение и жестокость. Очень трудно было проводить эту мысль, ибо в Армии преобладал взгляд, что всех перебежчиков из России, особенно генералов, надо вешать. И когда ген. Болховитинов не был повешен, а лишь разжалован в рядовые, многие возмущались этим. Ген. Леонид Митр. Болховитинов, товарищ Деникина по Академии, в Великую войну занимал должности: начальника Штаба при Главнокомандующем на Кавказе, а потом командира 1-го арм. корпуса. У большевиков служил инспектором пехоты. В июле 1918 г. бежал в Екатеринодар к семье, где был арестован, по приказанию Деникина, и отдан под суд. Брешь в этом {358} вопросе пробивалась крайне медленно. Мне казалось, что молодежь, занявшая видные места в Добровольческой Армии, особенно настойчиво поддерживала взгляд на необходимость самого строгого отношения к прибывающим из Советской России, опасаясь, как бы последние потом не оказались непобедимыми их конкурентами на видные места. Сам Деникин был сторонником сурового отношения только по своей честности, слишком прямолинейной, не знающей уступок. За всё время революции он ни разу не изменил своему солдатскому долгу честно служить Родине, много раз мог поплатиться за это своею жизнью и всё время оставался верен своим союзникам. Своим сильным, но слишком прямолинейным умом он не мог понять, ни в своем сознании примирить офицерского звания со службой у большевиков.

Почти до самого конца Деникинской эпохи отношение Главного Командования к офицерам, служившим у большевиков, оставалось нетерпимым. При Ставке была образована особая комиссия - "Болотовская" (председатель ее ген. Болотов), состоявшая из семи (кажется) генералов, чрез которую, как чрез чистилище, должны были проходить все перебежчики.

Процедура "очищения" тянулась иногда 2-3-4 месяца, и длительность ее для лиц, не располагавших средствами, - а таковых было большинство, - была мучительна. Для не смогших реабилитироваться предстоял суд иногда с предварительным, чрезвычайно унижительным заключением на гауптвахте или в особом помещении, назначенном для таких узников и, конечно, лишенном самых примитивных удобств.

А затем предстоял суд, часто очень не милостивый, иногда кончавшийся для заслуженных генералов разжалованием в рядовые, а то и каторгой. Изменить эту убийственную политику не представлялось никакой возможности, ибо она встречала сочувствие не только у крепко уцепившихся за свои места и {359} боявшихся потерять их, но и вообще на фронте, в особенности, среди участников Кубанского похода, много выстрадавших и естественно озлобленных. Ни у тех, ни у других не хватало мужества, чтобы забыть о своих правах и по-братски встретить идущих к ним, ни мудрости, чтобы предвидеть все ужасные последствия, к которым должна была привести такая нетерпимость.

Я несколько раз просил ген. Романовского, намекал и ген. Деникину о необходимости изменить взгляд на перебежчиков и отношение к ним. Мне отвечали, что негодяев нельзя щадить, что против снисхождений весь фронт и пр.

Зная мое отношение к этому делу, ко мне со всех сторон шли проходившие чрез чистилище, но я был бессилен что-либо для них сделать. Так продолжалось до ноября 1919 г., когда были присуждены к каторге два генерала Генерального Штаба, георгиевские кавалеры: доблестный герой Нароча, честный и патриотично настроенный ген. Буров, и ген. Котельников, первый на 4 года, а второй на 8 лет. Бурова я знал еще по Академии Генерального Штаба и после следил за его службой. Пришедши ко мне, Буров, как на духу, рассказал мне и про свою "службу" у большевиков (в течение года он сменил у них

пятнадцать мест, значит, фактически не служил) и про свое семейное положение: его жена с двумя детьми в это время голодала в Харькове (я читал ее письма), жила в не отапливаемой комнате, с закрытыми ставнями, чтобы теплее было; ели горячее через день; всё распродала; исхудала так, что не могла сидеть на деревянном стуле, дети покрылись нарывами. Буров плакал навзрыд, рассказывая про свое горе. Я пошел к Романовскому и представил ему весь ужас их "правосудия", уже давшего результаты: в июле этого года в Орле двадцать два офицера Генерального Штаба, служащие у большевиков, обсуждали вопрос, как им быть, в виду установившегося в Добровольческой Армии отношения к перебежчикам. И {360} решили: доселе мы играли в поддавки, теперь начнем воевать по совести. Романовский уверял меня, что он, по своему мягкосердечию, готов всех простить, но фронт против снисхождений. Я настоял, чтобы он просил Деникина. Он обещал. В результате Буров и Котельников были помилованы и для всех других была объявлена амнистия. Но было уже поздно: наши войска, откатываясь назад, подходили к Ростову и Таганрогу.

Возможно, что суровое, беспощадное отношение к служившим у большевиков ускорило нашу катастрофу. Оно ожесточило тех, кто готов был стать нашими союзниками; более того, - заставило их искать спасения не у нас, а у наших врагов. Мы не только лишились их помощи, но и приобрели в лице их серьезных противников.

Другую, уже несомненною причиною наших неудач были развившиеся в Добровольческой Армии до больших размеров грабежи, взяточничество и казнокрадство. Еще в начале 1919 г. я умолял ген. Романовского обратить внимание на грабежи и, прежде всего, на их причину. Первой же их причиной были крайняя честность и бережливость ген. Деникина. Он сам довольствовался таким жалованьем, которое не позволяло ему удовлетворять насущные потребности самой скромной жизни.

Г-жа Деникина сама стряпала; сам он ходил в заплатанных штанах и дырявых сапогах; семья его скудно питалась. Такой же самоотверженной скромности он требовал и от всех добровольцев.

Но если Главнокомандующий и мог кой-как перебиваться на 1.500 руб. в месяц, то семейный офицер никак уж не мог жить на 300-400 рублей в месяц. Я несколько раз доказывал ген. Романовскому (помнится, и Деникину), что такое бережливое отношение к казне до добра не доведет, что нищенское содержание офицеров будет толкать их на грабежи. Мне отвечали, что иначе поступить не могут, во избежание обвинений в {361} расточительности, да и станков нехватает для печатания денег.

Когда же грабежи начались, и я обратился с просьбою прекратить их, ген. Романовский ответил мне, что грабежи - единственный стимул для движения казаков вперед: "Запретите грабежи, и их никто не заставит идти вперед". И грабежи, с молчаливого попустительства Главного командования, развивались всё больше. Некоторые из вождей, как Кубанский герой - ген. Шкуро и Донской - ген. Мамонтов сами показывали пример. О Шкуро все, не исключая самого ген. Деникина, открыто говорили, что он награл несметное количество денег и драгоценных вещей, во всех городах купил себе домов; расточительность его, с пьянством и дебоширством, перешла все границы. О Мамонтове ходили тоже невероятные слухи. 30 марта 1930 г. мне многое рассказал о Мамонтове ген. Н. Н. Алексеев, в Донской армии бывший командиром корпуса, а пред Великой войной профессором Военной Академии, умный и честный человек. В гражданской войне его корпус действовал рядом с корпусом Мамонтова и он, следовательно, хорошо знал Мамонтова.

Ген. Алексеев рассказывал мне, что денщик Мамонтова вывез из знаменитого мамонтовского похода "на Москву" семь миллионов рублей. Сам Мамонтов рассказывал ген. Алексееву, что в Тамбове и Воронеже он обобрал сейфы. В одном из сейфов он захватил целый ящик архиерейских крестов и панагий, украшенные драгоценными камнями. Этот ящик он передал на хранение своему адъютанту. Когда на другой день Мамонтов попросил адъютанта принести ящик с архиерейскими вещами, чтобы показать их какому-то гостю, адъютант с удивлением ответил:

- Какой ящик? Никакого ящика на хранение я не получал.

И так и не вернул ящик.

- Это совершенно спокойно рассказывал {362} Мамонтов о своем адъютанте, а что этот адъютант рассказывал о Мамонтове, - того и не передашь, - закончил свой рассказ ген. Алексеев. Но и Шкуро и Мамонтова награждали, повышали, чествовали, прославляли. Кто не знает, с какими овацями встречал Мамонтова Донской Круг, Шкуро - Екатеринодар и т. д.

Вслед за вождями грабили офицеры, казаки, солдаты. За частями тянулись обозы с награбленным добром; казаки и солдаты возвращались домой с мешками, набитыми деньгами и драгоценными вещами и, конечно, разбогатев, не хотели вновь идти воевать. Грабежи стали общим явлением, которого уже никто не скрывал. Священник 2-го конного полка прямо говорил мне в августе 1919 г., что в их полку каждый солдат получает не менее 5 (пяти) тысяч рублей в месяц (насколько помню, Деникин в это время получал тоже пять тысяч рублей в месяц), и что надо только жить в дружбе с солдатами и офицерами, чтобы иметь сколько угодно денег. А как грабили, - об этом вспоминать страшно...

Один офицер рассказывал мне, что в некоем селе у только что разрешившейся от бремени учительницы начальной школы сняли обручальное кольцо и забрали детские распашонки!.. Приезжавшие с фронта офицеры тратили на кутежи огромные деньги.

А тыл, в свою очередь, не отставал от фронта, изоцряясь в спекуляции, которая достигла невероятных размеров, и остановить которую не было возможности. Спекулировали даже в Ставке. Комендант Главной Квартиры, полковник Яфимович, был отдан под суд за спекуляцию и хищения и был присужден к шести годам каторги. В Комендантском Управлении продали 500 тысяч папирос, пожертвованных для Армии и сданных Деникиным на хранение в Комендантское Управление.

Взятничество открыто процветало. В декабре 1919 г. ростовские железнодорожники потребовали тридцать тысяч рублей за вагон для семейств высших {363} чинов Управления путей сообщения. И последние только тогда получили вагон, когда дали просимую взятку. Кубанский походный атаман (военный министр), ген. Болховитинов в январе 1920 г. говорил мне:

- Я должен ежедневно отправлять на фронт два вагона муки. Мерзавцы железнодорожники не дают вагонов без взятки. Нечего делать. Приказал давать по 20 тысяч рублей в день.

Общее развращение дошло до бесстыдства. У большинства как будто мозги и совесть перевернулись.

Священник 2 конного полка о. Кир. Желваков, еще молодой человек, лет 28, с полным семинарским образованием, был переведен мною, по его просьбе, в августе 1919 г. в Терский казачий полк. В октябре или ноябре командир 2 конного полка полк. А. Г. Шапрон лично доложил мне, что этот "пастырь" с офицерами занимался грабежами и награбил более 300 тысяч рублей, которые положены им в банк.

Я поручил одному из священников произвести строгое расследование. Моя ли бумага не дошла до следователя, или его расследование затерялось в пути, но ответа я не получил. А события, начиная с декабря, пошли так головокружительно быстро, что мне было не до Желвакова, - благо новых жалоб на него не поступало. 30 марта в Севастополе Желваков явился ко мне. Я предъявил ему обвинение. Свое участие в грабежах он отрицал, но не отрицал того, что у него в полку были большие деньги, только не 300, а 200 слишком тысяч. На мой вопрос, как он их добыл, он спокойно ответил: "Выиграл в карты с офицеров". И затем, видя мое возмущение, стал спокойно доказывать, что тут нет ничего предосудительного, а лишь чисто семейное дело. Когда же я начал еще более возмущаться, он так же спокойно спросил меня:

- Да вас-то что удивляет? Размер суммы? У меня теперь есть более двух миллионов рублей.

- Тоже в карты выиграла? - спросил я, пораженный его цинизмом.

- Нет! - ответил он. - Эти деньги я добыл иначе. В июле я взял двухмесячный отпуск,

купил в Петровске две тысячи пудов керосину, по 100 рублей за пуд. Этот керосин отвез в Чугуев и продал там по 800 рублей пуд.

И потом этот иерей-картежник и спекулянт - стал мне доказывать, что и в последней его операции не было ничего предосудительного, и никак не мог понять, что иерей, обыгрывавший своих духовных чад-офицеров, иерей-спекулянт не терпим в армии.

К сожалению, в этот день я сдал управление военным духовенством еп. Вениамину и потому не мог ничего больше сделать, как только выразить свое полное презрение этому субъекту.

Грабежи, спекуляция, нахальство и бесстыдство разложили дух армии. Грабящая армия - не армия. Она - банда. Она не могла не придти к развалу и поражению.

Наряду с указанными печальными явлениями, в интеллигентных кругах, в особенности, аристократических и состоятельных, наблюдалось легкомысленное отношение к революции с отсутствием желания понять ее и определить свою роль в ней.

Пожалуй, большинство среди них смотрело на революцию, как на мужицкий, хамский бунт, лишивший их благополучия, мирного и безмятежного жития. Этот бунт надо усмирить, бунтовщиков примерно наказать, - и всё пойдет по-старому. Многие с наслаждением мечтали, как они начнут наводить порядок поркой, кнутом и нагайкой. А некоторые, по мере продвижения добровольческих войск на север, устремлялись уже в свои освобожденные имения и там начинали восстанавливать свои права, производя суд и расправу. Серьезного, глубокого взгляда на революцию почти не {365} приходилось встречать.

Почти никто не хотел понять, что под видом революции идет огромное стихийное движение, направляемое незримой рукой к какой-то особой цели: к перестройке жизни на новых началах, к очищению ее от разных наростов, наслоений, условностей, укоренившихся предрассудков и неправд. Это движение, в зависимости от многих причин и особенностей русской жизни, проходит неровно, бурно, болезненно. Разразившаяся буря очищает удушливую атмосферу русской жизни медленно, неприметно для глаза, а сокрушает и коверкает всё, попадающее на пути, слишком явно и наглядно для всех. Вот ее-то и надо было общими силами ввести в надлежащее русло, дать ей правильное течение, а у нас многие лишь хотели ее задержать, остановить, чтобы на обломках после бури начать восстановление старой, одряхлевшей, а теперь еще и разрушенной постройки. Хотели задержать ход истории, повернуть назад текущую реку. Усилия были тщетны и трагичны. Они лишь замедляли, осложняли и делали более болезненным исторический процесс, вызывая новые жертвы, новые страдания.

Наша интеллигенция, в известной своей части, тут не выдержала исторического экзамена. Революцию сознательно и бессознательно, намеренно и ненамеренно, прямо или косвенно одни сумели подготовить, другие не сумели предотвратить, но понять ее в большинстве своем не смогли и, когда она, прежде всего, ударила вообще по образованным классам и по их благосостоянию, потребовав от них огромных жертв, они испугались и принялись останавливать ее силою, не противопоставив ей мощной творческой идеи. Эта мысль едва ли нуждается в доказательствах. Все не проверенные, "новые" идеи необдуманно заносились в народ, конечно, интеллигентами, или "полуинтеллигентами". Они же первые показывали примеры неверия, неуважения ко всякой власти, ко всем старым заветам. С другой {366} стороны, сколь многие из внешне образованных людей оставались по натуре крепостниками, пользовавшимися трудами простого народа и слишком мало радевшими о благе его. Не они ли были виновны в том, что до самого последнего времени наш простой народ оставался невежественным? На них, а не на простой народ, падает, поэтому, и главная вина за уже сотворенные революцией и еще творимые ею неисчислимы ужасы, мучения и преступления.

3-го мая 1920 г. на приходском собрании, составленном из одних интеллигентов, на о. Антигоне я сказал присутствующим:

- Господа, посмотрите прямо и честно на происходящее! Мужик наш, наш простой народ оказался не тем, чем вы представляли его: разбушевавшись, он натворил за эти три

года много грязных и ужасных дел. Но мы-то лучше ли его оказались в это время? Вспомните про спекуляции, хищения, грабежи и грубый, безудержный эгоизм, охвативший всех нас!.. Мы хуже их, ибо от нас больше требуется, чем от них.

Если хотя бы не все, - этого никогда не бывает, - а большинство в Добровольческой Армии прониклось мыслью, что в ту пору нужно было жертвовать не только своею жизнью на поле брани, но и своими правами, преимуществами, достоинством своим, и мечтать не о реставрации старого, а о стройке нового, отвечающего интересам не отдельных классов, а целого народа, - тогда, думается, добровольческий подвиг привел бы нас к лучшим результатам.

Конечно, было много и других причин нашей неудачи. К ним надо отнести: неустройство тыла и особенно резервов, ошибки командования, зарвавшегося вперед, избиравшего иногда географически-неверные направления для операций и др. Может быть, ошибкой ген. Деникина было и его большое доверие к англичанам.

Ген. Холлман и другие англичане были постоянными его {367} советниками. Всегда ли англичане были добрыми советниками Главнокомандующего? Не преследовали ли они больше свои, чем наши интересы? Не затягивали ли они, в своих целях, намеренно развязку великой нашей трагедии? Эта мысль мучила многих.

Упомянутый уже мною, ген. Н. Н. Алексеев 30 марта 1920 года говорил мне, что наш провал стал для него несомненным со времени "Мамонтовского" похода, предпринятого вразрез со всеми правилами стратегии и тактики. Снять с растянутого фронта 15 донских полков (там всего было 25 полков) и бросить их на явную авантюру, не обещавшую, кроме грабежа, никаких других успехов, - это было безумием и преступлением. Результаты "Мамонтовского" похода были таковы: Тамбовские и Воронежские комиссары были очень перепуганы, но это для общего большевистского дела было не важно; у нас же 15 Мамонтовских полков были окончательно деморализованы грабежами и беспутством, а оставшиеся на фронте 10 полков, несшие непосильную службу, были совершенно истощены. И начался развал Донского фронта...

Но в Штабе Главнокомандующего или не предвидели всей опасности, или старались скрывать ее. Генерал-квартирмейстер Штаба, ген. Плющик-Плющевский несколько раз в конце 1919 г. повторял мне, что наши неудачи временны, что осень и начало зимы всегда были неблагоприятны для нас. Ген. Романовский так же смотрел на дело. Ген. Деникин заверял, что он не сдаст Харькова, потом - Ростова, наконец - Екатеринодара. Может быть, иногда они и не могли говорить иначе, чтобы не сеять паники. Но факт тот, что с эвакуацией у нас опаздывали.

В Ростове, как рассказывали очевидцы, было брошено до 10.000 больных и раненых солдат и офицеров, многие из которых потом были зверски замучены большевиками: два больших госпиталя на Таганрогском проспекте были сожжены со всеми {368} лежавшими в них больными. Свящ. Марковского полка, прот. Евг. Яржемский видел страшную картину исковерканных огнем железных госпитальных кроватей с лежавшими на них, обугленными человеческими костями, не убранных после страшного пожарища. По рассказам других, санитарные вагоны, которых не успели вывести из Ростова, были увешаны трупами казненных больных.

Относясь к ген. Деникину с глубоким уважением, ценя его бескорыстие, его кристальную честность, я, однако, не часто бывал у него. Два раза я обедал у него: на именинах и на крещении его дочери, два раза был у него, вернее у его жены, - с визитами. По служебным делам я тоже не учащал посещений: шел только в случаях крайней необходимости. Мой принцип - глаза начальству не мозолить и зря его не беспокоить. Обыкновенно, приходилось мне делать ему доклады по церковным вопросам. Но несколько раз я беспокоил его и по общим делам. В августе 1919 г., например, я предстательствовал пред ним за вдов и сирот добровольцев.

Положение вдов и сирот добровольцев тогда требовало большого участия: они все бедствовали, получая ничтожную пенсию. Дело в том, что оклады чинов Добровольческой

Армии всё время повышались. В ноябре 1918 г. я застал совсем маленькие оклады: несмотря на то, что рубль наш уже был обесценен, сам Деникин получал 1500 р. в месяц; я получал 600 р., когда, при полноценном рубле, в 1911-1914 гг. я получал 10.000 р. в год, значит, более 800 р. в месяц. На долю младших офицеров приходился совсем мизерный оклад. 1 декабря 1918 г. оклады были увеличены почти в три раза, 1 июля 1919 г. и 1 декабря 1919 г. были сделаны новые повышения. По последнему окладу я получал до 20.000 р. в месяц. А вдовы продолжали получать пенсии из окладов, какими пользовались их мужья в день смерти. Таким образом, вдова какого-либо {369} капитана-добровольца, погибшего до 1 декабря 1918 г., получала пенсию из оклада каких-либо 300 рублей. Это была насмешка над пенсией.

До меня доходили жалобы вдов и сирот. Я попытался сначала добиться толку в пенсионном отделении военного управления. Но там сидели формалисты, крючкотворы, заявившие мне, что они действуют строго по закону, который в данном случае не допускает исключений. Тогда я пошел к Деникину, чтобы представить ему всю несуразность и жестокость таких действий "по закону". Деникин согласился со мной и приказал быстро разрешить вопрос. Но проходили месяцы, жизнь дорожала, оклады еще раз чрезвычайно повысились, а на долю вдов и сирот по-прежнему падали жалкие крохи. Я побывал в Пенсионном отделении, затем у начальника отдела, ген. Фирсова, наконец, у начальника управления, ген. Вязьмитинова. В первом мне сказали, что вопрос разрабатывается (это - с августа!); последний заявил мне, что дело идет, но оно затянется на 2-3 месяца, ибо управление финансов раньше не рассмотрит его.

- Как это можно тянуть такое дело целый год и теперь ждать управления финансов в течение трех месяцев? Оно должно рассмотреть это в два дня. Не захочет, - поставьте перед ним пушку и пригрозите, что снесете это неповоротливое учреждение!

Вязьмитинов обещал содействие. Однако, дело не двигалось. Тогда я еще раз, в январе 1920 г. обратился к Деникину, представив ему всю серьезность вопроса, вызывающего у вдов ропот, у воинов опасение за судьбу их семейств, могущих остаться без кормильцев и в общем отзывающегося на настроении всей армии.

- Я же в августе, после разговора с вами, приказал наладить это дело (действительно, тогда Деникин при мне написал записку: быстро исправить дело). Ужель они ничего не сделали? - возмутился Деникин.

{370} - Если бы сделали, не пришел бы я к вам. Так исполняются ваши приказания, - сказал я.

Деникин очень нервно написал приказ: немедленно наладить дело. Скоро оно было налажено: все вдовы и сироты стали получать пенсии по последней общей ставке.

В январе же мне пришлось воздействовать на ген. Деникина в пользу ген. Болховитинова, избранного на должность Походного атамана Кубанского войска (т. е. Кубанского военного министра).

Болховитинова, как чрезвычайно дельного офицера, я знал еще с Японской войны по Штабу 1-ой Манчжурской армии. В 1909 или в 1910г. я венчал его в Суворовской церкви. С половины 1917 г. он был командиром I-го арм. корпуса. А в марте 1918 г. был назначен большевиками инспектором по формированию войск. В конце июня этого года я встретился с ним на Московском Александровском вокзале. Он пригласил меня в свой вагон, где мы долго с ним беседовали. Между прочим, он сказал мне:

- Не удивляйтесь, что я тут на службе. Если Бог поможет мне сформировать хоть один настоящий корпус, виселиц не хватит для здешних мерзавцев.

В июле он бежал в Екатеринодар, не предполагая, что его товарищ по Академии - Деникин жестоко расправится с ним. Но вышло иначе. Деникин отдал его под суд, приговоривший его к смертной казни. Как я потом узнал, только заступничество ген. Романовского спасло Болховитинова: он был разжалован в рядовые и отправлен на позицию, в Самурский полк. Новый рядовой, бывший генерал-лейтенант, служил с образцовым усердием, безропотно перенося все невзгоды и смиренно подчиняясь начальству; был произведен в унтер-офицеры, а в августе (кажется) восстановлен в чине генерал-лейтенанта,

с увольнением в отставку.

Теперь, приняв избрание на должность Походного атамана, Болховитинов боялся, что пережитое им {371} помешает установлению искренних и добрых отношений между ним и Деникиным, какие необходимы для пользы общего дела. Болховитинов несколько раз заезжал ко мне, стараясь уверить меня, что всё недоброе старое им забыто, что он сейчас одушевлен одним желанием - всецело отдать себя общему делу. Он убежден, что только в согласии с Добровольческой Армией, под водительством Деникина, можно спасти и Кубань, и всё дело. Он не останется ни минуты у власти, как только увидит, что самостоятельные Кубанские стремления начнут принимать реальную и опасную форму. Он просил меня уверить в этом и Деникина.

Сначала я написал об этом Деникину. А потом, в половине января 1920 г., поехал в Тихорецкую, где тогда жил Деникин, и доложил ему всё слышанное мною от Болховитинова. Поверил ли мне Деникин, - не знаю. Как и в других редких случаях, он выслушал меня, молча, не проронив ни слова. Но отношения между ним и Болховитиновым после этого были внешне приличными.

{372}

Деятельность Временного Высшего Церковного
Управления на ю. в. России

Как уже сказано, В.В.Ц.У. должно было иметь своим местопребыванием Ставку, хотя не исключалась возможность заседаний, если председатель найдет нужным, и в других местах.

Первые заседания В.В.Ц.У. и происходили в Екатеринодаре, с переходом же Ставки в Таганрог - иногда в Таганроге, чаще же в Новочеркасске. Новочеркасск оказался наиболее удобным пунктом для таких заседаний. Тут одни в прекрасном архиепископском доме, другие в женском монастыре - члены В.В.Ц.У. находили не только приют, но и уют, которых не могли предоставить загроможденные Екатеринодар и Таганрог. Опасение же, что Донцы используют для своих целей фактическое перемещение к ним В.В.Ц.У. совершенно отпало, когда члены В.В.Ц.У. присмотрелись к своему председателю, архиеп. Митрофану.

Когда эти строки увидят свет, архиеп. Митрофана, наверно, уже не будет в живых. Поэтому я могу говорить о нем совершенно откровенно, не опасаясь, что меня обвинят в лести.

Архиеп. Митрофан родился 23 декабря 1845 г., в 1919 г. он, значит, доживал 74-й год. Архидеи его возраста часто утрачивали подвижность, энергию, деловитость, понимание жизни, и тогда места, занимаемые ими, становились как бы пустыми. Об архиеп. {373} Митрофане я не раз слышал, когда он служил в Пензе (1907-1915 гг.). Об нем в ту пору отзывались, как о человеке толковом, деятельном, но добавляли: "Если б только он не пил!" Думаю, что это было клеветой на достойного архиерея. Если бы он когда-либо пил, - это, несомненно, отразилось бы на нем.

Наружность архиеп. Митрофана не располагала в его пользу. Высокий, широкоплечий, довольно плотный, но не упитанный. С его широким туловищем не гармонировала маленькая голова, покрытая редкими, короткими волосами, с такой же реденькой бородой. По первому взгляду, он казался угрюмым, неприветливым, недоступным. В Новочеркасске таким, по-видимому, его и считали. И любви особенной там к нему не было.

Архиеп. Митрофан большую половину своей службы провел на Дону. 21 год (с 1884 по 1905 г.) он состоял ректором Донской Духовной семинарии, а с 10 января 1915 г. стал Донским архиепископом. За этот длинный срок он хорошо изучил донцов и не сделался горячим их поклонником.

- Эти донцы - странный народ, - не раз говорил он мне. - Самомнению их нет границ. Они считают себя выше всех. Лесть для них дороже всего. Хвалите их, - всё получите.

Надо признаться, что преклонный возраст председателя первое время очень беспокоил членов В.В.Ц.У. И тем более все мы были удивлены, когда скоро увидели, что ни ясность ума, ни чуткость сердца, ни способность улавливать требования жизни и идти навстречу ее

запросам нисколько не оставили престарелого архиепископа.

Я полтора года заседал в Св. Синоде, полгода в Высшем Церковном Совете при Св. Патриархе (в 1918 г.) и должен сказать, что ни в том, ни в другом высоком учреждении я не получил такого {374} удовлетворения, какое я получил, работая в В.В.Ц.У., возглавлявшемся архиеп. Митрофаном.

Наш председатель сразу же внес в заседания В.В.Ц.У. спокойствие, серьезность и деловитость, а мы все прониклись самым искренним и глубоким к нему уважением. Между членами В.В.Ц.У. сразу установились драгоценные для дела: солидарность, единоклюшие, полное доверие друг к другу, не нарушавшиеся ни разу за всё время его существования, хотя камней преткновения на его рабочем пути было много.

Главное внимание В.В.Ц.У. было обращено на разрешение вопросов общего характера, на устройство и усовершенствование разных сторон церковной жизни. Должен тут отметить, что сильным "толкачом" в работе В.В.Ц.У. был проф. Пав. Влад. Верховский (в январе 1920 г. убитый в Одессе), человек нежной души, искренней веры и большой работоспособности. Он почти на каждом заседании, с жаром юноши, с удивительной чуткостью поднимал то тот, то другой вопрос церковной жизни, нуждавшийся в разрешении или уврачевании; представлял, наперед заготовленные им, проекты указов, реформ, разъяснений и т. п. Большая часть указов В.В.Ц.У. по принципиальным вопросам принадлежит именно его перу.

В свежести взгляда, в способности понять современные церковные нужды и откликнуться на них, более молодые члены В.В.Ц.У. отставали от своего престарелого председателя. Помнится, обсуждался представленный мною проект указа об улучшении учебного и воспитательного дела в наших духовных семинариях. Некоторым членам проект показался слишком либеральным. Между прочим еп. Арсений заметил:

- А что скажет митр. Антоний (Киевский, Храповицкий), если мы опубликуем этот проект?

- Митрополита Антония здесь нет и считаться с {375} ним нет нужды, спокойно ответил архиеп. Митрофан, и проект прошел без дальнейших возражений.

Недостаток средств, невозможность без средств организовать нужные исполнительные органы, наконец, краткость времени существования В.В.Ц.У. не позволили ему развернуться, как хотелось бы, и достичь всех нужных результатов. Но его работа заслуживала большого внимания: в ней проявились два качества: 1) идейность, устранявшая возможность использования тем или иным членом своего положения для достижения личных целей и интересов и 2) принципиальность, в силу которой главное внимание обращалось на общецерковные, современные вопросы и нужды, а прочим делам отводилось второе место, наградным же - последнее. Если бы в таком направлении работал наш б. Св. Синод, - мы, наверное, не переживали бы многого, что переживаем ныне.

Как ни кратко было время существования В.В.Ц.У., ему пришлось заниматься четырьмя архиерейскими делами. А архиереев-то всего было не более 10. Наиболее серьезное между ними было дело Екатеринославского архиеп. Агапита.

С добрым сердцем, очень опытный в делах хозяйственных и гораздо менее сведущий в делах духовных, довольно недалекий, но хитрый, архиеп. Агапит в разгар революции был увлечен волною украинской самостоятельности. Не будучи в состоянии разобраться в быстро сменявшихся событиях, ни хоть отчасти заглянуть в будущее, он при первом же обособлении Украины решил, что последняя крепко стала на ноги, и всецело примкнул к самостоятельным. Так как у него не было никаких данных для роли демагога, ни дара слова, ни острого ума, ни святительского авторитета, то его выступления не дали существенных результатов и лишь остались сильными уликами против его политической благонадежности.

Когда, с захватом Малороссии {376} войсками Деникина, самостоятельности был положен конец, к архиеп. Агапиту предъявили ряд тяжких обвинений. Его обвиняли во многом:

1) что он в Екатеринославе на площади пред молебном взывал: "Москва нас знищила"; 2) звал к отделению Украины от Москвы, а украинской церкви от Патриарха, и сам прекратил поминовение Патриарха; 3) в декабре 1918 г. в полном облачении, окруженный

духовенством, встречал въезжавшего на белом коне в Киев Петлюру, своего ученика по Полтавской духовной семинарии, причем приветствовал его речью и троекратным лобызанием. Митроп. Платон (б. Одесский) уверял, что Агапит (его друг) был уполномочен на это находившимися тогда в Киеве епископами. Но это не могло вполне оправдать Агапита; 4) в конце декабря этого года возглавлял сформированный из нескольких священников и мирян Петлюровский Украинский синод, деятельность которого, кажется, ограничилась лишь тем, что он предписал поминать в украинских церквях на всех богослужениях трицу: "Сымона, Хведора" и еще какую-то, подобную им, личность, т. е. Петлюру, Винниченко и их компаньона.

Скоро эта директория была выгнана из Киева, после чего и Агапит убежал чрез Одессу в Екатеринодар.

Обвинителями Агапита явились: б. секретарь Екатеринославской Духовной консистории, уволенный Агапитом от должности за москвофильство, и Екатеринославская прокуратура. Главнокомандующий потребовал суда.

К несчастью для Агапита, в это время вернулся из Галицийского плена Киевский митроп. Антоний, беспощадно отнесшийся к экспериментам Агапита и так же, как и Главнокомандующий, потребовавший суда над ним.

Дело поступило в В.В.Ц.У. Как ни защищал его товарищ по Академии и друг, архиеп. Димитрий (кн. Абашидзе), силившийся доказать неосновательность {377} всех обвинений, В.В.Ц.У. поручило Кишиневскому архиепископу Анастасию произвести следствие.

Архиеп. Анастасий не покривил душой. Произведенное им самым тщательным образом следствие представило полную картину самостийных походов Екатеринославского архиепископа, пробиравшегося по взбаламученному морю Украинской жизни к Киевской митрополичьей кафедре.

По Положению В.В.Ц.У. не могло судить архиерея, - требовался архиерейский Собор. В октябре (кажется не ошибаюсь) 1919 г. в Новочеркасске такой Собор состоялся. Участвовало, кажется, 12 архиереев.

Интересен заключительный момент этого Собора. Прочитано следствие; резюмированы выводы; прошли прения, при которых только архиеп. Димитрий силился обелить своего приятеля. Началось голосование, как всегда, с младших. - "Ваше мнение?" - обращается председатель, архиеп. Митрофан к младшему архиерею.

- "Лишить кафедры, послать в монастырь", - отвечает тот. - "Лишить кафедры... послать в монастырь... в монастырь..."

Молод сам, а уже других - в монастырь..." - ворчит недовольный архиеп. Димитрий. "Ваше мнение?" - обращается архиеп. Митрофан к следующему. "Послать в монастырь, лишив кафедры", - отвечает и этот. "То же, в монастырь... Строг больно... Смотри, как бы сам не попал туда", продолжает ворчать архиеп. Димитрий. И так как мнения всех архиереев в общем оказались согласными, то он не переставал давать подобные реплики на суждение каждого. Наконец, очередь дошла до него. "Ваше мнение?" обратился к нему председатель. Архиеп. Димитрий встал, перекрестился: "Господи, помоги сказать по совести!" И, помолчав немного, скороговоркой ответил: "Лишить кафедры, сослать в монастырь". Все так и ахнули.

Архиеп. Агапит был сослан в Георгиевский {378} монастырь Таврической епархии, подчиненный архиеп. Димитрию. В действительности эта ссылка была похожа на ссылку кота в погреб, где множество крыс. Георгиевский монастырь - один из богатейших и красивейших монастырей Крыма. Архиеп. Агапит скоро был проведен своим покровителем в настоятели этого монастыря...

Второе архиерейское дело касалось Кубанского епископа Иоанна. Я иногда задумывался: какое место оказалось бы подходящим для еп. Иоанна? И всякий раз являлась у меня одна и та же мысль: место 2-го священника на кладбище. Именно второго кладбищенского священника, а не первого, ибо настоятельские обязанности были бы ему не под силу. Совсем был он непригодным для серьезного дела: недалекий, безгласный. А между тем, он "управлял" в такое трудное время и такой большой и трудной епархией! Впрочем,

управлял не он, а его келейник, малограмотный казак Борис, в 1919 г. возведенный им в сан диакона, а ранее служивший на Кубанском заводе "Кубаноль". Так и говорили: епархией управляет не Иоанн Кубанский, а Борис Кубанольский. Этот Борис командовал епископом даже и до возведения в сан диакона. Сделавшись же диаконом, он пытался командовать и духовенством епархии. Наконец, В.В.Ц.У. обратило внимание на ненормальное положение Кубанских церковных дел, и архиеп. Евлогию было поручено следствие.

Следственное дело дало ряд юмористических картин, изображавших каррикатурную беспомощность Кубанского епископа. Воспроизведу одну из них.

У епископа - прием. Приемная заполнена просителями. Некоторые духовные лица в штатских костюмах. Все ждут. Наконец, выходит из внутренних покоев епископ, кругленький, с неумным лицом и беспокойными движениями. Выслушивает одного, другого просителя, что-то отвечает им. Но вдруг среди просителей {379} начинается волнение, подымается шум... Епископ теряется, не зная, что предпринять. Тогда влетает Борис, хватая епископа под руку и уводит его во внутренние покои, а затем появляется один и быстро наводит порядок. После этого снова выходит еп. Иоанн. Прием продолжается.

При таком управлении жизнь епархии шла сама собой, двигаясь по инерции, как попало. Это, однако, не мешало некоторым архиереям даже восторгаться еп. Иоанном.

- Благочестивый святитель! - говорил мне о нем Гавриил еп. Челябинский. - Почти ничего не ест и не пьет.

- Какая ж польза от этого? С коня, например, который не ест и не пьет, но и не везет, по пословице, снимают шкуру, - сказал я.

- Что вы, что вы! - ужаснулся большой чревоугодник и циник, десятипудовый еп. Гавриил. - Разве можно так говорить о святителе?

- Так это я о коне, а не о святителе, - ответил я.

- Ну, а все ж, а все ж, - волновался Гавриил. Вызвав еп. Иоанна, В.В.Ц.У. предложило ему принять Киевское викариатство, или подать в отставку. Он сразу согласился на викариатство, не заметив, что в это время через щель двери в залу заседания за ним следил его соправитель Борис "Кубанольский". Когда еп. Иоанн вышел из зала, последний задал ему здоровую головоломку, и Иоанн в тот же день отказался от данного согласия. Потом он опять соглашался, еще отказывался и, наконец, согласился принять настоятельство в Кавказском монастыре Кубанской епархии. На этом и кончилось дело. Как и в Ставрополе на Соборе, тут, при разборе его дела в В.В.Ц.У. он молчал и даже на обедах и ужинах у архиеп. Митрофана не проронил ни одного слова. Это был молчальник, без обета.

{380} Третье дело -Новороссийское. Сумбурное, глупое и по существу ничтожное дело. Суть его в следующем.

Настоятель Новороссийского собора, не столько умный, сколько хитрый, чрезвычайно угодливый и честолюбивый, прот. Влад. Львов (чех, раньше носивший немецкую фамилию), бывший не бескорыстным другом В. К. Саблера, угождавший всем архиереям и пользовавшийся их неизменною за это благосклонностью, после нескольких лет благоволения к нему правившего в то время Сухумско-Новороссийскою епархиею, еп. Сергея ("петуха с вырезанными мозгами"), вдруг в 1918 г. впал в немилость.

Крайне сумбурный и бестолковый в жизни, еп. Сергей был щедр в милости, но и неустойчив в каре. Немилость скоро перешла в опалу, во время которой на бедного о. Львова один за другим посыпались удары. Он был лишен благочиния и подчинен младшему. В частных письмах, как и в деловых бумагах, еп. Сергей не упускал случая уязвить и унижить о. Львова, причем делал это слишком плоско, грубо, иногда жестоко. В поздравительном письме, например, по случаю 35-летнего юбилея священнослужения прот. Львова еп. Сергей "молитвенно" желал ему, чтобы в этот знаменательный день Господь вспомнил все пакости, все преступления, какие он совершил в Новороссийске за эти 35 лет, и воздал ему по делам его. Переехавши в 1919 г. из Сухума в Новороссийск, еп. Сергей потребовал, чтобы о. Львов уступил ему свою квартиру, которую тот занимал около 20 лет, и которая находилась в церковном доме, самим же Львовым выстроенном на собранные им средства. О. Львов

предлагал еп. Сергию лучшую городскую квартиру, умолял не настаивать на выселении его с семьей из их квартиры, но еп. Сергей остался непреклонным. Ясно было, что ему не столько хотелось занять квартиру о. Львова, сколько хотелось {381} сделать неприятность ему. Все же, о. Львов отказался очистить квартиру.

В "Сергиево-Львовское" дело втянулся весь город: одни стояли за о. Львова, другие за еп. Сергия. Воен. губернатор Кутепов был на стороне Львова. Депутации то и дело приезжали - то к ген. Драгомирову, то в В.В.Ц.У. Случалось, что одни и те же лица становились то на одну, то на другую сторону. Соборный Новороссийский староста Диатолович (отставной полк. Ген. Штаба) в марте 1919 г., например, приезжал к Драгомирову ходатайствовать за Львова, а в июне 1919 г. он перед В.В.Ц.У. поносил Львова и перевозносил епископа Сергия.

Ни одно дело не отняло у В.В.Ц.У. столько времени, как это несчастное дело.

Были сессии В.В.Ц.У., которые мы в шутку называли "неделями о Сергии и Львове". Выслушивались депутации, прочитывались доклады и доносы, посылались ревизоры. В.В.Ц.У. изучало дело по документам, разбирало его без тяжущихся и в их присутствии и всё же так оно и не решило его.

Сергиево-Львовское дело изобиловало всякого рода эпизодами. Упомяну об одном из них.

На одном из заседаний В.В.Ц.У. еп. Сергей давал объяснения. Он не защищался, но всё время нападал на о. Львова, обвиняя его в лицемерии, непочтительности, коварстве и пр.

- Львов подлежит суду, - между прочим заявил еп. Сергей, - так как он не исполнил евангельской заповеди: если у тебя две рубашки, отдай одну нищему. У меня нет квартиры, а он не хочет отдать мне свою квартиру.

- Владыка! - не выдержал я. - А вы не боялись нарушить Божью заповедь, когда хотели отнять у человека последнюю рубашку: у Львова ведь, человека семейного, нет другой квартиры?

{382} Еп. Сергей жалобно посмотрел на меня, потом опустил голову на стол и заплакал.

Дело разрешилось Небесною властью. В январе или феврале

1920 г. еп. Сергей, устранившись большевиков, покинул Новороссийск. Но и Львов не долго торжествовал. Говорят, что он вскоре после этого скончался.

Четвертое дело - Владикавказское. Еп. Владикавказский, страха ради иудейска, начал вменять советские гражданские разводы за настоящие и разрешать венчание граждански разведенным. Когда большевики были изгнаны из пределов Владикавказской епархии, пострадавшие от таких разводов супруги начали возбуждать процессы. Тогда это дело показалось В.В.Ц.У. криминальным, теперь таких дел в России всюду сколько угодно.

27 или 28 августа 1919 г. в Таганрог прибыл освобожденный из Галицийского плена Киевский митроп. Антоний. Пар. 6-7 составленного Собором Положения говорили:

Пар. 6. "Временное Высшее Церковное Управление на юговостоке России простирает свои полномочия на все области России, по мере освобождения их вооруженными силами юга России". Пар. 7. "В эти области могут войти и епархии Украинской церкви, автономия коих была признана Всероссийским Церковным Собором, при том условии, что, как только военные обстоятельства не будут тому препятствовать, Украинская церковь восстановится в правах, дарованных ей Всероссийским Собором". А вдруг митр. Антоний откажется признать власть В.В.Ц.У. и поведет автономную политику на Украине, - эта мысль беспокоила и ген. Деникина, и членов В.В.Ц.У. Как потом стало известно, митр. Антоний, подъезжая к Ростову, не был чужд мысли игнорировать В.В.Ц.У., как неканоническое учреждение.

В Ростове произошла встреча ген. Деникина с {383} митр. Антонием. О чем они беседовали, - не знаю. На следующий день Деникин сказал мне:

- Я вчера решительно дал понять Антонию, чтобы он не рыпался. После этого он присмирел, а то начал, было, петушиться. Как он ведет себя в отношении В.В.Ц.У.? Но в это

время митр. Антоний уже был смирен, как агнец. Его беседа с Деникиным, затем устроенная ему В.В.Ц.У. в Таганроге торжественная встреча, приглашение его на заседание В.В.Ц.У. и предложение принять звание Почетного Председателя, наконец, ознакомление его с Положением и решениями В.В.Ц.У., в которых он не нашел ничего антиканонического - успокоили скорого на выводы и решения Киевского митрополита.

Вступление митр. Антония в состав В.В.Ц.У. не изменило ни курса, ни характера деятельности последнего. Митрополит вскоре уехал в Киев и фактически до декабря 1919 г. не принимал никакого участия в работе почетно возглавляемого им учреждения. В конце ноября он, при эвакуации Киева, прибыл в Таганрог, а в начале декабря уехал в Екатеринодар, согласившись принять управление Кубанской епархией. На место Иоанна в Екатеринодар В.В.Ц.У. был в свое время назначен еп. Димитрий, викарий Киевской епархии, но он так и не прибыл в Екатеринодар.

Во второй половине 1919 г. начались неудачи нашей армии. По мере того, как армия откатывалась на юг, эти неудачи становились зловещими. Появились беженцы с севера. Среди них оказалось не мало и духовных лиц. Еще наша армия была по ту сторону Белгорода, как в Новочеркасск уже прибыл управляющий Харьковской епархией, Минский архиеп. Георгий (Ярошевский) со своими викариями: Феодором, Митрофаном и Алексеем. Вероятно, они первыми покинули Харьков. Митр. Антоний возмущался этим. Архиеп. Георгий с епископами Алексеем и Митрофаном задержались в {384} Новочеркасске, а Федор уехал в Екатеринодар. Вскоре еп. Феодор и Алексей погибли от тифа, первый в Екатеринодаре, а второй в Новочеркасске. Потом прибыли Курские: еп. Феофан с викарием Аполлинарием, Ставропольский еп. Михаил, Донской викарий Гермоген, Царицинский - Дамиан, наконец, живший в Пятигорском монастыре, митр. Питирим. А так как в это время в наших краях уже пребывали: Киевский митр. Антоний, Волынский архиеп. Евлогий, Челябинский еп. Гавриил и еп. Сергей (Лавров), то на Кубани составилась большой сонм иерархов.

Кубань в это время бурлила и кипела от раздоров с Добровольческой Армией, от внутренних разногласий, от надвигавшейся с севера грозы. Должен сказать, что беженцы-архипастыри не только не вносили успокоения, но некоторые из них своею суетливостью и неосторожными речами содействовали нарастанию паники. Митрополит Антоний резко выделялся среди архиереев своим спокойствием и бесстрашием. К счастью, в январе 1920 г. все архиереи, кроме митр. Антония и еп. Сергия, перекочевали в Новороссийск, а оттуда вскоре за море.

С оставлением нашими войсками Ростова, В.В.Ц.У. лишилось почти всех членов, ибо архиепископ Митрофан, еп. Арсений и проф. Верховский остались на местах, первый в Новочеркасске, второй в Таганроге, третий в Ростове, а проф. прот. Рождественский, тяжело больной, был эвакуирован, граф же Мусин-Пушкин выбыл в Крым. Остались только митр. Антоний и я.

В начале декабря 1919 г. при В.В.Ц.У. был учрежден Беженский комитет для попечения о бежавших с севера священнослужителях, теперь наводнивших Дон и Кубань. В январе 1920 г. в одном Кавказском монастыре (Куб. еп.) их собралось около 120 человек. Положение большинства из них было трагическое. Они бежали, бросив все свои пожитки, и теперь нуждались во всем. На помощь этим несчастным в декабре 1919 г. {385} Деникиным было отпущено 1.800.000 рублей. Деньги были переданы в Церковно-беженский Комитет, а во главе Комитета был поставлен еп. Митрофан, викарий Харьковский. В январе еп. Митрофан покинул Екатеринодар. Председательство в Комитете было поручено мне. Я получил довольно тощее наследство: до 800 тысяч рублей было роздано архиереям; сам председатель получил около 200 тысяч рублей (для того времени большие деньги) на "поездку в Иерусалим" и в пособие; состоявший при нем священник Лисяк получил 32 тысячи руб.; ни один архиерей не был забыт. Следующими счастливыми оказались: члены Епархиальных Советов, преподаватели семинарий и училищ, умудрявшиеся получать из этой благотворительной суммы не только пособие, но и жалование за несколько месяцев

вперед. Вопросы решались единолично, распоряжением председателя или митр. Антония: выдать такому-то столько, такому-то столько.

По распоряжению митр. Антония, например, было выдано митр. Питириму 15.000 руб., а кн. Жевахову 4.000 рублей. Семейным же священникам выдавалось, тогда лишь по 1.000 руб., а одиноким - по 500 руб. Прежняя деятельность кн. Жевахова не заслуживала того, чтобы его поставить в разряд привилегированных духовных лиц. В это же самое время половина нижнего этажа Екатеринодарского духовного училища была набита духовными беженцами: в одной огромной комнате (столовой) помещались священники и диаконы, их жены и дети. Здоровые валялись рядом с тифозными больными, большинство - на полу, полуголодные. Еще ужаснее было в Кавказском монастыре. Там беженцам-священникам было отведено помещение с выбитыми окнами, без отопления. А потом монахи ограничили и выдачу воды. Настоятельствовавший там епископ Иоанн, б. Кубанский, ничего не видел не замечал. Как мне потом сообщали, половина беженцев, нашедших убежище в этом монастыре, {386} сложила там свои головы от тифа, явившегося естественным результатом тех ужасных условий, в которых жили несчастные беженцы.

Если еп. Митрофану не прибавило славы председательствование в Беженском Комитете, то митр. Антоний оказался тут тем, чем он всегда и везде был.

Митрополит Антоний был человеком чрезвычайно добрым, не мог отказать просящему, готов был отдать последнюю рубашку. Получая всегда очень много, он никогда ничего не имел. Но его благотворительность всегда была бессистемной, сумбурной; больше всего получали от него тунеядцы, плуты и проходимцы. Каков был митр. Антоний в расходовании личных средств, таков он был и в распоряжении казенными суммами.

Вступив в должность председателя Комитета, я ввел решение всех дел Комитетом, какого доселе в действительности не было, ибо Комитет состоял лишь из председателя, секретаря и казначея, - председатель давал приказания, а секретарь и казначей исполняли их. Теперь Комитет был составлен из нескольких членов, причем каждое прошение рассматривалось в Комитете. Митр. Антоний продолжал передавать Комитету ультимативные требования о выдаче определенным лицам определенных пособий. Но Комитет исполнял такие требования только после проверки действительных нужд тех лиц, для которых митр. Антоний требовал пособий, и нередко отклонял требования митр. Антония. Должен сказать, к чести митр. Антония, что он ни разу не выразил мне своей обиды за неисполнение его резолюций. Он сам, вероятно, понимал, что, как не входящий в состав Комитета, он не может решать за него дел, и что его резолюции, продиктованные навыком никому не отказывать, не всегда бывают исполнимы.

Сам митр. Антоний был стеснен материально. Ему всего выдавали что-то около 8.000 руб. в месяц, и на {387} его личное содержание, и на содержание архиерейского дома. Сумма, по тому времени, ничтожная. Между тем, в начале января к нему явились гости - две "знаменитости": митрополит Питирим и кн. Жевахов, б. товарищ обер-прокурора Св. Синода, Раева. Митр. Антоний откровенно заявил гостям:

- Мое помещение, братие, к вашим услугам, но питать вас не могу, ибо средств не имею. Хотите на компанейских началах?

Гости согласились. Так они прожили две с небольшим недели. Митр. Питирим скоро слег, серьезно заболел. Жевахов же пил и ел по-здоровому и бесцеремонно пользовался услугами келейника митр. Антония. А затем Жевахов исчез, не уплатив митрополиту ни копейки за стол. Одновременно с этим у митр. Питирима исчезли 18.000 романовских денег и двое или трое золотых часов. Когда я на другой день после исчезновения Жевахова, зашел к митр. Антонию, он встретил меня следующими словами:

- Вот сукин сын Жевахов! Уехал, не заплативши моему Федьке (келейнику) за то, что тот ему прислуживал, сапоги чистил; даже не заплатил за ваксу, которую Федька для него на свои деньги покупал. А Питирима Жевахов обокрал: украл у него золотые часы и 18.000 рублей николаевских денег, которые были защиты в теплой питиримовской рясе. Распорол рясу и вынул оттуда деньги.

Вскоре митр. Питирим умер. Хоронили его пред самой эвакуацией. Похоронили в Екатерининском соборе, в стене у левого клироса. Митр. Антоний уверял, что Питирим пред смертью совершенно раскаялся, но трудно поверить этому. Митр. Питирим всю свою жизнь паясничал и лицемерил. За полгода до смерти он писал мне: "никогда не забудет моих добрых отношений к нему, во время совместного служения в Синоде", а в конце письма подписался: "Ваш неизменный {388} почитатель и богомолец митр. Питирим". Между тем, отношения наши в течение всего времени пребывания его на Петроградской митрополичьей кафедре были из ряда вон дурными.

Достаточно сказать, что за полтора года совместного служения я ни разу не посетил его, что он учитывал и обещал "свернуть мне шею". Главное же, думается мне, нелегко было этому человеку своим предсмертным раскаянием, когда тело уже обессилело, а все страсти сами собой отпали, загладить свой величайший грех пред Россией. Друг Распутина по корысти и расчету, ставленник его, митр. Питирим - один из главных лиц, которые сгущали тьму, зловеще окутывавшую в 1915-1917 гг. восседавших на царском троне.

Торгуя своим саном, играя и тешась, он, казалось, благополучно взбирался всё выше и выше по лестнице почета и положения и снискал такую милость и благоволение царской семьи, какими не пользовался ни один из самых блестящих его предшественников по Петроградской кафедре. По своему легкомыслию, он не предполагал, что игра с огнем может кончиться взрывом порохового погреба, который до основ потрясет всю Россию. Несомненно, что митрополит Питирим ничего, кроме самого себя, не видел. Не видел он ни того, что происходило, ни еще более - того, что могло произойти. Он упоен был своим положением и мечтал, как бы вознестись еще выше. Склад его души был таков, что неограниченное честолюбие соединялось у него с полным безразличием к средствам для достижения цели, а хитрость пропорционально соответствовала легкомыслию.

Будущий историк скажет, что митр. Питирим, сам, не сознавая того, сильно помог ускорению революции. Церковный же историк добавит, что митр. Питирим был естественным плодом господствовавшего пред революцией в нашей Церкви направления, когда для достижения почестей высшего церковного звания требовались прежде всего {389} честолюбие и неразборчивость в средствах, а потом уже благочестие, образование, ум и знания. Но этого "потом", как показывают примеры Питиримов, Варнав и многих других, могло и не требоваться, и без этого можно было обойтись.

Другим учреждением, возникшим при В. В. Ц. У. также в 1919 г., был Церковно-общественный Комитет, возглавленный архиеп. Евлогием. Как показывает самое название Комитета, ему предстояла разработка назревших вопросов церковно-общественной жизни и осуществление их. В данное время умы всех были заняты двумя вопросами: а) придут ли большевики; б) как остановить всё растущее, под влиянием наших неудач на фронте, разложение тыла. Все другие вопросы меркли перед этими злободневными вопросами жизни и смерти.

В первой половине января архиеп. Евлогием было созвано совещание из более видных священнослужителей, находившихся тогда в Екатеринодаре. Был приглашен и я. Архиеп. Евлогий поставил вопрос: как нам содействовать успокоению всё более волнующегося Кубанского казачества? На него ведь теперь возлагали последние надежды. Решили: разослать проповедников по разным станицам. И в первую очередь послать в сборные мобилизационные пункты для проповеди мобилизованным. Наметили способных проповедников. Но на другой день почти все избранные отказались, сославшись то на нездоровье, то на семейные обстоятельства. В действительности же они учли все неблагоприятные обстоятельства, с которыми соединялось проповедническое странствование по станицам: передвижение по железным дорогам тогда было опасно, ибо вагоны кишели вшами - распространителями сыпного тифа; казачество было возбуждено против Добровольческой Армии, деморализовано грабежами на фронте, прониклось революционной психологией и враждебно {390} относилось ко всякому, кто пытался склонить его на другую сторону. Само собою понятно, что призыв проповедника к защите

фронта и к самопожертвованию мог сопровождаться не радостными для него возможностями. Бывают моменты, когда высокие призывы не только бесполезны, но и опасны. Скоро и сам архиепископ Евлогий оставил Екатеринодар, направившись поближе к исходу.

Между тем, настроение умов становилось всё более грозным. На Кубани начались восстания против Добровольческой Армии. В станице Елисаветинской (в 15 верстах от Екатеринодара) бунтовал член Рады Пелюк. В станице Динской готовил восстание есаул Рябовол, брат убитого. В Екатеринодаре чины Штаба Добровольческой Армии организовали собственную охрану, на случай нападения казаков, которая несла ночные дежурства. Кубанское правительство не порывало связи с Деникиным, но действовало неуверенно, вяло, либо не надеясь на свою силу или учитывая сильное возбуждение казачьего населения против Добровольческой Армии. Трения между ген. Деникиным и казаками продолжались всё время, но особенно они обострились после повешения ген. Покровским в Екатеринодаре (кажется, в ноябре 1919 г.), Калабухова, члена Кубанского правительства по внутренним делам. Кстати: Калабухов священник, не только не снявший сана, но и не запрещенный в священнослужении. Многие из пришлых и не подозревали этого, ибо Калабухов всегда ходил в черкеске, с кинжалом. Когда Калабухова повесили (это было ночью, около трех часов утра), Кубанский епархиальный Совет спохватился и, экстренно собравшись в тот же день, чуть ли не в шесть часов утра, вынес постановление: запретить Калабухова в священнослужении (уже повешенного).

В половине января ко мне зашел учитель Батумского реального училища, уроженец Кубани, Некрасов, {391} еще молодой человек (около 30 лет), идейно настроенный. Он представил мне страшную картину всё растущего разложения казачества, которому (разложению) никто не оказывает сильного противодействия: казачья власть пассивна; Деникинский Осваг (отдел пропаганды) не обращает никакого внимания на деревню: агенты его туда не заглядывают, литература его туда не проникает; станичная интеллигенция испугалась и, притаившись, молчит. Бунтовщики же действуют, - готовится буря.

Прежде чем идти ко мне, Некрасов был у Екатеринодарского окружного атамана, сговорился с ним и теперь от его имени просил меня немедленно начать объезд наиболее беспокойно настроенных станиц Ека-теринодарского отдела. Атаман обещал предоставить мне перевозочные средства, а Некрасов сопровождать меня. Я должен был совершать в станицах богослужения и проповедывать. Некрасов брал на себя особую миссию, о которой я скажу особо. Я, конечно, согласился отправиться в опасное путешествие и об этом прежде всего доложил митр. Антонию. Последний одобрил мое решение и даже добавил: "Если надо, и я готов поехать по станицам". Меня это очень тронуло. Теперь скажу несколько слов о миссии Некрасова.

Ген. Деникин был искренно проникнут желанием не только освободить страну, но и дать ей затем возможность начать новую, лучшую жизнь, свободную и разумную, открывающую простор для всех сил народных и обеспечивающую помощь и содействие власти всем честным гражданам, без различия сословий и состояний.

Пока, однако, население занятой территории особой попечительности власти и помощи с ее стороны не видело. Жертвы же от населения, особенно казачьего, требовались всё новые и большие. Казаки не только {392} непрерывно слали на фронт своих бойцов, но и снабжали этих бойцов полным обмундированием, даже лошадьми, - почти всё казачье мужское население было на фронте, только женщины, старики и малолетки оставались в станицах. Для казачьих хозяйств это было убийственно. В 1919 г. и на Кубани, и на Дону в станицах чрезвычайно остро чувствовался недостаток рабочей силы, и в людях, и в лошадях.

Вместе с этим, ощутился большой недостаток и в земледельческих орудиях. Надо сказать, что вообще юг, а в особенности казачьи земли в отношении пользования сельскохозяйственными машинами далеко опередили север России. На Кубани, например, почти в каждом хозяйстве были свои молотилки, веялки, сенокосилки, жатвенные машины и пр. Но теперь старые изнашивались, исправить их было некому; новых не привозили.

Вследствие всего этого, уже в 1919 г., на Кубани очень уменьшилась площадь посева. Помощь населению была очень нужна. Некрасов понял это и в начале 1919 г. отправился в Америку с целью склонить американские фирмы прийти в этом отношении на помощь казакам. Скоро туда же прибыл Одесский митр. Платон, который оценил идею Некрасова и вместе с ним повел дело.

По словам Некрасова, хлопоты их увенчались успехом. Несколько фирм обещали доставить для юга России сколько угодно не только земледельческих машин, но и всякого другого товару: паровозов, вагонов и пр. под долгосрочный кредит. Фирмы ставили одно лишь условие: так как твердой власти на юге России сейчас нет, то посредником между ними и населением должна стать Церковь, в лице своих церковно-приходских советов. Некрасов вернулся в Екатеринодар, упоенный успехом и обнадеженный митр. Платоном, что, объехав Кубанские станицы, они не только склонят казаков принять американское предложение, но и поднимут в {393} станицах патриотическое настроение. Станицы, мол, увидят, что власть не только от них требует, но и заботится о них. С этим планом был ознакомлен Екатеринодарский атаман. Ему план очень понравился.

Но митр. Платон, вернувшись из Америки, метеором промчался через Таганрог и Екатеринодар, даже не повидавшись в Екатеринодаре с Некрасовым. Ясно было, что он не собирается проводить этот план. Вот тогда и явился ко мне Некрасов.

Замысел заинтересовал меня, и я решил ознакомить с ним ген. Деникина. Деникин выслушал меня молча, и на мою просьбу принять меры, чтобы правительство воспользовалось этим, выгодным для него, предложением, не сказал мне ни слова. Может быть, тогда он уже видел, что дело идет к концу и что его правительству не только не осуществить, но и не начать осуществление этого плана. Но я в тот момент был удивлен таким поведением Главнокомандующего и в душе очень посетовал, что он безучастно отнесся к моему докладу.

После Деникина я посетил Донского атамана, ген. А. П. Богаевского: авось он поймет меня. Ген. Богаевский отнесся к моему сообщению с большим вниманием, пообещал воспользоваться предложением для Дона, как только последний будет освобожден, теперь же советовал мне обратиться к Мельникову, которому он передает должность председателя правительства. К Мельникову я не пошел. А вместо этого отправился с Некрасовым по станицам, начав с Елизаветинской, где бунтовал Пелюк.

В первое свое путешествие мы проехали через 8 станиц с востока на юг, от ст. Елизаветинской до Динской. В каждой станице я проповедывал и совершал богослужения. Туго пришлось в Елизаветинской станице, где казаки были страшно возбуждены против {394} Добровольческой Армии. Когда я упомянул о последней, в церкви поднялся дикий шум. Опасным было наше положение и в ст. Динской, где наш приезд совпал с моментом, когда Рябовол готовил восстание.

Во второе путешествие, в начале февраля, мы проехали семь станиц - от Пашковской до следующей за Рязанскою. В общем везде наблюдалась одна и та же картина.

Почва для пропаганды против войны везде благоприятная. Казаки устали от войны; в станицах терпят много лишений от недостатка мужчин и рабочего скота; все взволновано слухами о постоянных несогласиях между Главным Командованием и Казачьей властью; взвинчены расправой с Калабуховым. Вернувшиеся с фронта, - ими кишели станицы, - развращены грабежами и, обогатившись, не желают больше рисковать жизнью.

Во всех Кубанских станицах интеллигенции не мало: семейства офицерские и множество учителей, - встречались станицы, где имелось более 30 учителей. Но интеллигенция присмирела, замкнулась, обособилась, молчит. Сочувствующие борьбе боятся слово сказать, а бунтовщики разглагольствуют всюду. Никакой здоровой пропаганды в станицах не ведется ни Освагом, ни Кубанскою властью. Даже газеты туда не попадают.

Для бунтовщиков, словом, полный простор, никакого противодействия.

Вообще, в эти поездки меня поразила полная неосведомленность станиц в отношении происходящих событий, столь выгодная для распространения всевозможных слухов. Укажу

пример. Епископ Иоанн был уволен, а на его место был назначен и прибыл в Екатеринодар митр. Антоний, помнится, в начале декабря

1919 г. Я ездил в конце января и в начале февраля

1920 г. А между тем, в некоторых станицах, всего в 25-30 верстах от Екатеринодара, еще ничего не {395} слышали о происшедшей перемене в управлении епархией и продолжали поминать в богослужении еп. Иоанна.

Моя проповедь в некоторых местах имела значительный успех. В станице, следующей за Рязанскою (к сожалению, забыл ее название), казаки на другой день после проповеди выслали на фронт более 300 человек. А пред тем они не хотели посылать никого. В некоторых станицах меня упрашивали еще побыть у них, чтобы "бросить в их души еще добрые семена".

Некрасов в каждой станице беседовал по своему делу. Казаки откликались с восторгом, обещая скоро уплатить за машины или золотом или сырьем.

В эту поездку я узнал Кубань. Думаю, что это богатейший уголок не только в России, но, может быть, и во всем мире. Чего только нет на Кубани: лучший в мире чернозем, обилие леса, птицы, рыбы, масса всяких минералов, нефть, виноград и пр., и пр., всё, что только нужно человеку! Американцы в 1919 г. открыли там марганцевое озеро, к которому еще никто не прикасался и которому цены нет.

Но в духовном отношении край не богат. Кубань могла бы дать возможность хоть всем своим насельникам получать высшее образование и таким образом открыть простор для всех своих талантов. Кубанцы в отношении образования могли бы стоять в России на первом месте. Я не буду говорить о том, как стояло образование на Кубани. Но в прошлом Кубань не дала знаменитостей ни в одной области: ни в государственном деле, ни в науке, ни в искусстве. Богатство, приволье, "ни в чем отказу" - сделали то, что "чрево" в жизни Кубанцев заняло первое место, ослабив интересы духа.

Эта особенность отразилась прежде всего на Кубанском духовенстве: сытое сверх меры, обеспеченное {396} всякими благами, оно, за немногими исключениями, не шло дальше требоисправлений и совершения очередных богослужений. Проповедь, духовное и вообще культурное воздействие на паству, - это как будто не входило в круг обязанностей станичных священников, оправдывавшихся большим количеством чисто приходской работы, т. е. треб. В известном отношении они были правы, ибо они бывали завалены требоми, так как в некоторых приходах на одного священника приходилось до 15 тысяч душ обоего пола. Но у самого перегруженного приходской работой священника все же могло найтись время и для чисто духовной, культурной работы на благо его паствы. Но уже к полному моему огорчению, в эту поездку мне пришлось встретить таких священников, которые поразили меня своей невообразимой одичалостью, как бы вычеркнувшей их из числа духовных пастырей.

Была ли какая-либо польза от моей поездки? Теперь могу сказать с уверенностью, что не было никакой. Настроением посещенных мною станиц, если бы и удалось мне поднять его до высшей степени, нельзя было поправить проигранного на фронте дела. Поэтому моя поездка была, быть может, самоотверженным, во всяком случае, соединенным с большим трудом, переживаниями и риском для жизни, но бесплодным исполнением долга.

Интересно, как отнеслись к моей поездке наши власти.

Митроп. Антоний сам был готов поехать со мной. Ген. Деникин, как уже упомянуто, отнесся совсем безразлично, ни осудив, ни одоблив моей поездки, что объяснялось, вероятно, тем, что в это время он уже потерял всякую надежду на какую-либо возможность поправить дело. Кубанские же власти... Они, узнав о моей поездке, учредили за мной самую строгую слежку, а {397} Екатеринодарского атамана, содействовавшего моей поездке, уволили от должности. Об установлении председателем Кубанского правительства, г. Иванисом, за мною слежки меня секретно предупредил один присяжный поверенный, член Кубанской Рады, посоветовавший мне быть крайне осторожным. Упоминаю об этом для характеристики взаимоотношений между властями, которые должны были делать одно дело.

Закат Добровольческой Армии

В конце февраля Штаб ген. Деникина переехал в Новороссийск. Город был переполнен офицерами, оставившими свои части. По сведениям Штаба, в начале марта (1920 г.), в Новороссийске болталось без дела до 18.000 офицеров. Они бродили по улицам, шатались по притонам, нервничали, суесловили и, конечно, всех и всё критиковали. Эта, отбившаяся от дела, масса начинала внушать опасения.

В Новороссийске образовался Союз офицеров тыла и фронта. К счастью, во главе его оказались разумные, серьезные и уравновешенные люди. Но их во всякую минуту могли сменить люди с "темпераментом". Начались митинги. 5-го марта ко мне явился бывший комендант Новороссийска полк. Темников и от имени Союза пригласил меня на имеющий быть в этот день в помещении Банка офицерский митинг, названный им "собранием". Я согласился и предложил полковнику пригласить и митр. Антония, который тут же присутствовал. Митрополит тоже согласился.

Митинг начался в 5 час. вечера. Неотложные дела задержали митр. Антония и меня, - мы пришли в 6 ч., что лишило нас возможности услышать самые бурные речи. Потом мы узнали, что до нашего прихода собрание проходило чрезвычайно бурно: страсти бушевали, в выражениях не стеснялись, чтобы обвинить и очернить Главное Командование. В особенности поносили {399} начальника Штаба ген. Романовского. Один молодой офицер, подбежав к председательскому столу, бросил на него свой кошелек, крикнув: "Тут все мои деньги! Отдайте их (тут он прибавил дурное слово) Романовскому! Пусть только поскорее уберется из армии!" Очень резко, задорно, жестоко говорил полковник Ген. Штаба Манакин, только что назначенный ген. Деникиным на должность командира полка.

С нашим приходом страсти немного приутихли, и речи стали довольно спокойными. Слово было предоставлено митр. Антонию и мне. Митр. Антоний не угадал момента, запел не в тон, невпопад: завел речь о благочестии, говорил о нарушении офицерами седьмой заповеди и т. п. Меня всегда удивляла какая-то поразительная, феноменальная нечуткость в подобных случаях этого безусловно способного, много знающего, талантливого человека. Не сумел он уловить момент, найти центр, ударить по струнам сердца, захватить внимание слушателей. Пожалуй, в этот раз он говорил, как никогда, неудачно. Говорил так, как будто пред ним стояла толпа деревенских баб, охочих до всякой болтовни, а не очутившаяся пред порогом жизни и смерти взвинченная, озлобленная, ждущая огненного слова, масса. Офицеры слушали его небрежно; некоторые, повернувшись к нему спиной, закурили папиросы... После митр. Антония я сказал несколько слов.

Митинг закончился решением, что окончательное постановление вынесет выбранная группа, заседание которой было назначено на следующий день. Митр. Антоний и я были приглашены на это заседание.

6 марта состоялось заседание группы. Мы с митр. Антонием пришли к началу заседания.

Председательствовал председатель Союза, полковник Арндт (кажется, верно называю фамилию). Присутствовало около 20 человек, - всё серьезные люди, 16 в полковничьих чинах, два генерала (Лазарев, а {400} фамилию другого не помню) и два обер-офицера. Обстановка помещения была кошмарная. Крохотная комнатка, в крохотной лачужке, более походившей на собачью будку во дворе. Стены завешаны солдатскими палатками. Вместо стульев, какие-то грязные ящики... Но рассуждения шли спокойно и деловито. Некоторое возбуждение внес явившийся полк. Манакин, сообщивший, что его только что вызывал к себе ген. Романовский и объявил ему, что он будет предан военно-полевому суду, если опять позволит себе произнести подобную вчерашней речь. Сообщив об этом, Манакин покинул заседание.

Из бывших на этом заседании рассуждений нам стало ясно, что офицерская масса в большом волнении, что она хочет добиться от Главного Командования быстрого проведения каких-то мероприятий, что в противном случае она готова на крайние эксцессы. Была высказана мысль о необходимости отправить к Деникину депутацию с определенными

требованиями. Митр. Антоний подхватил мысль о депутатии и предложил собранию просить меня взять на себя миссию ознакомить Деникина с желаниями офицерства и просить его принять офицерскую депутацию. Собрание согласилось.

Не отказываясь от миссии, я, однако, поставил условие, чтобы собрание уполномочило кого-либо предварительно обстоятельно ознакомить меня: 1) от имени какого офицерства я буду говорить с Деникиным; 2) какие требования предъявляет офицерство; 3) в каком составе будет депутация.

Собрание сейчас же избрало депутацию из трех лиц: полк. Арндта, ген. Лазарева и полк. Генерального Штаба Темникова и этим же лицам поручило во всем ориентировать меня.

В этот же день, поздно вечером, явились ко мне полк. Арндт и Темников. Когда я спросил их: от имени какого Союза они будут говорить со мною, они {401} объяснили мне, что их Союз обнимает не только всё, находящееся в г. Новороссийске офицерство, но и офицерство многих фронтовых частей.

Дальше они сообщили мне, что настроение офицерства становится всё более угрожающим. В последний момент страшной угрозой является появившееся в литографированном виде письмо ген. Врангеля к ген. Деникину.

- Если это письмо станет известно толпе, - не обойтись без взрыва. Мы принимаем все меры, чтобы скрыть его, как употребляем всевозможные усилия, чтобы хоть немного успокоить бушующие страсти, - сказал мне Арндт.

На мой вопрос: против кого именно особенно вооружено офицерство, - мне ответили, что главным образом ненависть кипит против ген. Романовского, которого считают злым гением Деникина и обвиняют во всевозможных гадостях, не исключая хищений; что не пользуются доверием и другие помощники Деникина - ген. Драгомиров и Лукомский. Офицерство, кроме того, возмущено нераспорядительностью власти, не принимающей мер к укреплению Новороссийска. Офицерство опасается, что при эвакуации оно будет так же брошено, как бросили офицеров в Одессе.

- Если не принять самых быстрых мер, - говорили мне мои собеседники, то мы не ручаемся, что не произойдет невероятного скандала. Нам уже стоило большого труда, чтобы остановить готовившуюся вооруженную вспышку среди офицеров, хотевших перебить генералов Романовского, Драгомирова, Лукомского, а Деникину затем предъявить ультимативные требования.

Затем, я задал им два вопроса: 1) Чего хотят добиться офицеры?

2) Дают ли они мне честное слово, что депутация, если примет ее ген. Деникин, ни в чем не выйдет из рамок вежливости и должного {402} подчинения? Мои собеседники ответили мне: 1) Желания офицеров сводятся, главным образом, к следующему: а) к устранению ген. Романовского и некоторых других; б) к предоставлению офицерству права чрез своих представителей наблюдать за укреплением г. Новороссийска и за ходом эвакуации; в) к предоставлению ему же права организовать свои отряды для защиты города. 2) На второй вопрос они ответили утвердительно.

На следующий день, в 11 ч. утра я отправился к Деникину, чтобы исполнить возложенную на меня миссию. Когда я подходил к поезду Главного командующего, стоявшему у морской пристани, Деникин, окруженный множеством англичан и чинов своего Штаба, возвращался в свой вагон. Я обратился к нему с просьбой сегодня же принять меня по спешному делу.

- Не могу принять сегодня, - буркнул он и вошел в свой вагон.

- А вы, Иван Павлович, можете уделить мне несколько минут? - обратился я к Романовскому.

- Пожалуйста, пойдемте в мой вагон! - ласково ответил он. Я и он за мной вошли в вагон начальника Штаба.

Ген. Романовского я хорошо знал по Академии Генерального Штаба, когда (1900-1903 г.) он учился в Академии, а я был академическим священником. В 1904 г., во время

Русско-японской войны, я служил с ним в 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. В Великую войну я встречался с ним на фронте, когда он командовал полком, а в 1917 г. он был моим сослуживцем в Ставке, где он занимал должность генерал-квартирмейстера. Всегда между нами были отличные, сердечные отношения. Я всегда считал его честным, умным, усердным, самоотверженным офицером, сердечным человеком.

Я никогда не допускал мысли, чтобы {403} Романовский мог пойти на какую-либо гадкую, не достойную офицера сделку с своей совестью.

За время совместной с ним службы в Добровольческой Армии я не разочаровался в нем. Напротив, тут, при своих ходатайствах за униженных и оскорбленных, Я убедился, что этот человек, для многих казавшийся сухим и черствым, обладал на деле весьма чутким и отзывчивым сердцем.

Но Добровольческая Армия ненавидела Романовского. На Романовского валили всё, в чем была повинна и неповинна власть. Романовского, можно сказать, обвиняли во всем, в чем только можно обвинить человека: даже и в измене, и в хищениях, и во франкмасонстве!

Я не стану утверждать, что Романовский, как начальник Штаба, как ближайший советник Главнокомандующего, никогда не делал ошибок. И в ту пору, когда наша государственная машина была в порядке, когда пути жизни были ясны и определены, - и в ту пору даже лучшие наши государственные деятели не были свободны от грехов и ошибок. Теперь же, когда наша государственная машина была сломана, настоящее и будущее наши были темны, когда старые пути оказались негодными, а новые еще не были найдены, ошибки и промахи были неизбежны для всякого. Романовский же, кроме того, принимал на себя и чужие ошибки. Когда-нибудь раскроется, как он, защищая Главнокомандующего от ударов, самоотверженно подставлял под эти удары свою голову. Я сознавал неосновательность, несправедливость нападков на Романовского и жестокость обвинений, предъявленных ему на собрании 5 марта. Не легко мне было сообщить ему об отношении к нему офицерства, но сообщить было необходимо для его же пользы.

Когда мы вошли в вагон, я попросил закрыть двери, чтоб кто-нибудь не подслушал нас. Иван Павлович {404} закрыл двери. Мы уселись около его письменного стола. Крепя сердце, я начал говорить ему о развившейся в Добровольческой Армии ненависти к нему, ненависти слепой, не знающей границ, способной на что угодно. Ни остановить ее сейчас, ни ослабить нет человеческих сил и способов. Ее могут рассеять лишь постепенно здравый смысл и время.

- В чем же обвиняют меня в армии? - скорбно спросил Романовский.

- Во всем, дорогой Иван Павлович, решительно во всём, в чем только можно обвинить человека! Злоба слепа и бессердечна, - ответил я.

- В чем же, например? - опять спросил он.

- 5-го марта на офицерском собрании между прочим утверждали, что вы из Новороссийска отправили целый пароход табаку. Я знаю, что это - ложь, но сообщаю, чтоб вы знали, что злоба против вас и клевета перешли всякие границы... И еще многое, - сказал я.

Романовский, всё время не спускавший с меня глаз, при этих словах повернул голову в сторону и, облокотившись, закрыл лицо рукой. Видно было, что он страдал.

Я замолк на минуту... А потом продолжал;

- Верьте мне, как искренно расположенному к вам человеку, что сейчас у вас нет средств бороться с этой клеветой. Что бы вы ни сказали, какие бы доводы вы ни представили, вам не поверят, всех вы не убедите, клевета не смолкнет. Пока вы можете реагировать только одним способом: уйти от службы, в отставку. И вы для пользы дела, ради своей семьи, обязаны это сделать.

Тут я подробно обрисовал настроение бродившей по Новороссийску офицерской массы, сказал о {405} готовившемся нападении на него и на других генералов, о возможности вооруженного восстания и т. д.

- Уйдите, Иван Павлович, уйдите, как можно скорее! - закончил я.

Когда я кончил, Романовский уже спокойно ответил мне, что он давно хочет уйти, зная

о ненависти к нему армии, что он уже несколько раз просил Главнокомандующего об отставке, но всякий раз получал отказ, что он и сейчас готов уйти с места, хоть и смущает его то, что, как солдат, он не должен бежать с поста в самую трудную минуту.

- Но, - закончил он, - я знаю, что Главнокомандующий и теперь откажет мне. Опять скажет уже не раз слышанное мною от него: что я у него единственный человек, которому он во всем верит; что у него от меня нет никаких тайн. Попробуйте вы повлиять на него! Авось, он вас послушает.

- Я только что просил Главнокомандующего принять меня сегодня, - он отказал мне, - сказал я Романовскому. - Время не терпит. Убедите вы его, чтобы он принял и выслушал меня!

Романовский обещал сделать это и мы расстались. Прибывшим ко мне вскоре, чтоб узнать о результате моих переговоров с Деникиным, полковникам Арндту и Темникову я сказал, что Главнокомандующий очень занят, и аудиенция моя отложена на завтра. Весь день я не уходил из дому, поджидая приглашения к Главнокомандующему. Не получивши, я на следующий день, в субботу, в девятом часу утра направился к поезду Деникина. Вызвав из поезда адъютанта Деникина, полк. Шапрона, я попросил его доложить Главнокомандующему, что я настойчиво прошу принять меня по чрезвычайно серьезному и спешному делу. Минуты через две Шапрон сообщил мне, что Главнокомандующий примет меня, как только уедет от него его {406} жена, через полчаса. Пришлось ожидать. Наконец, г-жа Деникина уехала. Меня пригласили в вагон. Но мне пришлось просидеть там около часу, так как на докладе у Главнокомандующего был ген. Романовский. Выйдя, по окончании своего доклада, из кабинета Деникина, Романовский пригласил меня:

- Пожалуйста! Главнокомандующий ждет вас.

Я вошел в кабинет Деникина.

Деникин, как всегда, серьезный и мрачный, сидел за столом на диване. Молча, протянув мне руку, он пригласил меня сесть у стола. Я начал свой печальный доклад с предупреждением, что всё, что я буду докладывать, уже сказано мною ген. Романовскому. Затем я подробно доложил ему о настроениях в офицерской массе, о ненависти к Ивану Павловичу, о собиравшихся бурных митингах, о готовившемся нападении на ген. Романовского и на других генералов и пр., и пр. Не утаил ничего. Когда я сказал, что на собрании офицеров в Банке присутствовал митр. Антоний и я, Деникин сердито заметил:

- А митрополиту Антонию-то что надо было на этом митинге?

- Мы с митрополитом Антонием были приглашены возглавляющими офицерский Союз, благонамеренными полковниками и пошли на собрание не затем, чтобы митинговать, а затем, чтобы своим присутствием и словом сколько-нибудь утишить пыл возбужденного собрания и предупредить крайние решения, ответил я.

Осветивши положение дела, я просил Деникина освободить ген. Романовского от должности.

- Вы думаете, что это так просто сделать? - с дрожью в голосе сказал Деникин. - Сменить... Легко сказать!.. Мы с ним как два вола, впряглись в один {407} воз... Вы хотите, чтоб я теперь один тащил его... Нет! Не могу!.. Иван Павлович единственный у меня человек, которому я безгранично верю, от которого у меня нет секретов. Не могу отпустить его...

- Вы не хотите отпустить его. Чего же вы хотите дожидаться? Чтоб Ивана Павловича убили в вашем поезде, а вам затем ультимативно продиктовали требования? Каково будет тогда ваше положение? Наконец, пожалейте семью Ивана Павловича! - решительно сказал я.

Деникин после этого нервно вытянулся, закинув руки за голову, закрыв глаза, и почти простонал:

- Ох, тяжело! Силы духовные оставляют меня...

Офицерскую депутацию Деникин решительно отказался принять. Когда я стал убеждать его, что в депутацию избраны люди почтенные, серьезные, благонамеренные, что стоящие во главе офицерской организации исполнены самого искреннего желания помочь ему, - он категорически заявил:

- Не просите! Всё равно не приму. Вы чего хотите: чтобы я совдепы начал у себя разводить? Покорно благодарю!

- А мне-то можно посещать офицерские собрания? - спросил я. - Из вашего замечания по адресу митрополита Антония я заключаю, что вы и моего присутствия на офицерских собраниях не одобряете. Я должен предупредить вас, что бывать там мне и неприятно и тяжело. Я считал доселе, что мое присутствие, мое слово может остановить кого-либо. Если вы думаете иначе, я больше не пойду туда.

- Нет, можете посещать! - коротко ответил Деникин. На этом наш разговор и кончился.

Полк. Арндту и Темникову я сообщил, что Главнокомандующий, по особым причинам, не может принять {408} депутацию. А на другой день вышел приказ Главнокомандующего, запрещающий сборища офицеров и грозивший самыми строгими мерами наказания всем нарушителям военной дисциплины.

Кажется, 12 марта мы покинули Новороссийск, перебравшись в Феодосию. По приезде туда ген. Романовский был освобожден от должности начальника Штаба. Одновременно с этим пошли слухи, что и Деникин оставляет Армию. Никто, однако, не хотел верить этому. В Феодосии я поселился на подворье Тепловского женского монастыря.

22 марта, в Вербное воскресенье, я в соборном монастырском храме совершал литургию. Было много причастников. Служба затянулась. Несмотря на это, И. П. Романовский дождался не только окончания литургии, но и моего выхода из церкви.

- Я пришел проститься с вами. Уезжаю. Благословите на дорогу! обратился он ко мне.

Я благословил его просфорой и пошел провожать его.

- Вы не сердитесь на меня, Иван Павлович, за мою беседу с вами 7 марта? - спросил я его. - Я смело говорил с вами, ибо верил, что вы поймете меня. Поймите, что мною руководит доброе чувство к вам.

Он уверил меня, что в этой беседе он увидел только новое доказательство моей любви. Мы шли до моря, около версты. Я старался утешить и подкрепить его надеждой, что сплетшиеся около его имени злоба и клевета рассеются, а правда засияет. У моря мы простились... Не думал я, что прощаемся навсегда.

Рано утром в понедельник мне сообщили, что накануне, вечером, неожиданно для всех, отбыл на миноносце ген. Деникин. С ним отбыл и ген. Романовский.

Деникинская эпопея кончилась...

{409} Всё, до сих пор изложенное, было записано мною в 1919-1920 гг. Теперь, в 1943 году, может показаться странным, что тогда серьезно, с затратой времени и нервов, долго и бурно обсуждались вопросы: где быть В.В.Ц.У., в Екатеринодаре или в Новочеркасске; кому быть членом В.В.Ц.У., гр. Апраксину или гр. Мусину-Пушкину? Могут казаться не стоящими внимания и такие вопросы: кто и как открывал Ставропольский Поместный Собор; кому первому пришла мысль о необходимости Высшей церковной власти на территории, занятой Добровольческой Армией; хорошо или худо поступил ген. Деникин, признав Верховным Правителем адмирала Колчака? Но, во-первых, история не брезгает никакими фактами. А, во-вторых, из-за картины всего происходившего и на Ставропольском Соборе, и в Добровольческой Армии раскрывается лик старой России, болевшей многими недугами, приведшими ее к невероятным страданиям, но изобиловавшей и многими доблестями, ее возвеличившими.

Роль Добровольческой Армии для многих и доселе остается неясной. Многие судят о ней по тому отрицательному, что, к сожалению, случалось и на фронте, и в тылу, по тому, о чем мечтали некоторые ее участники, в частности, те немногие офицеры-помещики, кто не имел ни мудрости, ни простого благоразумия, чтобы примириться с потерей своих достояний; наконец, - по тем насилиям и грабежам, которые имели место в Армии и в судьбе ее сыграли роковую роль.

И многие забывают, что вожди Добровольческой Армии: ген. Алексеев, Корнилов, Деникин, Марков, Романовский, Дроздовский и др., как и многочисленные ее участники,

{410} были воодушевлены самыми чистыми, светлыми, благородными порывами и все стремились только к одному: чтобы вывести свою Родину на путь свободной и счастливой жизни. Все они были демократами в истинном смысле этого слова: они до самозабвения любили свой народ, верили в огромные, еще не развернувшиеся и не использованные его силы (ибо, в значительной части своей, он продолжал еще находиться, не по своей вине, в невежестве) и хотели вывести его на широкий путь творческой работы. С собой они самоотверженно жертвовали и для себя ничего не искали. Многие из них погибли, другие со смиренным терпением переносят все невзгоды беженского существования, не переставая горячо любить свою Родину и мечтая, как о самом великом, возможном для них счастье - остатком своих сил послужить ей и поработать на родной земле. Возглавлявшаяся ими армия имела свои недостатки, свои недуги, даже многие тяжкие грехи, но она же в изобилии явила удивительные образцы истинно русской доблести, мужества, самоотвержения и беспримерного героизма.

Добровольческое дело 1917-1920 гг., может быть, когда-нибудь будет признано недоразумением: своя, мол, своих не познаша. Может быть, Добровольческая Армия принесла не только пользу, но и вред России. Может быть, скажут иные, без обильно пролитой в гражданской войне русской крови скорее возродилась бы Россия. Но в оправдание Добровольческой Армии надо сказать, что она явилась благородным и самоотверженным протестом, в первую очередь, против измены большевиками обету верности России союзу с ее западными соратниками в смертельной борьбе с общим врагом, а одновременно и протестом против тех крайностей, с какими выступила в октябре 1917 г. новая, большевистская власть: объявлением религии опиумом для народа, отрицанием частной собственности и {411} свободы труда, жестоким подавлением всех прочих свобод и прав населения и полным пренебрежением к человеческой личности.

Эти черты, отличавшие группу фанатиков, обманом и насилием захвативших государственную власть, сочетаясь с их безудержной демагогией, натравливанием одних слоев народа против других и открытой проповедью гражданской войны, вырастали в зловещую картину, грозившую России, если не полной гибелью, то, во всяком случае, бесконечными страданиями и морем неповинной крови. На борьбу с этой угрозой выступили лучшие сыны России, беззаветно ей преданные патриоты, - ее овеванные славой военные вожди и наиболее идейные из ее государственных и общественных деятелей. На их призыв стали стекаться добровольцы, первоначально с территории юго-востока России, а затем и из других ее областей. Преодолевая все трудности, невзирая на смертельный риск, связанный с проникновением через большевистские кордоны, устремлялась под поднятый вождями стяг борьбы за Родину самая героическая часть российского воинства и столь же героическая учащаяся молодежь, нередко - всего лишь подростки... Ими, их жертвенностью и подвигом были тогда спасены душа и честь России, разделившейся в ту пору на два лагеря, между которыми оставалось не разрушенным только одно звено: и те, и другие были - русские люди.

Большевизм и антибольшевизм - лишь преходящие этапы в истории России. Большевизм, как крайнее богоборческое, античеловеческое и противоестественное учение, не может не умереть: исчезнет тогда и антибольшевизм, с ним борющийся. Но Россия, русский народ должны пребыть и пребудут вечно. Должен, поэтому, наступить момент, когда продолжающие ныне принадлежать к разным лагерям, но одинаково честно любящие свою Родину и готовые самоотверженно {412} служить ей, русские люди поймут друг друга, забудут прошлое, протянут друг другу руки и начнут совместными усилиями целить и восстанавливать свою измученную Родину.

Среда, 16 июня 1943 г.